

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Юрий Лощин

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ



Юрий
Лощин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



ЖЗЛ

Annotation

Выдержавшая несколько изданий и давно ставшая классикой историко-биографического жанра, книга писателя Юрия Лощица рассказывает о выдающемся полководце и государственном деятеле Древней Руси благоверном князе Дмитрие Ивановиче Донском (1350–1389). Повествование строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и иных памятников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе с Ордой — его двоюродного брата князя Владимира Андреевича Храброго, Дмитрия Боброка Волынского, митрополита Алексея, «молитвенника земли Русской» преподобного Сергия Радонежского и других современников великого московского князя.

- [Ю. М. Лощиц](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвёртая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Основные даты жизни и деятельности Дмитрия Донского](#)
 - [Краткая библиография](#)
 - [Иллюстрации](#)
-

Ю. М. Лощиц
Дмитрий Донской, князь благоверный

*Моему отцу, Михаилу Фёдоровичу Лощицу,
ветерану Великой Отечественной войны, с любовью
посвящаю*

Глава первая

Болезни

I

Река хоть и рядом, вот она, а ни дети, ни взрослые в ней не купаются, не лежат долгие часы подряд нагишом на тёплом песке. Из реки берут воду для питья, для огородов, в реке бельё полощут, стоя на мостках; и ещё служит она дорогой — и в лето, и в зиму, словом, круглый год, исключая короткое безвременье ледостава и ледохода, — самой надёжной, самой привычной дорогой. Человек, допустим, совсем безграмотен, но тысячевёрстные речные пути с их петлями, излуками и распутьями знает до мелких подробностей, как собственную ладонь со всем прихотливым рисунком её морщин. У московского пристанища, под стенами Кромника, оттирая друг дружку боками, теснятся и толкутся лодки самых разных размеров и из самых разных мест: из Новгорода и из Кафы, из Киева и из Вятки, из Сарая и из Булгара, из Смоленска и с Белоозера... И все они пришли сюда водой, лишь иногда ненадолго вытаскивали их на сушу и подсовывали под днища деревянные катки.

Так слеплена Русская земля: посредине её простирается таинственный Оковский лес — никто ещё не измерил его рубежей, ни конный, ни пеший. Тут, над заповедными чащами, рождаются стада облаков, грозы сталкиваются и секутся серебряными мечами. Под пологом глухих туманов, в нерушимой тени Оковского леса таятся начала Волги и Днепра, текущей на заход солнца Двины и реки Великой, что уходит в полуночный край. Как многоветвистые кроны, сблизилась, почти переплелись истоки малых и великих рек. Тут же и десятки потайных, укромных ходов из одного русла в другое — озёрные протоки, рукотворные каналы, узкие просеки для волоковых троп. Как будто здесь кто-то сизначала захотел помогать человеку, чтоб не заблудился, вышел на свой путь. Вот с лодки заденешь нечаянно веслом береговой куст, а за ним — крутобокий валун матово забрезжит: на светлозернистой спине, будто в податливом тесте, оттиснута детская ступня — пяточка и пять пальчиков, один крохотней другого, заслезились росой на нечаянном свете. Это «божья ножка» — так зовут её мимоходцы Оковского леса. Взволнованный куст поспешно

занавесит дивную печать, и тут же с ближней кроны тяжким махом снимется недовольная птица. Всплыла над чащей, искупалась в заревом холоде, и сердце забилось звонче, легко поддалась крыльям новая высь. Пронзительным оком озирает оттуда всё своё лесное средоцарствие, посверкивающее речными прожилками, бронзовеющее чешуйчатыми боками озёр. И ещё ей видно, как люди в задумчивости миновали вещий камень, как толчками идёт их лодка вниз по реке...

Долго им плыть и неспешно думать о своём, а река поможет им в этой думе. Потому что река сама подобна русской мысли: то сверкнёт острой догадкой, прорежет землю победоносным откровением, то отступит в тень, в глушь, в кромешность, будто потеряется насовсем; и, бывает, не час, даже не год, нету её... Но вот снова обнажилась, в ещё более ясном сиянии ума, обогатилась опытом терпеливого труда, накоплениями других родственных рек-мыслей. Дума эта, сильная и гибкая, не стесняется повернуть, пройти в обход при встрече с неодолимым кряжем, и в другой, и в третий раз податливо отхлынет, но на своём всё жестоит, от своего не отступится. Такая дума не скороспешна, она не буйствует, не мечется в поисках новых русл, но бережно обтекает недвижную землю, животворя и одухотворяя, связуя далеко отстоящее и сообщая единство несходному. В разных направлениях пронизывая землю, она достигает самых отдалённых мест, и каждое из них узнаёт о множестве себе подобных.

Мысль, река и дерево — они подобны друг другу, и есть что-то мучительно-невыразимое и одновременно радующее очевидностью в этом их сходстве. И недаром, должно быть, именно по-русски сказано о «мысленном древе». Не только в могучих стволах, но и в каждом зыбком стебле текут непрерывные реки, и любой лист, сорванный с ветви, напоминает карту человеческой мысли, и всякий корень охватывает землю, как Днепр или Дон. Недаром и другой поэт, говоря о книгах, этих сгустках мысленных, сказал: «Се бо суть реки, напоющие вселенную...» Одна-единственная мысль, если она истинно высока, может собрать и связать собою целый народ, пусть и отчаявшийся, и заблудившийся в ненастье. Единая идея может пронизать своим током целые века, какие бы силы ни препятствовали ей.

...И вот с горней, заоблачной выси видно было, как Волга, спускаясь на юг из Оковского леса, вдруг, у впадения в неё маленькой чистейшей Вазузы, круто меняла направление и уходила на северо-восток — в лесные и болотистые края. Как будто на уме у неё было, что рано ещё встречаться с Окой, да и Оку как будто та же забота занимала, потому что до сих пор исправно несла она воды с юга на север, навстречу старшей сестре, но вот

у впадения Угры так же круто изгибала ствол и не то что на восток, а чуть ли не вспять, на юго-восток отсюда уходила. И так они двигались дальше, Волга и Ока, в восточном в основном направлении, не позволяя себе резко сближаться, а то и, наоборот, ещё решительней расходясь, будто кичливые соперницы. Но, кажется, в этом их прихотливом движении всё явственнее проступала какая-то единая дума. И состояла она не только в том, что рано или поздно им предстоит встретиться, но ещё и в том, что по ходу дела им необходимо как можно отчётливей и внушительней означить рубежи некоей срединной земли. Той самой земли, которая в старину звалась Залесской, у географов зовётся теперь Волго-Окским междуречьем, а у историков считается «колыбелью Московского государства».

В этом Русском Междуречье совершатся почти все события жизни Дмитрия Донского. Всего несколько раз покинет он ненадолго отеческие пределы Междуречья, понуждаемый заботами политики или войны, и один из таких выходов принесёт ему и его сподвижникам славу в веках.

Пределами Междуречья связаны три русских княжества, которые при жизни Дмитрия враждовали с Москвой: Тверь, стоящая на Волге, Рязань — на Оке, Нижний Новгород — у слияния Волги и Оки. А сама Москва оказалась в середине. И Владимир с его великокняжеским престолом тоже был в середине. Как будто Владимир, а затем и Москву кто-то выбрал, выделил с высоты птичьего полёта. Клязьма и Москва, на которых стоят эти города, были внутренними реками Междуречья. Самая надёжная дорога из Владимира на Москву — по Клязьме, а потом — мытищинским волоком — в Язу и в Москву-реку. Если спрямить этот путь между двумя городами мысленной чертой, она окажется стержневой для всего Междуречья. Стержневой в XIV веке для судеб страны оказалась и государственная преемственность между Владимирской Русью и юной Русью Московской.

Преемственность эта тогда многих смущала своей, что ли, невзрачностью и кажущейся случайностью. Недаром и много позже русский человек восклицал, как перед загадкой стоя: «Почему было государству Московскому царству быти и кто то знал, что Москве государством слыти!?»

II

Летописцы Древней Руси очень редко на страницах своих сводов называли имена людей из народа. Гораздо чаще они перечисляли имена

князей, бояр, иерархов церкви, тысяцких и посадников, иногда купцов, изредка художников и зодчих. Это обстоятельство вовсе не свидетельствует о сословном высокомерии наших стародавних историков. Наоборот, летописи как раз и были в известной степени гласом народным о тех или иных именитых людях. В летописях народ веками обсуждал свою историю, на разные голоса судил о наивиднейших представителях власти. Летописцы вовсе не были подобострастны по отношению к сильным мира сего. И именно поэтому постоянно держали их в поле своего зрения, оценивая каждый поступок, одобряя правоту, подмечая изъян.

Так было и с Дмитрием Донским. Обстоятельства его жизни представлены в летописях сравнительно подробно, по крайней мере, вполне различим довольно широкий круг его современников, в том числе родственников, соратников. Но такая сравнительная подробность может стать своего рода камнем преткновения для биографа Куликовского вождя. Судьбы и деяния ближайших, именитых современников великого московского князя способны заслонить собою безымянную стихию народной жизни, скромно подаваемую в летописях лишь в общих чертах. Легко историческому романисту: он может многое додумать, населить своё произведение людьми из народа, заставить их разговаривать с теми же князьями и воеводами. Но для биографа домысел такого рода — вещь противопоказанная. Пусть так! Пути показа народной стихии и для него не закрыты. И самый главный путь — внимание к летописному многоголосию. Благодаря этим голосам, вводимым в биографическое повествование в кавычках и без кавычек, на языке древнерусского подлинника или в переложении на современный язык народная стихия неминуемо начнёт жить здесь своей самостоятельной жизнью, в своих мнениях и суждениях, как окоёмы, постоянно окружающей главного героя и его известных современников.

Впрочем, в поступках Дмитрия Донского эта стихия будет жить не только в косвенном, отражённом свете, потому что в известном смысле он и сам был выразителем народных чаяний своей эпохи. Он родился князем, в старинном княжеском роду, но в самый великий час своей жизни снял с себя княжеское, и тогда стало видно, что он по сути своей — сын народа, плоть от его плоти.

Но обо всём этом — в свой черёд.

Малоулыбчивы были для русского человека времена, о которых пойдёт речь. Редко, очень редко тень ненастья покидала тогда его чело, редко разглаживалась на лице печать заботы или скорби — разве лишь в минуты, когда любовался смеющимся беспричинно ребёнком.

Ведь в те времена и солнце светило нам, не улыбаясь, но то и дело загоразивалось среди дня тёмной завесой от несчастной Русской земли...

Случилось так, что при малолетстве княжича Дмитрия в разных покоях и закутах большого московского дома проживали три (а то даже и четыре?) его тётки, и каждую из них звали Марией. В иную пору подобное обстоятельство наверняка служило бы поводом для всевозможных смешных путаниц и забавных нескладниц при взаимоотношениях родственников, обыгрывалось бы на разные лады в беззлобных и безобидных шутках.

Но шутилось сейчас не очень-то.

Дмитрию ещё и трёх лет не исполнилось, как овдовела самая знатная из его тёток, Мария Александровна, супруга великого князя московского и владимирского Симеона Ивановича Гордого. Происходила она из тверского великокняжеского гнезда, её отец, брат, дядя и дед приняли в разные годы мученическую смерть в Орде. Сама она почти в одночасье схоронила не только мужа, но и двоих сыновей, мал мала меньше, а до этого ещё двое было у неё ребят, но тоже умерли в малолетстве, так что теперь осталась Симеонова Мария горлицей на сухом суку, у пустого гнезда, и долго ей вековать, одинокой, даже и племянника своего переживёт.

Вдовья доля досталась в тот же год и другой его тётке, Марии, жене князь-Андрея, младшего из сыновей Калиты. Андрей сгинул от той же лютой болезни, что и Симеон, о чём позже рассказ. Тётка эта, Мария Ивановна, в течение многих лет почти постоянно будет на виду у своего племянника и также переживёт его, хотя и на полгода всего.

Третья Мария была дочерью Ивана Калиты от второго брака — с Ульяной, приходившейся его сыновьям мачехой. (Была у Калиты ещё одна дочь с тем же именем Мария, но она сейчас в наш счёт не входит, поскольку давным-давно уже из Москвы выехала в Ростов, выйдя за тамошнего князя Константина. Эта единокровная Дмитриева тётка скончается в 1365 году во время язвенного мора.)

А сколько у Дмитрия оказалось в малолетстве других родственников, сколько ещё будет их прибавляться с годами! И все их имена, все их обличья, норovy, привычки ему надо было с самого начала легко и прочно запоминать, со всеми несложными и сложными степенями родства. А как же иначе! На то он и князь, на то и Мономахович, на то и Рюрикович, чтобы не плутать в ответвлениях родословного своего древа. Острое чувство семьи, чувство породы своей, родовое чутьё было одним из первых его жизненных ощущений, азбукой предстоящей житейской науки.

Но кто же четвёртая — стоящая у нас под вопросом — тётка Мария?

Вот тут придётся извлечь на свет клубок, скатавшийся со временем из разнопрядных, не всегда прочно увязанных нитей.

Нужно сначала ответить на вопрос более важный: а кто была его мать?

Дело в том, что в древнерусских летописях далеко не всегда соблюдалось правило сообщать, когда и на ком именно женился тот или иной князь. Матери Дмитрия в этом смысле повезло, но лишь отчасти. Доподлинно известно, что она была второй женой Ивана Ивановича Красного, среднего из сыновей Калиты, и что брак их состоялся в 1345 году. Событие запомнилось современникам и попало в летописи, потому что в то лето на Москве справлялись — уж не одновременно ли? — сразу три княжеские свадьбы. «Князь великий Семён, — читаем в так называемой Симеоновской летописи, — женился вдруг у князя Феодора у Святославича, поял княжну Еупраксию; такоже и братья его князь Иван, князь Андрей, и вси три единого лета женишася».

Сообщив родовую справку о супруге великого князя, летописец не счёл нужным привести хоть какие-то подробности о жёнах его братьев.

Кроме Симеоновской, наиболее древним источником по истории московского дома в XIV веке считается Рогожская летопись. И в Рогожской летописи интересующее нас сведение почти повторяется. Если не считать одного краткого, но красноречивого дополнения: по имени здесь названа не только вторая жена Семёна, но и супруга младшего из братьев, Андрея; причём указано, что взял её Андрей у «князя Ивана у Федоровича» (правившего в Галиче Мерском). А про супругу среднего брата — опять ни слова.

Что за повод был им тут всем смолчать?

Существует мнение, что имя матери Дмитрия не названо потому, что она не княжеского рода. Происхождение Александры (имя её появляется в летописных статьях позднее, уже при жизни Дмитрия) так навсегда и осталось бы неизвестным, если бы не один документ, скреплённый печатью её сына и составленный между 1362 и 1374 годами. На бумажном листе крупными полууставными буквами выведено: «Се яз князь великий Дмитрии Ивановичь пожаловал есмь Евсевка Новоторжьца, что идет из Торжку в мою вотчину на Кострому...» И далее, после перечня многочисленных льгот, которыми пожалован княжий человек Евсевка, читаем: «...аз приказал есмь его блюсти дяде своему Василью тысяцкому; а чрез сию грамоту кто что на нем возьмет, быти ему в казни».

В XIV столетии слово «дядя» в русском языке употреблялось лишь в одном-единственном значении: родственник, брат отца либо матери. Значит, московский тысяцкий Василий приходился дядей Дмитрию по

материнской линии? Но почему об этом обстоятельстве нет ни одного упоминания в летописях? Ведь градоначальник великокняжеской Москвы Василий Васильевич Вельяминов — один из самых заметных современников Дмитрия Донского, представитель знатнейшей боярской фамилии: дед его, Протасий, был тысяцким у Ивана Калиты, а отец, Василий Протасьевич, — тысяцким же у Симеона Гордого.

Как же так? Уже на протяжении трёх поколений семья Вельяминовых находится в теснейших служилых отношениях с московским великокняжеским домом, и вот, когда эти отношения закрепляются ещё и связью родства, летописцы вдруг почему-то дают зарок молчания. Не так-то легко поверить в подобный оборот дела.

Тогда остаётся предположить, что, составляя грамоту для новоторжца Евсевки, Дмитрий называет тысяцкого «дядей» в каком-то ином, переносном смысле, близком к тому, как мы сейчас можем назвать на улице «дядей» незнакомого нам человека. Но вероятность такого смысла допустить ещё трудней. Грамоты в XIV веке — жалованные, как эта, или договорные, духовные — писались языком предельно точным, строгим, не допускающим кривотолков, двусмысленностей, полушутливых обращений. Немаловажно и то, что «Грамота Евсевке» дошла до нас не в списке (в котором могло быть допущено сознательное искажение или в который могла вкрасться ошибка), а в подлиннике, она — один из считанных документов подобного рода, сохранившихся от той эпохи, и не зря сберегалась в Оружейной палате Кремля среди государственных документов и реликвий Древней Руси.

Кем всё-таки приходится Василий Вельяминов прославленному внуку Ивана Калиты? Вопрос решался бы проще, знай мы отчество матери Дмитрия. Но ни в одной из русских летописей отчество великой княгини Александры не упомянуто (известно лишь, что её второе, монашеское имя, принятое вскоре после смерти мужа, было такое же, как и у тёток Дмитрия, — Мария). Может быть, Александра и тысяцкий Василий были не родными, а двоюродными братом и сестрой?

Что ни думай, а летописные недомолвки и умолчания достаточно загадочны. А не могло ли произойти так, что составители или позднейшие правщики и переписчики московского летописного свода по каким-то соображениям не захотели, чтобы известие о родстве княгини Александры с Вельяминовыми сохранилось для потомков?

«Вельяминовский клубок» будет разматываться постепенно, исподволь, и сам Дмитрий Иванович примет в этом разматывании сперва нечаянное, но потом и волевое, действенное участие, однако и при жизни

его не всё размотается и прояснится, немалая доля останется на потом, так что лишь при внуке Дмитрия, Василии Тёмном, всё окончательно выйдет наружу из спутанных недр замысловатого того клубка.

По нашему убеждению, тысяцкий Василий Васильевич Вельяминов был родным дядей московского великого князя Дмитрия, но в силу нескольких весьма серьёзных обстоятельств при потомках Дмитрия саднящая память о родстве была сознательно и полностью вытеснена из летописных сводов.

Обстоятельства предстанут перед нами в свой черёд, а пока что причтём к трём уже известным тёткам Дмитрия ещё одну Марию, потому что именно так звали жену московского тысяцкого Василия Вельяминова.

III

Княгиня Александра родила своего первенца 12 октября 1350 года.

Весною муж её, князь Иван, вместе с обоими братьями уехал в Орду на поклон к хану Джанибеку. Хотя Джанибек (русские по привычке слегка коверкали ханские имена, и этого звали то Чанибеком, то Санибеком, то Жанибеком, а то даже и Жданибеком), по видимости, покровительствовал сыновьям Ивана Калиты, и хотя путь в Орду был для них накатанным — пятый раз уже возили туда сундуки с «выходом» и коробья подарков, — однако и теперь жёны провожали братьев с глазами, полными слёз.

Можно понять особое волнение Александры — она уже знала о своей беременности. Успел князь Иван вернуться домой до рождения мальчика или запоздал немного, в любом случае радость его была велика.

Решили назвать новорождённого Дмитрием (ровно через две недели предстояло праздновать память великомученика Димитрия Солунского, воина и покровителя воинов). Имя это было нередким в роду Мономаховичей. Вспомнилось, наверное, что и славного предка московских князей — Всеволода Большое Гнездо — в крещении нарекли Дмитрием.

Симеону Ивановичу, великому князю московскому «и всея Руси», было сейчас всего тридцать три года. С меньшими братьями он по завету родительскому жил в ладу и был им вместо отца, власти его они, кажется, не завидовали. Если вдруг помрёт нечаянной смертью, то Московское княжество, а с ним и великокняжеский ярлык — так ханом обещано — достанется среднему, Ивану. Случится с этим что, московский стол займёт Андрей. Тем самым будет неукоснительно соблюдено старинное русское

родовое право, по которому верховная власть всегда переходит к старшему князю в роду, то есть к брату, а не к сыну умершего. Но Семён и сам не собирался умирать. В том же 1350 году и у него родился сын, названный Иваном. Может, хоть этот окажется здоровее предыдущих?

Есть основание предполагать: Гордым князь-Семёна прозвали потому, что имел он на уме мысль особую: раз навсегда поменять извечный порядок наследования власти. То есть вместо родового права (по которому его держание может перейти в руки следующего брата) ввести право прямого наследования (по которому власть от отца должна доставаться сыну). Почему бы не сделать на Руси неизблемым законом этот способ передачи власти, такой простой и естественный? А то ведь сколько в прежние века и по сей день ковалось и куётся крамол из-за несовершенств родового права! То и дело племянники — сыновья умерших великих князей — восстают против своих дядей. И как ему, Семёну, не понять этих племянников, как не понять ему обиды (возможной обиды) своего только что народившегося сына Ивана, если вдруг останется чадо его сиротой, безо всяких надежд на московский стол?

...Дмитрию пошёл третий год, когда на Москве обнаружилось моровое поветрие. Прихотлив и длинен оказался путь, которым страшная болезнь проникла в Междуречье. Очаг поветрия вспыхнул несколько лет назад на самом краю земли, в Китае. Постепенно с караванами торговцев зараза расплзлась по азиатским городам, занесло её в Месопотамию, затем в Синюю и Золотую Орду. Ожидали было в страхе, что с волжского Низа перекинется язва на болгар и мордву, а от них и на Русь. Но тогда беда миновала: поветрие избрало другую дорогу — через половецкие степи в Тану, оттуда — в крымские города и в кораблях генуэзских и венецианских купцов вместе с живым товаром достигла итальянских берегов. Вскоре всё Средиземноморье оказалось жертвой торговой алчности.

В 1352 году болезнь достигла напоследок и русских пределов. Но не с юга она пришла сюда, а с севера, кружным путём.

«От Пекина до берегов Евфрата и Ладogi, — красноречиво пишет об этих событиях Н. М. Карамзин, — недра земные наполнились миллионами трупов, и государства опустели».

Сначала мор обнаружился во Пскове, который первым стоял на пути немецких купцов. Человек вдруг начинал харкать кровью, а через три дня его уже укладывали в гроб. Вскоре некому стало и колоды дубовые выдалбливать. Возле церквей рыли общие ямы — скудельницы — и укладывали в них по двадцать, тридцать, а в иные дни и по пятьдесят человек. Многие из знатных псковичей завещали свои имения храмам и

монастырям, чтобы поминали их тут постоянно. Многие бродили по улицам, раздавая деньги и ценные вещи нищим, но те боялись брать, отбегали. Вот когда, кажется, с особой явностью означилось, что богатство — зло и что спастись богатому, по Христовой притче, трудней, чем верблюду пролезть в игольное ушко.

— Увы, увy печальной людской участи! — причитали в сёлах и градах. — Яко цветы сельные, прибирает нас свистящая коса. На что матери рождает нас в муках? Век за веком минует, и нет предела человеческой пагубе. Боже правый, почто отвратил лице твое от стада твоего? Доколе пить нам чашу горечи смертной? Доколе род христианский будет посмешищем вселенной? Или уж до конца присудил ты изгнать землю русскую?..

Из Пскова поветрие переметнулось на Новгород. Весь до последнего человека вымер Белозерск. Болезнь проникла в Смоленск, оттуда речным путём — в Чернигов, Киев. Участь Белозерска постигла город Глухов. И вот теперь, окольцевав Междуречье, смерть напоследок вползла и сюда. Уже в Суздале люди кровью плюют. В дни Великого поста Семёну Ивановичу доложили, что и по Москве ходит невидимый ворог.

Голосили в подслеповатых посадских избах, угрюмо загудела колокольная медь наверху, в городских стенах. Началом марта помер митрополит Феогност, родом грек.

Но ещё митрополита не схоронили, как смерть без стука вошла во двор великого князя. Скоротечно умерли Семёновы младенцы, надежда его несбывшаяся — двухлетний Иван и только что народившийся Семён. Беда эта надломила невезучего родителя: тридцатилетний, он в считанные дни одряхлел душой и телом. И тут болезнь легко уязвила его, едва-едва успел в окружении духовника, братьев и старших своих бояр сказать, что кому завешает. Все волости с сёлами оставляет он княгине своей и своему... как тут скажешь?.., если она уже понесла снова и если у неё родится сын, то вот ему, ей и ему он всё своё завещает... Бедный Семён Иванович! Эту его волю предсмертную записали, не посмели не записать, хотя каждый из присутствовавших чувствовал, что тут уже ум княжий помрачается — на этом вот наивном, прегордом и трогательном одновременно чаянии возможного наследника...

И ещё он сказал напоследок, обращаясь к братьям, будто что-то озарило его изнутри, выжгло там всё сумеречное и бредовое. «Братья, — сказал он, — отец приказал нам жить заодин, так и я вам приказываю заодин жити. А лихих людей не слушайте, которые начнут вас натравливать друг на друга, но слушайте отца вашего владыку Алексея, а также старых

бояр, что хотели отцу нашему добра и нам хотят. А записывается вам слово сие для того, чтобы не престала память родителей наших и свеча бы не угасла».

И так была для них волнующа эта его притча о свече — не о чём-то громадном, а о тоненькой зыбкой свече, которую ничего не стоит задуть, измять в руке, растоптать сапогом, но которая так пронзительно и сладко прикоснулась сейчас острым язычком к их душам! Много ли значит робкий её свет перед беспредельностью внешнего мрака, но от свечи зажигают свечу, а от той ещё одну, и ещё, и сколько раз они видели это, да смотрели, значит, бездумно, а брат их умирающий в простом и привычном прозрел то, что нужно им с растроганной благодарностью принять как завет: чтобы свеча наша не угасла.

Отнесли брата в собор Архангела Михаила, туда, где и отец их лежит, опустили у южной стены в гробницу, вытесанную из белого камня.

В самом начале лета болезнь поразила и князь-Андрея. И его вскоре отпели в том же соборе. Боялись за Андрееву вдову, потому что княгиня Мария была на сносях. Но она, несмотря на горе своё, доносила тяжёлый уже плод до положенного срока и на сороковины по покойному мужу родила мальчика, второго в их семье. Назвали его Владимиром. Этому мальчику суждено будет стать преданным товарищем и сподвижником своего двоюродного брата Дмитрия, талантливым русским полководцем, и заслужить вместе с ним славу Донского героя.

IV

Удалой, Мудрый, Храбрый... Эти прозвища князей Древней Руси говорят сами за себя. Имелись и более замысловатые, картинные: Грозные Очи, Большое Гнездо, Тугой Лук. И такие, что не спешат теперь открывать запрятанный в них смысл: Коротопол, Кирдяпа, Шемяка, Осмомысл, Хоробрит... Иные прозвища переиначивались на письме и в молве. Смоленского князя Фёдора современники прозвали Чермным, то есть «красным», «прекрасным». С годами этот смысл стал забываться, кто-то из книжных переписчиков при поновлении ветхих книг пропустил нечаянно всего одну букву, и получилось: Черный. Потомки стали подыскивать причину для столь мрачного прозвища. Вспомнилось, что князь долго жил в Орде. А уж до подробностей — по своей ли воле, не по своей? — не добирались. Жил долго, значит, якшался с ордынцами. Значит, Чёрный. Но Фёдора оттого и не выпускали годами домой, что был он чересчур

«красен». И ханша влюбилась в красавца русича, да безответно. И виночерпием его ханским назначили, а всё был не рад. И на ханской дочери долго и настойчиво пытались женить, пока не настоял овдовевший Фёдор, чтобы её сначала окрестили.

«Красным» прозывался и отец Дмитрия, Иван Иванович. Карамзин приписывает ему ещё и прозвище Кроткий, у летописцев не встречающееся. Прозвище, как он поясняет, «не всегда достохвальное для государей, если оно не соединено с иными правами на всеобщее уважение».

Из чего исходил историк, делая такой, не совсем лестный для Ивана Ивановича вывод? Может быть, из того, что в год венчания среднего сына Калиты на великокняжеский престол рязанцы, руководимые своим маловозрастным князем Олегом, отняли у Москвы пограничный город Лопасню (стоявший на южном берегу Оки, напротив впадения в неё речки Лопасни)? Отняли, можно сказать, под самым носом, а московский князь даже не подумал наказать строптивцев, выбить их тут же из своей сторожевой крепости. Уж, наверное, покойный Семён не спустил бы обидчикам.

Именно такого, считает Карамзин, «тихого, миролюбивого и слабого», как Иван Иванович, князя хану Джанибеку и хотелось видеть во главе беспокойного русского улуса.

Иногда при написании портретов того или иного государственного деятеля Древней Руси наши историки испытывали почти непреодолимые затруднения: слишком мало под рукой материала для того, чтобы вылепить характер, хоть чем-то отличающийся от других. В. О. Ключевский, например, даже сделал из этого вывод, что все московские князья до Ивана III вообще были по природе безлики, «как две капли воды, похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван, а кто Василий... они представляются не живыми лицами, даже не портретами, а скорее манекенами...». Они «не выше и не ниже среднего уровня»... «Это князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия».

Огорчённый скупостью летописных и прочих свидетельств о московских князьях, историк незаметно перенёс это огорчение и даже раздражение на самих князей.

Но вернёмся к личности Ивана Красного. Точно ли он был кроток и слаб? Точно ли ханы Золотой Орды стремились сажать на великий владимирский стол наиболее безвольных и тихих русских князей? Точно ли Иван Иванович не отомстил рязанцам по предельному своему миролюбию?

Из тех же летописей известно ведь, что бывал он при необходимости и крут, и суров, и неподатлив.

Именно эти грани его характера чётко проступили при взаимоотношениях с новгородцами. Те, как выяснилось, сразу же после смерти князь-Семёна тайно отправили своих послов в Сарай, прося отдать великокняжеский ярлык не Ивану, а суздальско-нижегородскому князю Константину Васильевичу. И в Царьград отрядили послов с жалобой на нового митрополита Алексея. И с литовским великим князем Ольгердом, старым недоброжелателем Москвы, сносились и о чём-то сговаривались. Наконец, наместников великокняжеских от себя выгнали.

И что за народ окаянный эти новгородцы, — брало раздражение Ивана Ивановича, — никакой властью им не угодишь — ни твёрдой, ни доброй! А всё оттого, что ни разу за сто лет не поплясала по ним как следует плеть татарская. Тогда бы реже толклись на людской своей свалке, на вечях на своих, не надрывали бы там глоток с утра до ночи. Свобода! Свобода!.. Чем им доселе была не свобода? Дань с них берут немалую? Так и со всех берут, даже с самых захудалых, безлапотных тверских да ростовских мужичишек. Разве то дань, что с новгородцев взимается? Они с каждой гривны огрызок за щёку прячут, сундуками все хоромы заставили, так что и гостю ступить негде. И всё недовольны Москвой. Да куда они денутся без Москвы-то в своём скудоумии? Сколько раз им Москва по первой же просьбе помощь посылала — от немца, от шведа, от той же Литвы, с которой нынче шушукаются... Нет, что ни говори, а легкомыслый народ новгородцы, заелись волей-то, упились ею, как балованным мёдом, совесть свою с волховского моста на дно спустили... Ну так что ж! Не хотят по-доброму, можно и по-сильному.

«Кроткий» Иван Иванович велит срочно собирать дружины на Новгород. И не одну московскую. Всех подручных удельных князей со всеми их полками поведёт он к Волхову.

Прослышав о «гневе тяжком» великого князя, о его военных приготовлениях, новгородцы послали за поддержкой к суздальскому Константину и в Тверь. Но Константин Васильевич, только недавно целовавший во Владимире крест Ивану Красному на любовь и согласие, послов новгородских повязал и с собственной стражей отправил в Москву.

Наконец-то дошло до новгородцев, что зарвались крепко. И уж наперёд было ясно, как они теперь себя поведут: начнут виниться в блуднях своих, начнут и серебром греметь. На сей раз, почуяв нешуточную угрозу, снарядили к великому князю степенного посадника и тысяцкого с «дары многими».

Иван извинения и дары принял, наместника с тысяцким строго отчитал за попустительство смутьянам и подстрекателям (как будто и они сами, бестии бородатые, не мутили волховскую воду!). И отправил домой с миром. Не враги ведь, один язык, одна вера, вместе в одном ярме ходят, хотя шея новгородская от того ярма не очень натёрта, не до крови, как у других. Но лишь бы не галдели там у себя, как дети малые.

Ему и без Новгорода хлопот было теперь достаточно. Вскоре после рязанского разбоя Москва сильно погорела: одних деревянных храмов недосчитали тринадцать. А тут ещё и Александра, жена его, снова понесла.

Кажется, и куда детей рожать в такую-то лютую, безжалостную пору? Но не рожать, так совсем обезлюдует Русь. Надо, надо заводить детишек, скорбеть о них сердцем, когда болеют, радоваться первой улыбке, первому лепету, топоту босых крошечных ножек по деревянным половицам, выскобленным и вымытым добела.

А мать, как и все матери в её положении, прижмёт иногда первенца к большому своему, тёплому, как печь, животу и шепнёт, чтоб послушал, и он, прислонясь ухом и щекой, точно, слышит отчетливо: что-то там ворочается мягко, а то вдруг застучит, как в стенку кулачком: эй, ты, мол, чего ухо приставил, подслушиваешь? И не страшно, а чудно как-то. И ждёт уже не дождётся, кто это будет у него: братец или сестрица?

Родился Дмитрию брат, и нарекли его, в отца и в деда, Иваном, а для отличия прозвали Малым.

Была и сестра у Дмитрия, звали её Любовью, но у неё вскоре совсем иная жизнь началась, вдали от родительского дома. В 1356 году засватали Любашу литовские сваты за одного из многочисленных внуков Гедимина. Что ж, и с Литвой надо было жить в ладу, хоть и полудикие они, на пни и валуны молятся. А те, что отреклись кое-как от дубовых своих перунов, в вере некрепки: точно пьяных, шатает их то к папе римскому, то к патриарху царьградскому.

Где-то в эти годы — от двух до семи — должны были совершить над Дмитрием особо торжественный обряд княжеских постригов. По издавна заведённому чину мальчику-княжичу в этот день состригали прядь волос на голове и затем, впервые в жизни, при великом стечении народа усаживали верхом на коня. Из женской половины дома, из рук нянек, кормилиц и девок он отдавался теперь на попечение дядьки, бывалого и сведомого во всех занятиях и справах, достойных будущего мужчины и воина.

Это был обряд, видимо, в чём-то сходный с пострижением послушника в монахи. С той разницей, что если в монахи посвящали в

строгой обстановке обители, то княжеские постриги превращались в широкое празднество, на которое приезжали князья-родичи с семьями, знатные бояре, дружинники... Не от княжеских ли постригов дошёл и до наших дней обычай стричь новобранцев?

Постриги были для мальчика посвящением в воинский чин. И кто мог сказать из присутствующих, что посвящают его слишком рано?

V

Утро 3 февраля 1356 года надолго запомнилось московскому люду. В синий рассветный час обнаружили посреди пустынной городской площади распростёртого человека. Оpoznать его труда не составило: всяк знал в лицо тысяцкого Алексея Петровича Босоволкова по прозвищу Хвост. Страшное дело: второй на Москве человек после великого князя и лежит в снегу, уже и остыл.

Скрипные шаги вмиг рассыпались по дворам, по заулкам. Ой, люди, что-то будет — тысяцкого убили!..

Пока созывали старших бояр к Ивану Ивановичу на совет и дознание, в гостиных дворах да в посадских улицах уже само собой, подсказки не ждя, судился тысячегласный суд. Это кому же помешал Алексей Петрович, кому не угодил в чём? Купцам ли? Нет, ничего худого они от него не знали. Чёрному люду? И им грех было жаловаться на своего тысяцкого. Судил по правде, не обдирал до нитки, свою главную заботу — защищать право горожан перед лицом князя и боярства — всегда держал в уме. Может, великому князю был неугоден? Но кто же, как не сам Иван Иванович, утвердил его тысяцким сразу после смерти старшего своего брата!

Вот Семёну Ивановичу, тому, точно, Алексей в своё время крепко чем-то досадил, хотя поначалу и меж ними всё было складно: даже в Тверь за невестой своей, за Марией, князь Семён доверил ехать Босоволкову. Лишь потом — на посаде вряд ли знали толком, за что — Гордый отнял у Алексея Петровича должность тысяцкого, и она досталась старшему из Вельяминовых, Василию Васильевичу. Скорее всего, не знали посадские и ещё одного: на смертном одре Семён Иванович просил братьев и в духовную свою велел вписать, чтобы неугодного ему Алексея Хвоста и они на службу к себе не принимали, ни самого, ни детей его.

Зато Василий Вельяминов стоял тогда в числе послухов у постели умирающего и наказ его знал. Сын и внук московских тысяцких, Василий Васильевич сам служил в этом звании до Хвоста, а как вышла тому опала,

князь Семён опять вернул Вельяминову прежнюю власть и наказом своим предсмертным её подтвердил и упрочил.

Какая же решимость понадобилась Ивану Ивановичу, чтобы вскоре по смерти брата пренебречь его просьбой и восстановить в тысяцких Босоволкова, а шурина того места лишить! Боялся ли он, что слишком усиливается боярский род Вельяминовых, или, напротив, опасался мнения народного, что князь-де и родич его правят заодин, но в любом случае не оробел преступить братнее слово.

Посадский люд мог совсем не знать, или почти не знать, причину восстановления тысяцкого Алексея Петровича в его правах. Но и не зная её, о многом догадывался сметливый, лишь по наружности простоватый московский народец. Мнения гуляли по улицам в полный голос, без утайки и на одном перекрещивались: с бояр надо спрашивать вину... С каких? Да уж, знамо, не со всех, а вот вельяминовская семейка, точно, замешана. Вишь, мало им славы!.. Не по злодейской ли славе Кучковичей соскучились, зарезавших князя Андрея Боголюбского?.. Добавится же им славы. Добавится и огня под крышу, а то темно что-то на Москве стало...

Возле горячих голов табунилась, закручиваясь в чёрные воронки, посадская нищета, недовольная всем на свете — Ордой и пожарами, морами и боярской скупостью. Метельный февральский жгут зашвыривал обрывки угроз на богатые подворья. Запахло мятежом и весной.

Между тем у великого князя решили: пока не забуянил обезглавленный посад и пока ещё лёд не потрескался на Москве-реке и крепок накатанный зимник на Коломну и на Рязань, надо Василию Вельяминову с семьёй, не мешкая, собираться в отъезд. Теперь не время ему доказывать свою невиновность. С Рязанью договорено, не обидят их там. А тем временем, глядишь, развеется молва, недовольные уймутся. А правда, она и сама, без принуждения о себе заявит рано или поздно.

VI

Ивану Ивановичу совсем нелегко было бы теперь в хлопотном положении русского первокнязя, не будь у него на Москве митрополита Алексея, что сменил покойного Феогноста.

Мирское имя митрополита было Алферий, и происходил он из семьи знатного черниговского боярина Фёдора Бяконта, который ещё при князе Данииле навсегда покинул родину и вместе со своей большой дружиной напросился на службу в московский дом. Алферию по его рано

проявившемуся уму и по происхождению (крёстным его был сам Иван Калита), казалось, уготована широкая стезя воеводы либо придворного чиновника. Но он предпочёл тесный путь монашеского послушания и пятнадцати лет от роду ушёл в московский Богоявленский монастырь.

Алексей много читал, изучил греческий, причём в такой степени, что позднее, уже будучи митрополитом, сделал с греческих книг собственный перевод Евангелия.

Его труды не остались без внимания. Феогност приблизил к себе Алексея, поставил его «судити церковные суды».

На этой хлопотной должности пробыл он двенадцать лет, много прошло через его руки всевозможных тяжб: наказывал нерадивых, отлучал людей, явно неугодных, зато узнал, и не только в лицо, великое множество честных, крепких духом пастырей и монахов, которые в ежедневных трудах и скорбях несли тот же крест, что и вся Русь повсеместно несла, осояли землю свою словом мужества. Узнал он в числе других и отшельника по имени Сергей, того самого, что несколько лет подряд прожил один в урочище Маковец. Теперь там целый монастырёк сплотился вокруг Сергиевой лачуги. Бедствуют, хлеб не каждый день едят, книги у них служебные из листов бересты сшиты, сам игумен Сергей ходит в латаной-перелатаной рясе, но народ тянется к ним, повсюду слух идёт о строгом и праведном жительстве, люди ищут слова утешения в своих горестях, в болях и болезнях подневольной земли.

Когда Алексея поставили епископом во Владимир, стало ясно, что престарелый Феогност именно его прочит себе в преемники.

Но непрост оказался путь Алексея в митрополиты. Ещё при живом Феогносте, хотя тот и отписал подробно в Константинополь о своём русском преемнике, распространился слух, что в болгарской столице Тырново объявился некто Феодорит, самочинием тамошнего патриарха поставленный на Русь митрополитом.

Хотя Алексею теперь шёл уже седьмой десяток, но всё же пришлось ему собираться в дальнюю дорогу — искать правду у византийских властей. В Царьграде его приняли с почестями — и недавно поставленный патриарх Филофей, и император Иоанн Кантакузин. Но всё-таки почти год продержали при патриаршем дворе на «тщательном испытании». Наконец Алексей был рукоположен в митрополиты. А чтобы наперёд пресечь постороннее своеволие в деле управления русской поместной церковью, было решено перенести кафедру из Киева во Владимир. Сделано это было задним числом, поскольку такой перенос на месте состоялся ещё полвека назад, и теперь оставалось лишь закрепить на письме свершившееся.

Алексей вёз домой грамоту с дорогой патриаршей печатью и ещё одну грамоту — для передачи игумену Сергию, о монастыре которого и о праведной жизни тамошних обитателей он много говорил с Филофеем. А ещё вёз он домой... смятение великое, томящее душу. Оказывается, почти одновременно с ним поставлен на Русь ещё один митрополит... по имени Роман. Но ведь он, Алексей, на старости лет собрался в Царьград не ради торжественных и почётных приёмов, не ради стяжания славы. Он ехал туда в уверенности, что всё-таки за свои шестьдесят лет неплохо узнал отечественную паству и, кажется, мог бы с нею управиться не хуже, а много лучше, чем какой-нибудь новоук, молодой, горячий, властный. Он знал, что за этого Романа, происходившего из тверских бояр, стояла Литва, потому что Ольгерд никак не желал, чтобы подвластное Литве православное духовенство управлялось из Москвы. Сколько, однако, насмотрелся Алексей всевозможных раздоров и свар внутри своей земли! Кажется, мог бы уже и притерпеться, смириться с тем, что всё это неизбежно. Но он не научился смиряться при виде торжествующего разброда. Чем хитрей плутал вокруг да около лукавый, тем твёрже напрягалась морщина над переносьем старца: нельзя попускать злу ни в чём, ни в малой малости.

И вот снова, не успев по возвращении домой отдохнуть толком от дорожных тягот, он препоясался и взял в руку посох путешественника. Не бывать двум головам у одного тела, не стоять на Руси двум правдам! Снова спускались реками до Чёрного моря и в белгородском заливе пересаживались на корабль, пригодный для плавания в большой воде.

В Константинополе Алексей выдержал жестокую распрю с прибывшим туда же Романом и был отпущен с патриаршим благословением на всю Русскую митрополию. Когда поплыли морем назад, налетела на корабль буря. Под тяжёлыми ударами затрещали шитые доски, вот-вот, казалось, перевернётся их пристанище. Не чаяли уже увидеть сушу...

Но и теперь, после вторичного возвращения, не удалось ему побыть в Москве долго.

Пожаловали к митрополиту сарайские послы с поручением от самого хана: уже три года, как ослепла мать великого правителя, царица Тайдула, и вот Джанибек просит, чтобы Алексей, о котором идёт слава как об искусном врачевателе, помог в беде его матери, приехал нынче же в Сарай. Выведано было от послов, что годы лишили Тайдулу не только зрения, демоны часто мучают её тело корчами и судорогами.

Даже в летописи вошло, с каким трепетом, в каком беспокойстве

проводила Москва Алексея, отбывающего в Орду по столь необычному делу. На прощание он благословил княжеское семейство, благословил и шестилетнего Дмитрия. Этого мальчика он знал с самых пелён, не раз причащал его, бережно опуская в ротик серебряную маленькую ложку с частицами крови и тела Господних.

Дмитрий не мог уже не видеть и не понимать, что при всём почитании, которое выказывают люди его отцу, ещё большее почитание выказывают они Алексею.

Смысл и своеобразие его власти будут открываться Дмитрию постепенно, по мере взросления: сила Алексея не только в его митрополичьем сане, не только в исключительной учёности и житейской опытности, у него ум человека государственного, характер деятеля общественного, он менее всего келейный затворник; при малолетстве Дмитрия он станет во главе московского правительства, но и в годы юности и молодости Дмитрия по-прежнему будет его советником и наставником в делах мирского властвования.

Монахи умеют властвовать не только над людьми. Может, от того же Алексея впервые услышал мальчик Дмитрий рассказ о том, что приключилось с отшельником Сергием в первые времена его жизни на Маковце. Повадился тогда приходить к его малой изобке косолапый гость. Это в сказках медведи попадают добрые, а наяву встретиться с лесным хозяином безоружному человеку — страх смертный. Но монах не заробел, не кинул свою пустынь. Накрошит хлебца и положит на пенёк: приходи, мол, зверина, трапезуй. И стал так делать во всякий день. Прибредёт медведь, приберёт свою долю, почавкает, поурчит. Иногда — за молитвой ли, за рукоделием — забудет человек про зверя, так тот сам о себе напомнит в урочный час: шастает кругом кельи, орёт недовольно. Ну прямо баскак ордынский — выкладывай ему дань, и всё тут! Бывали дни, когда монах и сам бы рад, если бы какая добрая душа насыпала ему на порог горсть мучицы или гороху, а тут лесной проситель за стеной воет, того и жди, начнёт вовнутрь ломиться, развалит сруб-то. Накормишь его — чуть не целоваться лезет, а не дашь — размахнется лапами, глазёнки злые, кровью налиты. В бесхлебицу человек что-то да придумает себе: грибков ли напарит, сушёной ягоды пожует, а нет и этого припасу — затянет пояс потуже, на одной воде переможется сутки-другие: уж как и она сытна бывает, когда под нужное слово пьётся. А зверину молитвой попробуй приручи! Стоит, ухом поводит, будто понимает что, но надоест ему — и снова в рёв.

Не мешает знать и маленькому слушателю: былъ эта про отшельника и

медведя подобна притче. Ведь выходит, что зверь лесной — это вражья ненасытная сила, и надо сносить её из года в год как наказание Господне, побеждая исподволь снисхождением своим и терпением; глядишь, и прорастёт когда-нибудь в мохнатом сердце семя уважения к человеку... Но смекай и то, что чаемого можно и не дожидаться. А что, если взбесится зверь, бросится в ярости на своего же кормильца? Так не надёжней ли загодя выйти на него с рогатиной, да не одному, а всем миром выйти?..

Как тут поступить-то, какой путь избрать? Думают о сём мудрые мужи, пусть задумаются и дети.

Может, один лишь маковецкий пустынник и знает, и подскажет нам, какой путь изберём.

VII

Сверх ожиданий митрополит Алексей вернулся в Москву скоро, в том же самом 1357 году, когда ушёл в Орду. Привезённая им весть об исцелении царицы Тайдулы была встречена с такой радостью (за него, конечно), как будто не ханша выздоровела, а кто-нибудь из своих, из великих княгинь.

Другая весть, пришедшая в Москву по пятам митрополита, была совсем иного свойства, она вызвала тревогу, и немалую. Ордынский хан Джанибек, сын Тайдулы и Узбека, убит. Причём убит совсем нехорошо — одним из своих сыновей.

Великая сила — привычка. Теперь, после знобкого, как снег за шиворот, известия, многим казалось, что при Джанибеке житьё русскому человеку было в общем-то терпимое, не то что при его отце. Правил он в Сарае пятнадцать лет, и как будто грех было особо обижаться на покойного, по крайней мере Москве. К её князьям он мирволил, им отдавал владимирский престол. Ещё неизвестно, кто его сменит и чего ждать от нового хана, куда его занесёт.

Погибель Джанибека осмыслили как неумолимый суд за его старые грехи: вспомнилось, что когда-то он взошёл на трон, перешагнув через тела убитых братьев, — вот и позднее возмездие за невинно пролитую кровь.

Вскоре из пересудов взрослых Дмитрий узнал кое-что о дворцовом перевороте в Золотой Орде. Незадолго до смерти Джанибек ходил походом на Тебризское царство (нынешний Азербайджан), завоевал его и, оставив одного из сыновей, Бердибека, управителем края, отбыл в Сарай. Но в пути хан заболел. О том, какого рода была его болезнь, сообщает одна-

единственная из русских летописей — Рогожская: Джанибек, сказано здесь, «от некоего привидения разболеся и взбесися». Подробность очень живописная при всей её краткости. Возможно, это была белая горячка, возможно, какой-то иной род помрачения ума.

О болезни отца сообщили Бердибеку, он срочно приехал и по наущению одного из своих темников повелел лишить отца жизни.

В Сарае такой поступок понравился далеко не всем. Не говоря о влиятельных и самолюбивых эмирах, у Бердибека имелась ещё и целая дюжина братьев — от разных жён покойного. Родовая тёмная привычка и подсказка единомышленников помогли отцеубийце стать и братоубийцей — он не пощадил ни одного из двенадцати. В воздухе ещё пахло кровью, когда на парчовых подушках разлёгся новый повелитель Золотой Орды. Да, он не первый из Чингисидов пришёл к власти кровавым путём. Так поступал его отец, так поступал его дед, так поступили бы с ним его братья, если бы он не поступил с ними так. Что говорить, так почти всегда поступали у них в роду, начиная от равного богам Чингиса — Темучжина. Он просто пролил сейчас немного больше крови, чем другие при подобных хлопотах, но тем дольше должны будут его помнить под этим небом.

По заведённому непреложному правилу все русские князья-данники обязаны были ехать на поклон к новому хану, да с подарками богатыми, да поскорей, чтобы не оказаться в числе отставших. А приехав, нужно было умело делать вид, что всё происшедшее — в порядке вещей и что было бы просто немисливо видеть теперь на троне кого-нибудь иного, а не Бердибека.

Ивана Ивановича хан принял как друга дражайшего — прямо оторопь брала от пышности приёма, начиная с того, что торжественная встреча великого князя состоялась ещё на подступах к Сараю, на устье Ахтубы, а оттуда его провожали до столицы «со всякою честью и довольством». Опытные гости, отвечая взаимностью на восточное радушие, знали, что расслабиться нельзя, потому что встреча такая ничем не отличается от поведения ордынцев в бою, когда они, ещё и не сблизившись с врагом, вдруг пускаются наутёк и бегут до тех пор, пока преследователь не выдохнется, распалённый погоней и гордостью от даровой победы, и тогда они разворачивают коней.

Молодой хан был приветлив до конца и сохранил за отцом Дмитрием звание великого владимирского князя.

Когда Иван Иванович возвратился в Москву, в его свите был и опальный боярин Василий Вельяминов. Из Рогожской летописи известно, что встреча великого князя с бывшим московским тысяцким произошла в

Орде. Два года уже миновали после загадочного убийства Алексея Хвоста. Ропот московских чёрных людей и части боярства против Вельяминова как возможного подстрекателя к убийству поутих.

Теперь семейство Вельяминова заново устраивалось и налаживало прежнюю безбедную жизнь в своём родовом боярском гнезде, внутри крепостных стен. У Василия Васильевича было три сына — Иван, Микула и Полиевкт, ребята одного поколения с Дмитрием и как-никак его двоюродные братья. Наверняка он игрывал с ними в различные детские игры, хотя известно, что ребятишки в тот век, причём не только княжеские и боярские, но и простолюдинов, вели жизнь достаточно замкнутую, редко отлучаясь от родительских подворий.

Имелись у Дмитрия сверстники и в других кремлёвских домах — в семьях знатных служилых людей московского князя. У подножия Боровицкого холма, возле угловой стрельницы, размещалась усадьба бояр Акинфовичей, названных так по знаменитому основателю их рода Акинфу Великому. На той усадьбе подрастали три братца, мал мала меньше: Федя по прозвищу Свибло, или Швиблый, то есть шепелявый, Ваня Хромой и Алексаха, прозванный Остеем. Прозвища и в боярских семьях были в большом ходу, обычно их давали ещё в детстве, иногда сами родители, иногда соседская злоязыкая, падкая до всякой свежей дразнилки малышня. Прозвища с годами не забывались, но ещё прочнее прирастали к своим жертвам, которые, кажется, и не очень-то горевали по этому поводу. Московский народ был быстр и остёр на язык, сметлив на всякий речевой обыгрыш, под настроение не щадил ни кума, ни свата, ни родного брата. Словом сшибали спесь, словом давали тычка, словом в краску вгоняли; на испуг, на выдержку, на обидчивость и находчивость проверяли словом же. Зато каждый привыкал с детства не лезть за словом в карман: он тебя плюхой, а ты его рюхой. Цепкое да меткое словцо служило отдушиной в неласковой жизни.

Прозвище подчёркивало в каждом его неповторимость. К примеру, того же Федю Свибла не спутать было заочно с другим юным Фёдором, тоже Андреичем, сыном боярина Кобылы, потому что того на всю жизнь Кошкой нарекли. Ещё одного маленького Фёдора, также кремлёвского жителя, прозвали Беклемишем. Квашнёй, Белеутом, Плещеем кликали других боярских сынков, а в доме у боярина Дмитрия, по прозвищу Зерно, подрастал мальчик Костя, имевший уличное имя Шея. Кошка, Квашня, Шея — это ещё что, одного боярского сынка и Собакой обзывали, а ничего, перетерпел, вырос, даже занял место среди мужей княжого совета.

Многим из этих ребят посчастливилось уцелеть в лето страшного

морового поветрия, некоторые народились позже, все с детства знали в лицо маленьких князей Дмитрия с Иваном и двоюродных им Ивана и Владимира. А подрастут — и узнают друг друга крепче, не только в лицо да по прозвищу. И все почти станут помогать своему князю и господину в делах ратных и мирных.

В год возвращения из Орды Ивана Ивановича Красного отбыл в Киев митрополит Алексей. Поездка была вынуждена тем, что в литовских пределах снова самоуправствовал Роман. Да и вообще в отношениях Москвы с Литвой явно назревало неблагополучие. После того как московские полки выбили литовцев из захваченной ими порубежной Ржевы, Ольгерд приступил к стенам Смоленска, повоевал Мстиславль, а сын его Андрей, князь полоцкий, снова занял слабо укреплённую Ржеву.

В Киеве, где теперь во всём слушались Ольгерда, с митрополитом поступили бесчестно — три долгих года протомили на положении узника.

А как именно сейчас не хватало его в Москве! Подростком умер Иван, старший сын покойного князь-Андрея, Дмитриев двоюродный. А в осень 1359 года неожиданно занедужил сам великий князь. Ему было всего тридцать три года — самый цвет молодости и красоты, — и всего шесть лет пробыл он у власти.

Летописи не оставили ни слова, ни намёка о причине скоропостижной смерти среднего из сыновей Калиты. Томил ли Ивана Ивановича давний недуг? Или в гостях у Бердибека попотчевали чем-нибудь особенным? На такое ведь водились там искусники и в прежние времена. И князь Александр Невский когда-то вернулся из ханской столицы смертельно больным. И отец его, отравленный в Каракоруме, умер по дороге на Русь. Но ни тогда, в XIII веке, ни теперь, в XIV, лекари посмертных заключений не составляли.

Твёрдо можно сказать лишь одно: в Орде не были довольны тем, как Иван Иванович вёл себя в последние годы. Очень уж решительно пресекал он злочиния ордынских послов на Руси: добился, чтобы хан отозвал восояси «лютого» Алачу, а когда пожаловал на Русь с посольскими полномочиями царевич Мамат Хожа, причинивший много зла Рязанскому княжеству, Иван Иванович и царевича осадил — «не впусти его во свою отчину в Руськую землю». Как видим, подобное поведение великого владимирского князя не увязывается с бытующим представлением о его слабости и кротости.

Вдруг оказалась Москва без взрослого князя. Дико было как-то и помыслить, что с завтрашнего дня станет в княжеском доме старшим малолеток Дмитрий в его неполные девять лет. Собирали, собирали

Москву, и вот стоят посреди неё гробы, а у гробов дети несмышленные.

VIII

Иван Иванович успел составить духовное завещание. Возможно, сделал он это на всякий случай — так было принято — ещё накануне последней поездки в Орду: «Пишу душевную грамоту, ничим же не нужен, целым своим умом, во своем здоровье».

Грамота сохранилась до наших дней. Она выполнена на пергамене в двух списках, снабжённых подвесными великокняжескими печатями из позолоченного серебра. Списки дословно совпадают, и, вероятнее всего, один был изготовлен для жены и детей Ивана Ивановича, а другой — для Марии Ивановны и братанича Владимира.

Завещание составлено в том же тоне деловых поручений и распоряжений, в каком писали свои духовные отец и старший брат Ивана Красного. Прежде всего подробно и чётко определяются величины земельных владений, оставляемых наследникам. Город Москва со всеми землями, занятыми под укрепления, жильё, хозяйственные постройки, огороды, сады, луга, боры, ближние речные ловища и прочее, а также со всевозможными таможенными и мытными сборами и пошлинами делится между сыновьями Ивана Красного — Дмитрием и Иваном — и их двоюродным братом на три равные части.

Делится между ними и княжество Московское, но уже не поровну и не целиком. Дмитрию, как старшему в роду, по обычаю, завещаются два важнейших после Москвы города — Коломна и Можайск с окрестными волостями, сёлами и деревнями. Можайск стоит у верховьев Москвы-реки, на западе, а Коломна — у её устья, в юго-восточном углу княжества, и таким образом всё оно, как крепким поясом, препоясано течением реки с притороченными к берегам волостями. Правда, в одном месте, возле Звенигорода, этот пояс как бы надставлен куском из другого материала, потому что сам Звенигород и прилежащие к нему волости завещаны младшему брату Дмитрия. От них обоих зависит, быть ли поясу крепким на разрыв. Владимиру переходят земли, принадлежавшие его отцу. Часть Владимировых волостей кустится к северо-востоку от Москвы, за Клязьмой, по её притокам, а другая часть, большая, — на юге княжества, по-над Окой, по берегам Нары да Протвы.

Некоторые волости и сёла находятся под рукой тётки Марии Александровны, вдовы князь-Семёна. В случае её смерти земли эти

перейдут Дмитрию.

А когда умрёт великая княгиня Ульяна, вторая жена Ивана Калиты, мачеха Ивана Ивановича, то принадлежащие ей угодья и урочища будут поделены начетверо: троим братьям и великой княгине Александре. Последней, кроме того, отдаётся часть волостей в уделах старшего и младшего сыновей, а также ряд сёл, московских и подмосковных.

Если какие-то новые земли достанутся сыновьям и братаничу, то пусть делят без обиды, а если Орда отнимет что в пользу соседей, то остаток тоже по справедливости переделит.

Всею земле, до последней однодворной деревеньки, до последнего овражка и межного валуна, нужно знать меру и счёт, чтобы ни единая пядь не потерялась, не заросла бурьяном, не стала причиной обид и раздоров.

Далее в духовной делились драгоценные вещи, скопленные в сундуках, ларях и шкатулках великокняжеских палат. Дмитрию Иван Иванович оставлял нагрудный крест с изображением святого Александра и ещё один крест, золотом окованный, затем большую золотую цепь нагрудную с золотым же крестом, золотую цепь кольчатую, да шапку золотую, да большой пояс с жемчужными камнями, которым завещателя благословил в своё время отец, Иван Данилович, а ещё золотой пояс с крюком и саблю золотую, и серьгу золотую с жемчугом, и большой золотой ковш, и бадью серебряную с серебряной наливкой поверху, и ещё разные драгоценности помельче.

Не в обиде будет и меньший брат. Ему остаётся икона «Благовещение», большая золотая цепь с крестом и ещё одна цепь из золота, а к ним пояс золотой, ушитый жемчугами, простой золотой пояс, золотые же наплечки, большой золотой ковш, сабля золотая, серьга, тоже золотая, с жемчугами...

Подумал заботливый родитель и о подарках для будущих жён Дмитрия и Ивана: каждой на свадьбу будет пожаловано по золотой цепи и золотому поясу. (Запомним это обстоятельство, к нему ещё придётся вернуться при разматывании всё того же «вельяминовского клубка».)



Русское Междуречье

Золотой запас великокняжеской скарбницы может, пожалуй, по первому впечатлению поразить воображение своими размерами. Но нужно принять в расчёт, что всё это скапливалось не на одном лишь веку Ивана Красного. Тут были вещи, доставшиеся ему в дар от старшего брата, по завещанию от отца, а тому, в свою очередь, тоже от отца и деда. Крест с изображением святого Александра, судя по всему, сто лет тому назад мог принадлежать прапрадеду мальчика Дмитрия — Александру Ярославичу Невскому. Были тут, возможно, и чудом уцелевшие фамильные драгоценности ещё домонгольских времён. Тут было то сравнительно немного, что сберегалось при нашествиях и пожарах, утаивалось от завистливого глаза ханов и их послов, всякий раз требовавших всё новых и новых подарков. Это был весьма скромный, сравнительно с другими временами, золотой достаток великокняжеского дома, вещи, которые почти никогда, за исключением особо торжественных случаев, не надевались, не нацеплялись и не навешивались, но держались под спудом на чёрный день, на случай самой крайней нужды. Этими вещами их хозяева редко когда любовались, но всё же вид их или даже простой перечень в завещании

придавал владельцу дополнительную уверенность в своих силах.

Конечно, дети есть дети: их не могли не восхищать сияние драгоценных окладов и цепей, сказочная красота утвари, испещрённой чеканками, сканью, эмалями, вставными переливчатыми камнями. Дмитрий не догадывался, какой тяжкий груз принимает на свои мальчишеские рамена, унаследовав от родителя все эти цепи, пояса, оплечья, сабли. Не знал, какой ещё более тяжкий груз — города и земли, ему с братьями оставленные. Как год от года всё крепче будет давить этот груз на сердце, на самую душу, хотящую хоть ненадолго освободиться от забот и не могущую. Что значили пока для него груды названий волостей и сёл? Городня, Мезынь, Песочна, Брашева, Похряна, Гроздна, Гжель, Усть-Мерская?.. Он почти нигде в тех волостях ещё и не бывал. А сёла разные — Малаховское, Напрудское, Островское, Копотенское, Косинское... А ещё волости — Кремична, Руза, Суходол, Тростна и иже с ними... Ведь сколько народу должно жить в них, и там и сям, и, шутка ли, каждый из них теперь — твой. А за московскими пределами? Сколько там земель, городов, не означенных в родительской грамоте, но ещё с дедовых времён принадлежащих Москве! Переславль, Кострома, купленные Калитой сёла в ростовской земле, его же купли в отдалённом Белозерье... А тяжелейшая, надсадная ноша отношений с ближайшими соседями — с тверичами, рязанцами, суздальцами, смоленскими и брянскими князьями! Сколько тут накопилось недоумений, какая злоба перекипела за ближайшие и не ближайшие времена! Один лишь Новгород чего стоит. А таинственно крепнущая Литва, на веку деда и отца поглотившая чуть не всю Киевскую Русь.

А Орда, Орда, наконец! Орда, которая, куда ни глянь, везде, в любом деле — и в начале, и в конце, и посередине.

Эх, эх, им бы ещё, ребятишкам, в игры свои играть, носиться, захлёбываясь смехом, друг за другом по укромным светёлкам, скрипучим лесенкам, прохладным сеням, навесным, обдаваемым сквознячком гульбищам...

Глава вторая

В улусе Джучи

I

Что за дед такой был у него, если про деда этого, про Ивана Даниловича, Дмитрий с малолетства слышал на каждом, можно сказать, шагу! Да и не только ухом, не единым слыхом, а и глаза постоянно на чём-нибудь дедовом застывали, и руки мальчишечьи любопытные к чему-нибудь дедову притрагивались.

Кромник, он же Кремник, Кремль, — рубленные из дуба башни и прясла — его, Ивана Даниловича, произведение. А до того, говорят, совсем маленький был детинец, умещался весь на Боровицком холму. Дед далеко отодвинул стены новой своей крепости от стародавней градской макушки — и к берегу Москвы-реки, и к Торгу.

И все белокаменные соборы в Кромнике тоже по дедовой воле строены: сначала Успенье, потом, вскоре за ним, Иоанн Лествичник поставлен, да Спас на Бору, да Архангел Михаил. Ни дядя Семён, ни покойный отец почти ничего каменного к этому ни в городе, ни на посаде не пристроили, не успели.

Про него рассказывая, сокрушённо качали вспоминатели головами: ох и хитрец же был Данилыч, царствие ему небесное! Самого великого и жестокого царя Орды Узбека (на Руси его кликали то Азбьяком, то Возбьяком) хитрованил московский князь, как хотел. Не поймёшь, кто кем и правил-то: царь ли князем, князь ли царём? Не стеснялся подолгу и часто в Сарае гостить; одолевая страх, весел был в разговорах, слово лестное умел прямо в глаза сказать, с подарками всех хатуней — жён ханских обходил и лишь потом уже нёс самые пышные дары властелину Джучиева Улуса.

И ещё знал Дмитрий с малых лет: это он, дед Иван, упросил митрополита переехать на постоянное жительство из Владимира в Москву, и событие то приравнивали к выигранной битве: вдруг выше пояса вынырнула Москва из глухоты, из вчерашней малости.

В княжеском доме любили вспоминать об одном видении, бывшем во сне Ивану Даниловичу: будто бы он с митрополитом Петром, тем самым, что на Москву из Владимира перебрался, проезжают верхами над

Неглинной мимо высокой горы, укрытой снегом, и вдруг снег начал быстро-быстро сползать и сполз совсем, обнажив вершину. Наутро взволнованный князь рассказал митрополиту странный сон, и тот объяснил ему: снег — это он, Пётр, потому что век его на исходе, а гора-де — сам великий князь московский, и стоять той горе долго.

Трудно поверить в то, чтобы дети и внуки Ивана Даниловича называли его Калитой. Это прозвище было простонародное, уличное, хотя пользовались им и в боярских, и в купеческих домах.

Но рано или поздно Дмитрий должен был услышать многое из той пёстрой, неприбранной молвы, которая надолго пережила деда и в которой Иван Данилович имел несколько иной облик, чем тот, что воображался внуку на основе семейных преданий.

Уже после смерти Дмитрия, в XV веке, сложилось предание, объясняющее прозвище Ивана Даниловича. Калитой, или, по-ордынски, *калтой*, называли набедренную сумку — принадлежность восточного воина, в которой возят огниво, трут и прочие вещи первой походной надобности. У Ивана Даниловича в калите якобы ещё и монетки позвякивали. (Тут автор легенды за отдалённостью событий несколько подновлял подробности: монет на Руси при Иване Даниловиче ещё не чеканили.)

...Однажды окружили Калиту нищие, и он, по обыкновению, не разглядывая, сколько кому вынет из сумы, каждого одарил милостыней. Но один из нищих, припрятав свою долю, снова подошёл к князю. Тот опять достал ему несколько серебряниц. Чуть помедлив, нищий в третий раз протягивает руку. «Возьми, насытые зеницы», — говорит ему князь, давая в третий раз. «Сам ты насытые зеницы, — огрызнулся нищий, — здесь царствуешь и на небе царствовать хочешь?..»

В грубой ворчбе нищего видели и укоризну, но одновременно и притчу о том, что князь действительно поступает правильно. За бранной внешностью слов скрывалась похвала, под лохмотьями хулы — одобрение.

Но тою же молвой выплёскивались на волю и другие мнения. Князь, мол, прехитр и только для виду раздаёт, в стократ больше он собирает. Да и раздаёт-то лишь, чтобы показать, как богат стал московский дом. Славой о своём богатстве хочет он приманить к себе людей, начиная от безлошадных пахарей и кончая привередливыми боярами чужих княжеств. Тут, мол, не нищелюбие, а славолюбие удачливого властителя.

А то ещё и покруче высказывались. Гребёт и гребёт Калита без устали в свой мешок, всю Русь ободрал, что медведь липку. Выслуживаясь перед ханом, сплавляет в Сарай громадный «выход». Раньше, до Батыя, в одну

руку гребли князя, теперь в обе стараются, а мужик всё тот же — при единственных драных портах. Не зря и сказ, что у мужика порты драны, да у князя в уме ханы...

Нищелюб и скопидом, устроитель Руси и сарайский завсегдатай, добрый, добычливый хозяин и угодливый слуга, терпеливый донельзя — на сто голосов рассыпалась молва, докатываясь до боровицкого взгорка, отдаваясь шелестом в деревянных княжьих палатах. В представлении Дмитрия образ деда то яснил, то зыбился, двоился, чувство семейной гордости за удачливого и справедливого Ивана Даниловича, любимца боярской старшины и побирушек, порой горчило растерянностью от чьего-то нечаянно услышанного приговора. Но постепенно, с годами, образ этот будет приобретать для внука отчётливость и убедительность образца, пусть и не безукоризненного, с теми или иными человеческими слабостями. Да и в самих этих слабостях деда не было ли своей глубинной, многое извиняющей правоты? Взять хотя бы его пресловутое скопидомство. Подобно Ивану Даниловичу поступает ведь всякий бережливый хозяин. И не зря передаётся из рода в род: любую вещь беспризорную к рукам прибирай: рваный ли беличий треух валяется на дороге, сосна ли рухнула поперёк конной тропы, плывёт ли по реке какая доска. Шапка, глядишь, за утирку сапожную сойдёт, сосна смольная, кручёная сгодится на матицу либо на верёю, а дщица — выудишь её из воды и ахнешь — образом красным, Богородичным предстанет, чудесно явленным.

И не всякая ли умная хозяйка подобна нашему Калите, когда накопит полон короб одежной рвани и ветоши — обрывки сорочек и сарафанов, мужских рубах и оглавных платов — и потом сплетает из всего этого вроде бы непотребного уже сора дивные, полосатым радугам подобные рядна?..

А если ты князем урождён, то тем паче: не только всякая вещь догляд любит, но и всякая вещь, всякое угодье, всякая земля окольная и заочная и всяк человек при ней. Таково уж естество людское — и закон этот благ, — что человек отродясь всё собирает вокруг себя, как сено грабельками в копну. Не из чужих ведь он домов тащит, справный и неустанный скопидом, а то лишь берёт, что отпущено для всех в избытке. И пусть собранное это не просто детям и внукам достаётся, но и приумножается ими; пусть дух умного собирательства живёт в доме, не выветриваясь, и не стесняйся, чадо, за родителя своего, когда он крохи со стола в рот сметает. Ибо то — не от жадности или недоеду, но в притчу и назидание. Таковому-то человеку не стыдно, руку в суму запустив, оделить бездомных и сирот, калек и вдовиц...

Писание глаголет: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут... Но себе ли собираем? Нет, не себе и даже не вам, дети, но тем, кто после нас с вами. Ибо Писание же глаголет и так: не зарывай талант свой в землю... И оно же подсказывает: рука дающего не оскудеет.

Словом, если уж какую вещь или весь деда да прадеда приторочили к твоему седлу, не теряй! А то, жди, на том свете обступят седые бороды со спросом своим строгим: что ж ты, мол, дитятко, растяпушка еловая, не для тебя ли мы добывали Можайск с волостями, не для твоих ли детей Коломну воевали, не под твою ли руку собрали сонм неуправного народу, ты же, растяпина, прибыльток сей отторочил и по ветру развеял...

Или взять хотя бы долготерпение дедово, обидную его согбенность перед ханом. Не сокрывалась ли и тут своя наука? Да, бывали на Руси в изобилии великие и славные нетерпеливцы. Им не то что десятилетия, а каждый день, прожитый под ордынской властью, был невыносимой мукой. Разве забудутся когда-нибудь имена страстотерпцев — черниговского князя Михаила и боярина его Фёдора? А судьбина несчастного Романа Рязанского? Десятки, сотни таких, как они, гибли в Орде, в русских городах, выплёскивая в лицо поработителям презрение, отказываясь исполнять мерзкие их обряды — поклоняться огню и идолам, пить кумыс... Они озарены светом мученичества. От них исходило немое, а то и вслух высказываемое презрение к тем, кто смирился, кто призывал терпеть и терпеть.

Но ведь и у этих были свои доводы. Красна смерть одиночки на миру, но так ли уж трудна? Взмятежить город, переколотить в горячах отряд баскаческий — велик ли подвиг? Через неделю, дело известное, ордынцы пришлют рать, в сто раз ббльшую, и не будет многим городам пощады. Надо знать твёрдо, что дело предстоит долгое, что будет оно стоить кровавого пота, многих унижений, что целые вёдра кумыса надо ещё выпить русским князьям, пока соберут всю землю свою в один кулак.

Понятно, конечно, что страдный путь героев-одиночек, стихийные восстания целых городов производили на пострадавших под игом людей впечатление куда более вдохновляющее, чем малоприметный и часто по внешности неблагодарный труд «долготерпеливцев», которые твердили, что нельзя переть против рожна, что нужно до поры кумиться с Ордой и ходить перед нею, слышь, в неотёсанных болванах, которые-де и с матери родной серьгу сдерут, лишь бы угодить сарайскому дружку.

Но сойдутся ли эти равно трудные и равно необходимые пути — путь горячего, ярого нетерпения и путь подспудного накопления сил,

кропотливого, рассчитанного на многие десятилетия? Ведь при всей их кажущейся несводимости немыслим и ущербен один путь без другого.

Русь ждала теперь какого-то нового, третьего примера. Она ждала людей, в естестве которых породнились бы, сладились оба опыта — горение духа и собранность ума, гнев и сила, неукротимость и трезвый расчёт.

Но ни маленький Дмитрий, никто из его боярского и духовного окружения, никто вообще на Руси, пожалуй, сейчас ещё не знал, долго ли осталось ждать.

II

Сто двадцать лет уже, как тешились ордынцы рознью русских княжеств, поощряли внутреннюю вражду, ловко и разнообразно подстрекали к ней. Сколько было восстаний, целыми городами поднимались, но всё тонуло в крови. Орда научилась подавлять недовольства русскими же руками, так что и пенять порой не на кого, и страшную безысходность рождали эти расправы своих над своими. Но если завоевателям и такого казалось мало, шли на север карательные отряды. Погромщики действовали, как во времена Батыя — целые цепочки русских городов освещали им тогда дорогу пламенем.

Но всё-таки и у подневольной души нельзя насовсем отбивать вкус к жизни — об этом в Орде также имели понятие. И потому политика её с годами видоизменялась. Если в первые десятилетия ига дань с Руси собирали сами — на постоянное жительство в подвластные княжества были снаряжены многочисленные воинские отряды во главе с особыми чиновниками, баскаками, — то после ряда восстаний бас качество было отменено почти повсеместно. Согласились на том, что не нужно раздражать данников слишком частым присутствием. Не прижился и способ изымания дани с помощью откупщиков — мусульман и иудейских купцов. Этих тоже на местах принимали неласково, кое-кого и потрепали до смерти.

Орда для видимости чуть отступила: пусть «выход» собирают и привозят сами русские, и отвечает за это великий князь владимирский. А если что и утаит князь, если явится у него охота пожить при сборах в свою пользу, то и тут Орде выгода: всё не в её сторону направится озлобление русских смердов.

Но в конце концов не так дань страшна, не так изнуряет это непрерывное, из года в год кровопивство, как угнетает русскую душу

сознание нравственной зависимости. Взять хотя бы тот же великокняжеский ярлык, ведь ханы кидают его князьям, будто кость собакам, и ещё хохочут, глядя, как те из-за неё грызутся. Вот она, хитрая восточная игра в кость! Когда же каждый русский осознает её позорный смысл, когда освободится от незримых уз, оплетающих его волю? Пока таких были лишь единицы, и среди них Иван Данилович. Уж он-то не числился пешкой в восточных играх, хотя и в поддавки умел, и по-всякому.

Но то умел делать дед, а теперь, в год смерти родителя, откуда было знать девятилетнему Дмитрию дедову науку? А между тем как бы она нынче ему пригодилась: кончина великого князя владимирского влекла за собой неминуемую для русских князей поездку в Орду. К тому же именно в эти месяцы на Руси стало известно, что в Сарае опять сменился властитель: хан Бердибек убит, а на его место сел какой-то Кульпа, или, как иначе произносили, Кульна. По заведённому правилу русские князья сразу по получении известия о переменах на ханском троне обязаны были ехать с представлением. Опять кинут им кость-ярлык и вновь будут потешаться над княжеской кучей малой?

Но, кажется, вряд ли кто из русичей успел поглядеть на Кульпу в лицо, за исключением нижегородского князя Андрея Константиновича, которому добираться до Сарая было сравнительно близко. Остальные, пока дошла до них весть, пока сами вышли, уже и припозднились. Кульпа продержался на троне всего шесть месяцев и пять дней.

Ещё отмечая гибель Бердибека, русские летописцы выразительно подчеркнули: «Испи чашу, ею же напоил отца своего и братию свою». У некоторых восточных авторов есть свидетельство, что Кульпа приходился братом Бердибеку. Тогда выходит, что Бердибек, расправившийся, как мы помним, с двенадцатью своими братьями, убил не всех.

В любом случае он не до конца испил кровавую чашу, о которой образно повествуют летописцы. Никто ни на Руси, ни даже в Орде не мог ещё догадываться, что липкий кубок со смертным питьём отныне пойдёт по рукам десятков людей, что могущественный Улус Джучи вступает теперь в самый позорный отрезок своей истории.

Безжалостная расправа Бердибека над отцом и двенадцатью братьями, а затем и воцарение Кульпы знаменуют собой начало непристойной оргии, растянувшейся на целых два десятилетия. Это будет оргия борьбы за трон между сворой бесталанных и алчных Чингисидов. Беспрестанные заговоры и мятежи, кровавые столкновения царьков и царевичей, их вельмож и наперсников, наушников и подпевал — всё это (в представлении русских очевидцев) стало как бы уродливым кривым зеркалом, в кошмарном

искажении отражающим беспорядки и неустройства раздёрганной, больной, до слёз несуразной Руси.

«Великая замятия» — так называли те времена летописцы — оказалась для Золотой Орды историческим возмездием за развращающую политику поощрения междоусобиц, которую она избрала главным оружием угнетения подвластных народов. Яды, которые в течение многих десятилетий выпускались отсюда вовне, хлынули теперь обратно. И хлынули с такой разрушающей силой, что вся ордынская правящая верхушка в буквальном смысле слова «взбесится».

За шесть месяцев и пять дней своего царствования Кульпа, по словам русского современника, произведшего этот точный подсчёт, «много зла сотвори». Кульпу, убившего Бердибека, убил некто Науруз. Наши соотечественники по заведённой привычке и его имя подвергли некоторому коверканью, называя (или обзывая?) его то Нарусом, то Наврусом. Прибыв в Сарай, князя свои дары, предназначенные Кульпе, вручали ему.

И до Дмитрия, и при нём Русь много-много раз возила напоказ в Орду малолетних своих князей, когда с родителями, а когда без них. Дмитрий впервые увидел Улус Джучи и его обитателей в возрасте, когда впечатления, а тем более такие непривычные, острые, с особой ясностью и ранящей чёткостью врезаются в память.

...Если летом, то в большой лодке, если зимой, то санным путём, но тоже по реке (скорее, всё же летом) от московской пристани, что под самым боровицким лбом, отправлялся он, оглядываясь напоследок на дедову крепость, на окна родительского дома, мимо Варьской улицы и Красной горки, мимо Васильевского луга и яузского устья, мимо ручья Крутицы и деревянных строений Данилова монастыря — по дедову пути, на Низ.

Само это понятие «Низ» на Руси не все тогда толковали одинаково. Для новгородцев, считавших себя Верхом, уже и Москва была Низ. По московскому же срединному разумению о виде и образе Русской земли Низом следовало именовать земли и народы, находившиеся по течению Волги ниже Нижнего Новгорода. А уж самый-самый Низ — Орда.

Русский человек привык смотреть на свою землю как на подобие тела людского. Недаром озёра напоминали ему глаза, то светло-голубые, то затуманенные печалью, реки же текли, будто кровь в жилах или подобно неспешным думам. Земле, как и плоти людской, может быть больно, есть у неё свои раны, зажившие и ещё кровоточащие.

В Москве постепенно приучались смотреть на Междуречье как на сердцевинную часть русского земного тела. От востока на запад простиралась широкая, мощная грудь — вместилище души. Новгородский

Верх разномыслен, разноголос, будто голова, в которой частенько пошумливает.

А про Низ и говорить нечего. Сколько помнит себя Русь, из недр низовских, будто из неустанной какой утробы, нарождались новые и новые тьмы неизвестных народов и племён. И всё шли и шли, накатывались волнами и исчезали один за другим всё в той же беспамятной кромешности.

От Низа ждать покоя — всё равно что тепла от луны.

III

Пока плыл Москвой-рекой, Дмитрий мог неспешно оглядеть, как обширны его собственные, завещанные отцом владения. Названия волостей одно за другим сменялись. Иногда большие волостные сёла с дворами княжеских чиновников, волостелей, стояли прямо у воды, и люди, заведомо знавшие о княжеском мимошестве, выходили на берег с иконами, кланялись. Так миновали Островское, Брашеву, Усть-Мерское, Северское.

Чем дальше от Москвы, тем места делались равнинней и безлесней. Иногда лишь по берегам кряжились поросшие репейником и полынью кручи с выходами известняка.

Всегдашнее волнение чувствовал путешественник, достигая устья реки, впадения её в другую, бблыиую. Такое волнение Дмитрий со спутниками пережили, когда на холме по правую руку проплыла и осталась за спиной сплошь деревянная Коломна, а впереди распахнулось перед глазами широкое и светлое поле Оки. Тут кончались и угожья московские. Противоположный берег был уже не свой, хотя и русский.

Для стоянок мест новых не искали. Привалы устраивались возле тех же самых кострищ, в потайных, неприметных чужому глазу местах, где варили уху и Дмитриеву отцу, и деду Ивану. Тут ещё чернели обмытые дождями, обсушенные ветром головешки, а обочь темнели настилы из елового лапника с полуобсыпавшейся тёмно-бурой хвоей. Новые лежанки ладили поверх старых. Радовала эта верность людей давно облюбованным укромным полянам, которые бывалый путник, едва спрыгнув с лодки, отыскивал безошибочно, как бы ни зарастали травой и кустарником. Не в этих ли самых местах кашеварили когда-то дружинники великого Святослава во время его победоносного похода на Хазарию? Ведь шёл он так же, как и они теперь: вниз по Оке, а потом и Волгой, до Итиля...

Глаза привыкали к новой реке, к изменившимся берегам, более

размашистым и в пологости, и в крутизне. Чаше попадались длинные песчаные косы, белые, будто выгоревшие на солнце. То один, то другой берег посменно курчавился непролазными зарослями ивняка, дубравами. Если не вспоминать о том, куда и зачем плывёшь, то сущим наслаждением было это знакомство с красотами Междуречья. Какое раздолье для труда, какие пышные сёла могли бы кипеть в этих малолюдных краях, и на всяк рот хватило бы хлеба, животного млека, красной ягоды, а остаток и птицы небесные не успевали бы склевать! А что за прорва рыбы в реках, какой громкий чмок и плеск оглашает по утрам и вечерам розовую гладь плёсов, какие весёлые чудища среди ночи, играючись, гремят в омутах лопатищами хвостов!

Столько воли отмерено человеку, и до чего же он беспомощен и несчастен, куда ни глянь! На одном из поворотов реки показали Дмитрию крутой берег с рукотворной линией валов по самой кромке. Они тянулись и тянулись, задичалые, в осыпях и водороинах, но и сейчас впечатляя мрачной своей мощью.

Рязань...

Каким же огромным был когда-то этот горемычный город, если и по сей день ливни смывают вниз, к береговой кайме, целые груды глиняных черепков. Гордая, видная издалека за много вёрст, Рязань красовалась когда-то над Окой, споря размерами и богатством с самим Киевом, с самим Новгородом. В стенах той Рязани уместилось бы с полдюжины таких крепостей, как нынешняя московская. Местные златокузнецы делали женские украшения не хуже византийских. Сотни купеческих мачт пестрели нарядным частоколом под рязанскими кручами. И где теперь всё это?

Рязань стала первой на Руси добычей Батыевых полчищ. Ужас, пережитый её обитателями, был так велик, что потом уж никто никогда не селился на зачатом пепелище. Рязанские князья приглядели для столицы глухое урочище, не на самой Оке, а немного в стороне, на её мелком притоке. (То устье московские лодки благополучно миновали днём раньше.)

Вообще плавание было относительно безопасным. Данники хана — его одушевлённая собственность, которой именно он, а не кто-нибудь иной имел право распорядиться, как хотел. По Волге и по Оке в те же самые дни, с той же самой целью сплывали к Сараю и ладьи других русских князей. Береговые службы соседних княжеств были оповещены и не чинили препятствий. Но меры предосторожности путниками всё равно соблюдались. Мало ли чья шальная ватага гуляет по берегам, лучше

держаться речного стремени, куда и самый сильный лучник не доправит стрелу.

Мы не знаем, с кем из бояр ехал Дмитрий в Орду, но наверняка имелись в числе его спутников люди бывалые, сполна осознавшие опасность доверенного им дела. Они если и щадили до поры слух своего господина, не рассказывая ему самого страшного из того, что бывало с русскими в Орде, то присутствовала в этом умолчании и своя надсада: они-то щадят, а пощадят ли там?

Уже девяносто лет минуло, а всё не забывает русское сердце, как надругались ордынцы над молодым рязанским князем Романом. Его не просто убили, но перед смертью подвергли изощрённейшим пыткам, которые, должно быть, не снились и первым гонителям христианства. Сначала Роману отрезали язык, а чтоб не кричал от боли, заткнули рот тряпкой. После этого стали отрезать части тела по суставам: пальцы рук и ног, сами руки и ноги... Потом уши, нос, губы. Отрезанное разбрасывали по сторонам. Резали нарочно не спеша, со знанием дела. А когда осталось одно туловище, содрали кожу с головы и подняли эти окровавленные лохмотья на копье.

Не так ли и тело родимой земли лежит теперь в прахе страшным, сжимающимся в судорогах обрубок?

Имена убитых в Орде князей Русь знала наизусть. А сонм безымянных мучеников! По одной лишь водной дороге на Низ сколько посеяно в береговую землю косточек! Где крест, наскоро сколоченный, догнивает над бугром, а чаще — без всяких уже примет.

Снимется с перекрестья встревоженная большая птица, в несколько махов наберёт высоту, и вновь откроется её взору всё беззащитное средоцарствие, до последнего ольхового куста знакомое; ветер тоскливо звенит внизу, кланяются в рощах деревья, и наискось, по сверкающему стремени реки, едва заметно, будто вслепую, соскальзывают лодки.

Но вот остались за спиной и рязанские земли. Теперь по правой стороне простирались владения мещерских племён. Миновали Городец Мещерский, где живёт князь лесного этого народца, также подвластного Орде. С Русью мещёра издавна соседствовала мирно, и во многих смежных областях селились попеременно: то деревни мещеряков стояли в русском окружении, то славянские избы забредали далеко в исконные владения язычников.

Немного ниже Мещерского Городца Ока круто меняла направление, устремлялась на север, в пределы муромы. Как и мещёра, мурома давно уже сжилась со славянским миром, только ещё тесней, неразличимей, так

что и веру имели общую.

Муром — столица здешнего русского княжества — считался одним из древнейших городов во всём Междуречье. Но выглядел он теперь совсем захудалым. И немудрено: почти любой свой набег на Русь татары начинали с Мурома. Слишком уж на виду стоял он, слишком полюбилась грабителям накатанная муромская дорожка. Заодно с ордынцами не упускало случая поживиться тут и мордовское лесное княжье.

...И ещё одно устье миновали — Клязьмы. Из Москвы можно было и Клязьмой сплыть в Оку. Тоже была древняя водная дорога: подняться вверх по Яузе до Мытища Яузского, оттуда коротким волоком к верховьям Клязьмы, а уж по её воде, самыми срединными землями Междуречья, с заходом во Владимир, и далее, мимо Стародуба и развалин Ярополча, прямо сюда, где они сейчас находились. Быстро прикинуть в уме возможность такого вот запасного пути было проверкой сметливости и памяти для каждого из путников.

Какою бы водой русские князья ни шли в Орду, однако Нижнего Новгорода никому не миновать. Мы сейчас с Дмитрием оглядим его лишь мельком. Полюбуемся красотой местоположения — на зелёных крутизнах, по-над самым слиянием Оки и Волги. Горделивой вознесённостью самой крепости — с её деревянных стрельниц заволжские и заокские дали развёрсты на десятки поприщ, а две реки могуче срастаются внизу в один необъёмный ствол. Подивимся городскому многолюдству, оживлённости посадов, верхнего и нижнего. Отметим про себя изобилие приречного торгового, вездесущность восточных купцов, пестроту заморских товаров. От денежных ручьёв, журчащих тут, видать, не одна пригоршня попадёт в княжеские посудины, вовремя подставленные.

Но о нижегородских князьях речь особая, она вся впереди. Нижегородская каша только ещё заваривается подспудно, а расхлебывать её и Москве, и Нижнему годами, пригоревшие же ко дну остатки и совсем не скоро отскребутся.

Время подгоняет московских путников, сейчас для них главное — к сарайскому застолью не опоздать.

IV

На Волге людно, а если не думать, куда дорога пролегает, то и весело: столько прибавилось всевозможных лодок, встречных и мимоходных, спешащих туда же, на Низ. А какое разнообразие купеческих лиц: монголы,

булгары, хорезмийцы, тавризские, персидские, венецианские и генуэзские торговцы, армяне и греки, арабы и евреи! Глядя на благодушных торговцев, подумаешь, пожалуй, что не бывает на свете ни войн, ни моров; будто из одного рая в другой путешествуют вечные гости.

Скоро к Волге прибавится Кама, объясняли Дмитрию, и тут уж начинаются мусульманские, то бишь бесерменские земли. Тут обитают волжские булгары, царство некогда богатое и сильное. Раньше, говорят, булгары жили не здесь, а в степи между Каспийским и Чёрным морями. Но после того как обосновались в тех краях хазары, болгарские племена принуждены были уйти со своей родины: меньшая часть подалась на Балканы, где смешалась со славянами, приняв их язык и обычай, а большинство поднялось вверх по Волге, до устья Камы. Поставили города, обжили богатые лесные угодья, распахали землю. Хорошо тут рожала пшеница, обильно тёк в кадки бортный мёд, местные купцы разведали северные речные пути, и вскоре царство болгар прославилось как хлебная житница и крупнейший меховой рынок. Тогда-то, ещё до нашествия Чингисхана, зачастили сюда проповедники ислама, появились в болгарских городах мечети из тёсаного известняка, каменные бани с фонтанами и бассейнами. Безбедно жили булгары. В «Повести временных лет» сказано, что самого Владимира Святославича Киевского подивили когда-то тем, что все ходят в сапогах, не только знатные, но и простой люд.

Булгары первыми испытали на себе силу Чингисхановых полчищ. И держались поначалу крепко, целых четыре года не подпускали татар к главным своим городам. Как бы тогда надо было помочь булгарам!

А теперь они — такие же, как и Русь, улусники и данники Золотой Орды. Правда, с тех пор, как ханы сами стали переходить в мусульманскую веру, в Сарае много помягчели к булгарам. Вновь расцвели, обстроились здешние города. Вновь зачастили добытчики и купцы в верховья Камы и Вятки, а то и в Подвинье, на Мезень с Печорой, за мягким грузом северных мехов. В 1360 году Жукотин, второй по величине из городов Волжской Булгарии, стал жертвой дерзкой вылазки небольшого, но хорошо вооружённого отряда новгородских вольных людей. В Жукотин они пробрались долгими и окольными путями, минуя Волгу, через Вятку, на больших лодках, называемых ушкуями (по имени своих лодок новгородцы эти и в историю войдут как ушкуйники). Слухи о набеге на Жукотин гуляли самые разные, но, кажется, новгородцы пограбили там одних лишь купцов. Пока дошла жалоба на разбойников в Сарай, пока там судили да рядили, по болгарским городам прокатилась волна самосудов: повсеместно расправлялись над русскими купцами и христианским оседлым населением

городских ремесленных слобод. Дорого обошлось им самочинное удальство новгородской братии. Город болгар стоял немного ниже устья Камы, в шести километрах от Волги. Добираться к нему нужно было небольшой речкой, текшей по дну старого камского русла. Это был первый по-настоящему восточный город на пути москвичей, хотя, сойдя на берег, они могли свернуть для начала в пригород, заселённый русскими ремесленниками, рабами и вольными.

Крепостные стены охватывали столицу почти семивёрстной окружностью. Там и здесь высились каменные мечети. Главные улицы и площади вымощены плитами известняка. На базаре менялы предлагают монеты, печатаемые на монетном дворе болгарского наместника. Полы в богатых домах подогреваются от подземных гончарных трубок. Но что, пожалуй, более всего дивит в том городе русского человека, так это бани. Они строены тоже из камня, в рост мечетей и особняков, вода к ним подведена с помощью хитроумных подземных водопроводов, под нежаркими сводами мужчины просиживают целые дни напролёт, празднуя беседуя или передвигая по клетчатым доскам маленьких идолов, вырезанных из кости.

V

Но что значила невидаль болгарская перед роскошью и великолепием великого ханского гнездовья!

Когда-то, при Батые, столица Улуса Джучи располагалась на волжской протоке Ахтубе невдали от руин хазарского Итиля. По имени основателя этот город именовался Сараем-Бату. Брат Батые Берке-хан облюбывал в верховьях Ахтубы место для нового города, куда позднее, при Узбеке, перенесли столицу.

Местоположение Сарая-Берке, или Нового Сарая, имело свои бесспорные выгоды. Главная же из них — близость караванного пути, вернее, целого пучка караванных путей, простирающихся к Монголии и Китаю, Индии и Хулагидской Персии, к оазисам Синей Орды, а с другой стороны — к торговым узлам Крыма и Средиземноморья, Западной Европы. Это были золотые жилы, текшие по поверхности полумира, и возле их набрякшего сращенья (тут русло Дона ближе всего подступало к Волге) разлёгся город царей из рода Чингисхана и сына его Джучи.

Столица, которую увидели мальчик-князь Дмитрий и его спутники, более всего походила, пожалуй, на какое-то бесконечное сновидение. Она

простиралась во все края земли, а земля здесь была совершенно ровной и издавала сложный, смешанный, слегка приторный запах. Не было понятно ещё, где середина этого города и есть ли она у него. Он не имел совершенно никаких ограждений, никаких укреплений, ни рвов, ни валов, ни каменных, ни деревянных стен. Это обстоятельство, пожалуй, более всего и озадачивало новичков, и изумляло, и вводило в трепет: они впервые в жизни видели город, жители которого совершенно не допускают вероятности того, что кто-то когда-то может на них напасть и им придётся выдержать осаду. Это было что-то большее, чем самонадеянность, тут чувствовалось презрение ко всему подвластному миру, способному лишь на то, чтобы ползать в прахе и пресмыкаться у подножия великой столицы.

От берега Ахтубы медленно двигались внутрь города повозки, уставленные большими кувшинами с речной водой. Значит, в Сарае и колодцев нет, и тут не держат запаса питьевой воды — всё по той же высокомерной привычке не ждать ниоткуда угрозы своему беспечному существованию?

Далее: здесь не было одного, твёрдо обозначенного места, одной площади для торга, как принято в русских городах. Базары попадались на каждом шагу, они будто перетекали из улицы в улицу, и чтобы только проехать вдоль всех этих лавок и развалов, нигде нарочно не задерживаясь, а единственно заботясь о прямизне пути, от одного конца города до другого, надо было, как выяснилось, не менее половины дня. В раскалённом, пропитанном пылью воздухе теснились выкрики торговцев, вопрошания покупателей, рёв ишаков и верблюдов, острые запахи тут же изготавливаемой снеди.

Казалось, все тут живут, чтобы торговать и меняться, а более никто ничему не обучен. Новичку стоило пожить в Сарае две-три недели, чтобы убедиться, что почти так и есть на самом деле. Ему становилось очевидно, что он пребывает вовсе не в столице сильных и жестоких завоевателей, а в новоявленном вавилоне приветливых, разговорчивых и продувных купцов, менял, таможенников, ростовщиков, обманщиков и воришек. Они составляли чуть ли не большинство здешнего населения, зыбкого, как речная волна, и если бы взамен отторговавших и отъехавших не прибывали сюда каждый день громадные толпы новых торговцев, жителей бы в одну неделю уполовинилось. Оседло здесь жили лишь те, кто обязан был взимать пошлины, обслуживать торговцев, кормить их, изготавливать те или иные вещи для продажи, очищать площади и улицы от помёта и пыли. Наиболее постоянными обитателями Сарая были, пожалуй, только рабы — как раз те, кто не хотел бы тут жить постоянно. Впрочем, и они оставались

здесь не подолгу, поскольку наряду с лошадьми, зерном, утварью, оружием и безделушками продавались и покупались, а те, кого уже брезговали покупать, вскоре перебирались для постоянного пребывания на громадные сарайские кладбища.

Купцы всех земель съезжались в Сарай, чтобы пощупать руками живой товар «татарского полона». Город был громадным складом этого товара, скопищем человеческих загонов. Особой многочисленностью отличалась колония здешних рабов-славян. Их содержали на южной окраине города, в больших землянках и полуземлянках, реже — в стенобитных домах — без печей, без окон. Зимой, в морозы, надсмотрщики позволяли обогревать эти помещения с помощью жаровен; топили хворостом, кизяками, камышом, стеблями репейника, всяким подручным мусором. Рабам не разрешалось обзаводиться семьями. Исключение делалось только для искусных ремесленников. Им даже дозволяли строить отдельные жилища из самана.

Сколько уже тысяч рабов-славян было увезено отсюда и куда только не увозили их! Целый полк русских воинов нёс службу при ханском дворце в Ханбалыке (монгольское название Пекина). В течение десятилетий за счёт русских рабов пополняли свои армии египетские султаны. Славянами, закупленными в Сарае, выгодно торговали на невольничьих рынках Крыма, Генуи, Венеции, Пизы. Особенно были высоки в цене русские девушки. За них, случалось, истые ценители платили вдесятеро больше, чем за рабынь из других земель. Много чистых душ зачахло вдали от милых лугов, тоскуя по морщинистым рукам матерей, по родному говору!..

Но снова и снова валом валили в Сарай душепродавцы. А кого им было стесняться и кого бояться в Улусе Джучи? Если бы здешним царям предложили на выбор ислам или торговлю, мечети или базары, то они, конечно, предпочли бы остаться с купцами и лавками, а не с муллами и минаретами. Львиной долей своего богатства, своей роскоши обязан был Сарай работоторговле. Военские походы бывают не всякий год, и «выход» от подвластных народов поступает не всякий год, зато пошлина с каждого мимоидущего каравана течёт прямо в ханскую казну. Иную купеческую армаду и за день не обскачешь от головы до хвоста. В одну только Индию снаряжались караваны, насчитывавшие до четырёх, до шести тысяч породистых скакунов, отобранных на продажу. Так пусть больше ходит караванов, и пусть никто на долгих путях не посмеет даже взглянуть косо на купца и его людей! Можно без угрызений совести казнить какого-нибудь очередного князя из русских, можно при крайней нужде даже прирезать дюжину принцев крови, своих же чингисхановичей, но нельзя и пальцем

тронуть проезжего заимодавца или менялу: пусть шествует от города к городу и всюду вещает, что империя монголов — рай для людей торговли.

VI

Впрочем, чистопородных монголов, потомков завоевателей, в Сарае, да и во всём Улусе Джучи, ко второй половине XIV века осталось совсем немного. Те, что осели здесь при Батые и его преемниках, с годами всё более обособлялись от своей бывшей родины, а свежих сил оттуда не притекало. Вчерашним покорителям приходилось входить в более или менее тесное бытовое общение с зависимыми от них народами и племенами, с булгарами и половцами-кипчаками, с русскими и мордвой, с хорезмийцами и кавказцами. От законоучителей Хорезма и Ургенча они переняли веру, от тамошних мастеров — ремёсла, от кипчаков — язык, от болгар и русских, отчасти правда, — культуру земледелия.

Когда-то европейский путешественник Плано Карпини свидетельствовал, что монголы едят мясо волков и лисиц и всяких других диких зверей, а иногда не брезгают и человеческим мясом. К последнему утверждению историки, правда, относятся с недоверием. Но известно, что во времена Чингисхана рядовой монгольский воин действительно кормился всяческой дичиной, потому что в походах содержался на полуголодном пайке по пословице «От сытой собаки плохая охота». Хищный, отдающий некоторой жутью образ воина той поры воссоздан в монгольском «Сокровенном сказании», где соперник Чингисхана так отзывался о его вождах: «Это четыре пса моего Темучжина, вскормленные человеческим мясом; он привязал их на железную цепь; у этих псов медные лбы, высеченные зубы, шилообразные языки, железные сердца. Вместо конской плётки у них кривые сабли. Они пьют росу, ездят по ветру; в боях пожирают человеческое мясо. Теперь они спущены с цепи; у них текут слюни, они радуются».

В пору пребывания Дмитрия и его спутников в Улусе Джучи здесь уже никто не пробавлялся волчатинной. Самым распространённым блюдом — и при ханском дворце, и в уличных харчевнях — была варёная баранина, хотя по-прежнему особо ценилась конина. Во время ханских обедов гостей уже не заставляли насильно пить кумыс. Он стал теперь напитком простонародья, придворная же знать предпочитала вина, изготовленные из мёдов или из винограда.

Восточный автор тех времён с поэтическим упоением расцвечивает

пышными метафорами «одну из ночей веселия, когда звёзды чаш кружились в сферах удовольствия и султан вина уже распоряжался пленником ума». В этой картине, похоже, и сами небеса несколько одурманены винными ароматами.

В пресыщенных и разжиревших обитателях сарайских дворцов и особняков, кажется, непросто было узнать потомков тех жестоких воинов, которые когда-то, ворвавшись в чужой город, распарывали утробы беременным женщинам и умерщвляли зародышей. Перс Джувейни писал о Батые, что его военачальники при завоевании Руси отдали приказ отрезать пленным правое ухо и что сосчитано было 270 тысяч ушей. Те лютые головорезы в погоне за врагом могли напиться из любой болотной лужи, а нынче в Сарае на базарах обычная вода продаётся за деньги. Во дворцах же богачей она брызжет из жерл фонтанов, повисая в воздухе перламутровой пылью.

Потомки степных воинов, диких и свободных, эти люди уже не в одном поколении сами были пленниками роскоши и утончённых удовольствий, которыми соблазнились в городах дряблого, пресыщенного Востока. Не странно ли, Чингис ненавидел города, всё городское, а они построили самую великую столицу во всей Евразии, столицу, в которой уже при Узбеке числилось сто тысяч народу.

И всё-таки какое-то недоверие, какое-то презрение к этому собственному детищу у них отчасти сохранялось. Сохранялся и обычай жить в Сарае только в студёные месяцы. Как лишь наступали тёплые дни и степь, просохнув под ветрами, покрывалась коврами цветущих растений, ханы покидали сарайский дворец, украшенный золотым полумесяцем, и отправлялись гулять по кипчакским раздольям. Иногда ханские ставки откочёвывали от верховья Ахтубы на сотни вёрст. Возвращаться не спешили, дожидаясь, когда замёрзнут реки.

Но и степные ветры не сдували с их лиц липкий отпечаток изнеженности. Ханскую ставку, кишашую челядью, в этих походах обычно сопровождали не менее многочисленные ставки ханских жён — хатуней. Каждая из них ехала на громадной арбе, укрытой от солнца лёгкими тканями. Внутри арбы, окружая свою властелиншу, сидели или возлежали на шёлковых и атласных подушках до полусотни юных красавиц, наряженных в живописные одежды и драгоценные уборы. При каждой из ханш состояло ещё по двадцать пожилых женщин, ехавших отдельно, около ста верховых юношей-невольников, большое число старых слуг. Должно быть, великий Темучжин немало бы подивился, а то и разгневался, попадись ему на глаза в степи это необычное воинство благоухающих

мастиками красоток и избалованных рабов. Должно быть, ему не понравилось бы и поведение его кровных потомков, которые каждый день проводят с новой женой (причём она должна не только кормить, поить и потешать своего господина, но и обрядить его после свидания в новые одежды).

Во время летних кочёвок излюбленным местом для большой остановки было Пятигорье — граница между степью и снежными хребтами Кавказа. Тут на лужайках, вблизи ключей горячей воды, разбивали шатры и походные мечети, а вездесущие купцы мгновенно устраивали малое подобие сарайского базара. Хан плескался в ключевой воде, пахнувшей серой. Считалось, что такое купание способно предохранить от болезней на всю зиму.

Русских в Улусе Джучи, впрочем, как и арабов и персов, удивляла картинная церемонность ордынцев в их обращении с женщинами, но ещё более — то особое место, которое женщина занимала не только в быту, но и в государственной жизни. Хан, бывало, не сядет на трон во дворце, пока не встретит у входа и не проведёт на сиденья всех своих хатуней; не пригубит чаши с вином, пока им собственноручно не нальёт. Вручение привезённых с собою подарков иноземцы начинали с хатуней, лишь напоследок одаривали главную жену и хана. От воли жён, а особенно старшей, часто зависело расположение хана к приезжему князю-даннику. После смерти властелина его первая жена становилась регентшей, иногда и при взрослых уже сыновьях. Прислушиваясь к мнению женщин, ханы заражались от них капризностью, непостоянством мнений, доверчивостью к сплетне, а не удовлетворяемую сполна жажду единоличной власти сплошь да рядом утоляли вспышками кровожадной жестокости.

Так, про хана Узбека (современника Ивана Калиты), при котором в Орде казнили шестерых русских князей, известно было, что путь к трону открыла ему одна из жён его родителя. Став хозяином царского дворца, Узбек сделал эту женщину собственной супругой, и муллы втолковали народу, что в поступке таком нет греха, ибо родитель владыки не исповедовал ислам, и потому его брак с нынешней женой его сына не считался законным. А вот сам Узбек, который, по словам велеречивого персидского поэта, «был украшен красою ислама» и у которого «шея чистосердечия была убрана жемчугами веры», имел полное право жениться на незаконной отцовой жене.

Жестокость этого властителя, при котором Золотая Орда достигла пределов своего могущества, отличалась особой изобретательностью. Ещё один восточный автор утверждал: на пути к власти Узбек-хан расправился

якобы со ста двадцатью царевичами (!) «из рода Чингисханова». Своих знатных пленников, заведомо обречённых на смерть, Узбек имел обыкновение томить неопределённостью, изматывать им душу разноречивыми слухами: то о близкой уже казни, то о её отсрочке, то даже о возможной царской милости.

Так именно он поступил с несчастным тверским князем Михаилом Ярославичем. Сначала затаскали князя по судам, затем заковали в железа и навесили на шею цепь; на другой день прикрепили к шее ещё и деревянную колоду. В таком виде возили его за ставкой, а хан тем временем охотился; потом приволокли Михаила Ярославича на городской торг, и тут на виду у толпы купцов, заимодавцев, воинов и просто зевак князь был разрешён от уз и наряжен в богатые одежды; слуги даже принесли ему нарочно изготовленные яства, но он, чуя недоброе, отказался от еды и питья; и снова его при всех раздели и скрутили железами; и ещё двадцать шесть дней возили с места на место, всё с той же колодой на шее, по следам царского кочевья; до последнего дня надеялся Михаил Ярославич, что минует его страшная участь, посылал верных слуг к ханше, которая обещалась помочь. И за час до своей смерти послал было за ней, да поздно уже оказалось, а скорее всего, что и бесполезно: за подарки чего не пообещает женщина? Били его сапогами; схватив за уши, один из палачей колотил князя головой об землю, пока наконец другой не всадил ему нож в грудь и не повернул рукоять между ребрами в одну и в другую сторону.

VII

Русские летописи не содержат никаких подробностей о первом пребывании Дмитрия в Орде. Мы не знаем даже, был ли он представлен хану — Наурусу или Хидырю. В летние месяцы хан вполне мог кочевать по степным раздольям, а не скучать в городской духоте. Но, возможно, новоиспечённый царь не был настолько самоуверен и беспечен, чтобы надолго отлучаться из едва лишь завоёванного Сарая, в котором что ни особняк, то свой отпрыск непомерно расплодившегося Чингисханова рода. Если хан всё же находился теперь в ставке, то туда же следовало отправляться и русским князьям, а не ждать до поздней осени его возвращения в город.

Впрочем, некоторые подробности и обстоятельства пребывания московского князя и его свиты в Улусе Джучи можно представить и без оглядки на летописи. Прежде всего им следовало позаботиться о вручении

необходимых даров. Было известно, что у хана после первых подарков никогда ничего не решалось. Там ждали, что будет принесено во второй и в третий раз. Иногда князь-новичок, по неопытности раздарив сразу же всё привезённое, с трудом понаскрёбанное по отцовским сусекам, вынужден был занимать большие деньги у великодушных сарайских заимодавцев и отправляться на базар, в ряды, где торговали предметами, годными для подношений. При дворе любили, когда им дарят северных охотничьих соколов, кровных кипчакских коней, а из мехов — русских горностаев, болгарских соболей, киргизских белок. Но надо было ещё заранее вызнать вкусы того или иного лица. Иному, глядишь, и серебряная утварь обрыдла, и живым пардусом его не удивишь.

Но, судя по всему, обстановка вокруг трона была сейчас настолько неопределённой, личности эмиров ханского дивана настолько неясны, что спутники Дмитрия не стали водить его по обычным кругам придворных церемоний. Не стоило метать бисер перед всеми этими новоиспечёнными царедворцами и востроглазыми наложницами. Сегодня они нежатся в подвижной тени опахал, а завтра, глядишь, сделаются пищей ахтубских налимов.

Бывалые москвичи постарались разыскать при дворе тех, кого знавали не с худшей стороны по прежним наездам сюда. Не с худшей лишь в том, конечно, смысле, что те постоянно выставляли себя доброжелателями московских князей и даже иногда не прочь были подсказать совет, более или менее ценный. Эти люди презрительно относились к затянувшейся грызне вокруг трона. Они не жаловали нынешнего властелина, они знали имена и возможности ещё полдюжины разных охотников до ханского места. Они были уверены, что скоро вода в Ахтубе отстоится и справедливый царь вернёт Улусу Джучи былую славу, поколебленную чумой 1353 года и нынешней грызнёй царьков, неплохо обученных рушить власть, но не умеющих её держать.

Как на одного из таких сильных ордынских людей москвичам указывали на темника Мамай. Жаль, что в жилах его не течёт ни единой капли Чингисхановой крови, а то сидеть бы ему уже спокойно и твёрдо на царском троне. Мамай обрёл силу при Бердибеке, выгодно женившись на ханской сестре, а став гурленем — ханским зятем, сумел быстро завязать связи с людьми, которые в политике не стремятся торчать на виду, а, наоборот, всегда дают понять, что не имеют никакого отношения к тому, что благодаря им лишь и делается. Мамай и сам наловчился вести себя именно так. И сейчас уже поговаривали, что за чехардой перемен на троне чувствуются чёткие движения и его твёрдой, ни на минуту не

ослабевающей руки. Победят такие люди — и Москве хорошо: будет её маленький князь, внучок Калиты, великим владимирским... Словом, надо было московским боярам на всякий случай запомнить это имя: Мамай.



Города Золотой Орды

...Как бы мало ни прожили они в Сарае, но уж непременно должны были навестить здешнего православного епископа, владыку Ивана, жившего возле русского храма на той же южной окраине города, где ютились невольники-славяне.

Дмитрию заранее, должно быть, втолковали, что удивляться тут нечего: да, русская епископия существует в самой столице Улуса Джучи, и существует уже давно, более ста лет. Почему это стало возможно? Монголы-язычники некрепки в вере, шаманов боялся лишь простой люд, многие, особенно из знатных, легко переменялись в иные веры. В числе

завоевателей немало оказалось несториан, приверженцев христианской ереси, давно уже расползшейся по странам Востока. Остальные же были, как правило, безразличны к тому, каких именно богов почитают покорённые ими народы. Можно верить в одного бога, как болгары и евреи, можно — в единого в трёх лицах, как русские, почитающие свою Троицу, можно поклоняться огню, как персы, можно — каменным идолам, как кипчаки, лишь бы жрецы всех этих племён внушали им уважение к ханской власти. Лишь бы дань платилась исправно.

И хотя со времён Берке-хана, принявшего ислам, новая религия стала усиленно насаждаться по всему Улусу Джучи, вероисповедное единомыслие и теперь не привилось. Сын Батыя несторианин Сартак, наехав как-то в степи на ставку своего дяди Берке, отказался с ним встретиться под следующим предлогом: «Ты мусульманин, я же держусь веры христианской; видеть лицо мусульманина для меня несчастье». Берке-хан не жаловал «неверных»: по его приказу в Самарканде погромили великое множество тамошних монголов-несториан. К скоропостижной смерти Сартака он же, Берке, говорят, приложил руку. Не жаловал противников ислама и великий хан Узбек. Воинственный дух Корана был ему куда более по вкусу, чем призыв к милосердию и помилованию врагов.

Но вот католиков Узбек почему-то привечал, даже с папой римским состоял в переписке, обменивался с ним дарами. Узбек строил в своих городах мечети, и тут же рядом появлялись здания папских костёлов и монастырей. В Сарае одних лишь францисканских монастырей завелось тогда более десятка. Что-то властно влекло воинов католической церкви в ордынскую столицу. И происходило это в те самые десятилетия, когда с Запада всё чаще стали беспокоить русские пределы рыцари католических орденов.

Дед Дмитрия и дядя Семён, когда бывали в Сарае, много, говорят, народу повыкупили из ордынской неволи, увезли с собой на Русь. Как и теперь-то хотелось хоть кого-нибудь выволить из кабалы.

Оставаться же долее в Орде смысла нет. Вот-вот, гляди, новый хан объявится. Надо переждать замятию, пусть и без великого ярлыка вернётся московский князь в свой дом.

Покинув Сарай в канун очередного дворцового переворота, москвичи благополучно оставили за спиной самый ненадёжный город мира, самую недолговечную из столиц. Сарай самозабвенно гомонил, позвякивая золотыми дирхемами, звенел тысячами бронзовых колокольчиков, привязанных к шеям караванных верблюдов. И ничто, кажется, не предвещало, что этому необозримому городу-сновидению существовать

осталось всего четверть века.

Глава третья

Право и правда

I

В 1359 году, после смерти Ивана Красного, московскому правительству — людям княжого совета, в состав которого, кроме митрополита Алексея и тысяцкого Вельяминова, входило несколько старейших бояр, — следовало ожидать, что отстоять право девятилетнего Дмитрия на великокняжеский ярлык окажется не так-то просто.

Им следовало ожидать также, что из всех русских князей наиболее способны сейчас перехватить этот ярлык суздальско-нижегородские Константиновичи.

Наконец, следовало ожидать, что попытку эту они предпримут по наущению и при сильном содействии Великого Новгорода, преследующего тут свою особую цель.

Опасения Москвы подтвердились.

Более того, ход разворачивавшихся событий застал её правительство если не врасплох, то не вполне готовым к резкой перемене.

Летом 1360 года князь Дмитрий Константинович въехал во Владимир, где в Успенском соборе был устроен торжественный обряд его венчания на «великое княжение Белое», которое он получил, по укоризненному замечанию современников, «не по отчине и не по дедине», то есть имелось в виду, что ни отец его, ни дед не были великими князьями владимирскими. Церковно-государственное торжество венчания на престол не могло обойтись без присутствия митрополита, и, хотя летописи, по понятным причинам, молчат, венчать суздальско-нижегородского князя должен был, пусть и против своей воли, Алексей. На то была другая воля — ханская.

Звон колоколов Успенского собора прозвучал вызовом не только Москве — всему строю русской жизни, как она налаживалась за последние тридцать с лишним лет, с тех пор, как здесь же благословляли на власть и славили Ивана Калиту.

Кто-то из тогдашних русских книжников писал о сорока годах «великой тишины», наступившей с вокняжением Ивана Даниловича на Русской земле. Сорока полных годов, правда, не набиралось, к тому же и

тишина была временами весьма относительной: в 1327 году Калита немало своих же русских городов по приказу хана разорил, но всё же в преувеличении панегириста имелся свой здравый смысл: при Калите, а особенно при его сыновьях, земля как-то отдышалась. В соседних княжествах начали было привыкать помалу, что Москва за них думает. А тут выходило — на другую голову надо оглядываться.

Холодком тревоги повеяло по Русскому Междуречью. «Не по отчине и не по дедине» — это выражение хорошо понимали не только в многочисленных семьях Рюриковичей. Его смысл доходил и до безграмотного смерда, и до всякого ремесленника из посадских чёрных сотен.

Во времена Александра Невского и его сыновей ордынцы, разыгрывая великокняжеский ярлык между русскими, натравливали друг на друга ближайших родственников — родных братьев, и у тех — за вычетом разницы в возрасте — права на власть были равными.

Теперь, через два-три поколения, когда древо владимирских князей сильно разветвилось, Орде не так-то просто стало затевать семейные ссоры в своём русском улусе, — для этого приходилось иногда вовлекать в интригу родственников отдалёнейших.

Константиновичи происходили всё из того же Большого Гнезда Всеволода, что и московские князья. Последним их общим предком был сам Александр Невский. Один из его сыновей, Андрей, человек с нехорошей славой завистника и честолюбца, немало русской кровушки проливший, чтобы добиться великого владимирского стола, приходился прадедом Константиновичам. Но ни их деду, ни отцу — ещё раз стоит подчеркнуть — ярлык на великое княжение уже не доставался.

Зато и дед, и дядя, и отец Дмитрия Московского были великими князьями владимирскими. Только одного звена, прадедного, не хватало, чтобы их прочная преемственность простерлась до самого Невского героя. Но и так, без этого звена, всем было ясно, что русское престолонаследное право сейчас явно не на стороне Константиновичей. И, однако, средний из них, тридцатисемилетний тёзка московского мальчика, повенчался только что на русского первокнязя.

Стоит восстановить в подробностях краткую предысторию его выдвижения и попутно приглядеться к каждому из братьев.

Константиновичей было трое — Андрей, Дмитрий и Борис. Выше уже говорено, что Андрея хан призвал в Орду сразу после того, как сыну Ивана Красного было отказано в великом ярлыке — под предлогом малого возраста. Прибыв по вызову, Андрей Константинович повёл себя как-то

странно: он попросил лишь подтверждения своих прав на собственный нижегородский удел, а от владимирского стола отказался в пользу среднего брата. Видимо, старший из Константиновичей был человек невоинственный, невластолюбивый и совестливый. Видимо, он хорошо помнил, как совсем ещё недавно в том же Владимире во время церемонии присяги клялся в верности покойному Ивану Ивановичу и его дому. Не мог он, конечно, забыть и того, как спустя три года ещё была у него встреча с Иваном Красным — в Переславле — и как щедро при том свидании одарил его и обласкал сын Калиты.

К тому же, как он мог догадываться, хан сейчас просто-напросто торговался, ждал, кто выложит ему больше, а Москва, видать, привезла не так-то много, понадеявшись, что право и так на её стороне. Ни участвовать в торге, ни отягощать свою жизнь бременем великой и страшной власти князь Андрей не восхотел. Пусть хан с его братом договариваются, если и тот не откажется.

Дмитрий Константинович был несколько из другого теста и не отказался. Более того, он с готовностью «вдаде дары многи хану и ханше и князем ордынским». Так что дело решил не малый возраст московского князя, а тугая сума его соперника, быстрого и тороватого.

Константиновичи и так-то не считались бедными, владея хлебородным суздальским опольем и многолюдными торговыми рядами Нижнего. А тут ещё из-за их спины явно торчал и Великий Новгород, громыхающий своим серебром. На Волхове надеялись, что теперь-то доведено будет до конца то, что не удалось с помощью родителя суздальско-нижегородских князей.

Корысть новгородских вечников имела под собой старинную подоплёку. Ещё двести лет назад Москва стала костью в горле у волховских гостей, когда Юрий Долгорукий наловчился проделывать с ними нехитрую штуку, суть которой состояла в том, что при всяком очередном новгородском проступке на Москве-реке перерезали путь ладьям, везущим зерно и прочий товар с Низу к волховским пристаням.

Если, рассуждали теперь новгородцы, дружественный и обязанный им великий князь владимирский будет сидеть в Нижнем либо Суздале, товары потекут с Низа и на Низ беспрепятственно и не придётся впредь, под нажимом Москвы, то и дело распечатывать свои самые заветные серебряные припасы ради «царского выхода» или какого-нибудь внеочередного «чёрного бора», часть которого потомки Калиты наверняка припрятывают в своих тайниках.

Вдруг, нежданно-негаданно для себя, получив от Орды ослепительный ярлык, Дмитрий-Фома (это было второе имя среднего Константиновича),

разумеется, постарался благозвучней обставить из ряда вон выходящее событие. Злословят про него, что пришёл к власти «не по отчине и не по дедине». Но прадед-то его был великим владимирским! А вот прадед московского мальчонки, Данила, только к нижним ступеням того престола допускался. А разве забыто уже всеми, что в год венчания Калиты, хотя и ему был дан ярлык, само владимирское княжение хан Узбек велел поделить поровну, и вторая доля вручена была деду-суздальду? Лишь потом Калита исподтишка оттеснил их и даже на время посадил сына Семёна князем-наместником в Нижний. Так что надо ещё разобраться, у кого оно, право-то!

Зная, однако, что на Руси не менее, чем право, почитается стоящая за ним и над ним правда, Дмитрий-Фома и с этой стороны хотел видеть себя неуязвимым. В том ли она, искомая правда, что судьбы всей нашей земли, с десятками её городов и княжеств, окажутся в неопытных руках дитяти, а не под хозяйским приглядом мужа зрелого, многоопытного? Ясно, что внук Калиты сам править не может, что вместо него к власти общерусской рванутся сразу несколько боярских ручищ, что начнётся несусветное колобродство, хапанье и растаскивание кусков по боярским ларям — на горе землепашцу, на потеху той же Орде. Такою-то правдой сыты, от неё наплакались вдоволь.

К тому же — сверху-то глядя, а не от своего пупа, — Суздаль с Нижним куда удобнее для правления, чем глухая Москва. Нижний запирает замком слияние двух великих рек Междуречья, богатства сюда стекутся отовсюду и уже стекаются. А Суздаль много древнее не только Москвы, но и Владимира престольного, сам предок наш Александр Ярославич любил сей град особо и из него правил всей землёй.

Правду свою нужно доказывать сейчас же, немедленно, понимал Дмитрий-Фома. Набег новгородцев-ушкуйников на болгарский город Жукотин и последовавшая затем расправа мусульман над христианским населением болгарского улуса виделись ему подходящим поводом, чтоб разом показать соотечественникам и свою новую власть, и рассудительность, и справедливость, и верность старым уставам великокняжеского держания. А заодно чтобы и в Сарае заметили, как он блюдёт ордынский интерес.

Гонцы поскакали по городам — созывать князей на съезд. Проводить его Дмитрий-Фома назначил в Костроме, а то её, Кострому, московские совсем уж было прижилили — последнего князя костромского выгнали и наместников своих насылают. На съезде было решено разбой ушкуйников осудить, участников набега на Жукотин разыскать, награбленное у них

изъять, а самих выдать в Орду. Что ж что новгородцы! Заслужили — получают и новгородцы по заслугам. Теперь прикусят языки недоброжелатели, твердящие, что новый великий князь владимирский — ставленник Новгорода. Независимый, решительный шаг сделан в Костроме, шаг в духе Александра Ярославича, который, как известно, не стеснялся круто наказывать перед Ордой своих же, православных, когда требовала того решительная минута.

Однако костромской съезд не произвёл ожидаемого впечатления. Уж потому хотя бы, что выглядело княжеское собрание как-то жидковато. Не приехали тверичи, не было никого — хотя бы боярина нарочитого — из накупившейся Москвы, из Рязани, из Смоленска, из Белозерья. Кроме самого Дмитрия-Фомы, присутствовали только его старший брат Андрей Константинович, да ростовский Константин Васильевич, женатый на дочери Калиты, но держащий обиду на москвичей, да ещё кое-кто из захудалого удельного княжья.

Неявка означала и неповиновение, и молчаливо выражаемое осуждение, и осторожную выжидательность тех, кто постеснялся открыто отступить от промосковской линии, вроде бы и стёртой сейчас с лица земли, но, значит, слишком всё-таки прочно отпечатанной в сознании большинства.

Возможно, именно теперь, в Костроме, Дмитрий Константинович и засомневался в себе впервые, и посмурнел, и призадумался, хоть на малый-то миг.

II

Тонкий отрок двенадцати неполных лет садится, судорожно напрягшись, на боевого коня, по-походному осёдланного и озбруенного; рядом дядьки подсаживают на таких же коней братца его, Ивана Малого, и брата их Владимира. Ивашка улыбается, усевшись верхом, ему забава, восторг; под ним добрая, шириной с лежанку спинища лошади; толстая, подстриженная и закинутая на один бок грива, а внизу, вокруг — рябь людских лиц, каких-то непривычно опрокинутых, неузнаваемых. Владимир вопросительно поглядывает на Дмитрия и, кажется, впитывает каждое его движение: как Дмитрий себя поведёт, так и он будет. Мария крестит его на дорогу. Александра с едва сдерживаемыми слезами вглядывается в своего смеющегося Ванечку. Василий Вельяминов утешает сестру: ничего не станет с детьми, сами все поляжем, но князя пребудут невредимы; это

лишь для проводов, чтобы весь город увидел: приодели в воинское, подняли на коней, а дальше будут ехать в мягком возке, с четырёх сторон окружённые живыми стенами верховных кольчужников...

Накануне Москва взликовала, получив срочную весть: в Орде наконец решено в пользу Дмитрия Ивановича. Бог видит, наша правда, не дал в обиду безотцовщину!

Всем уже известны подробности. Новый сарайский хан по имени Амурат (Хидырь убит своим сыном Темир-хозяей, и Темир-хози уже нету в живых) начал с того, что, когда к нему явились с дарами московский посол и киличей от Дмитрия-Фомы, подарков не принял, а велел содержать послов под строгой стражей, чтоб никто из сарайских вельмож их не навещал, никакими посулами не прельщал и подарков не выклянчивал. Тем временем у хана велось подробное разбирательство того, что произошло в русском улусе за последние годы и месяцы. Амурат признал действия своих случайных предшественников незаконными. Разве виноват Дмитрий Московский, что остался дитём по своему отцу? Малый возраст его не предлог, чтобы отдавать великое княжение другому. Если сам править не может, есть под ним подручные князья и бояре, пусть они правят, пока подрастёт.

Вызвав послов, Амурат объявил им своё решение, снарядил и отправил вместе с московским собственным послом для вручения ярлыка великому князю Дмитрию Ивановичу и лишь напоследок принял дары.

Но уже было известно и другое: Дмитрий-Фома страшно разобижен решением хана, исполнить царскую волю отказался и спешно занял Переславль, прискакав туда и сам, чтоб отрезать московскому поезду мирный путь на Владимир, к венчанию.

Последняя выходка нестерпимая, вопиющая! Переславль уже более полувека — собственность Москвы, не каким-нибудь разбоем доставшаяся, дар полюбовный прадеду Даниле. Запозорился Константинович с Переславлем, вроде не в ушкуе его родили, а во княжьем доме, экий срам!..

В кратчайшие сроки собралось воинство Московского княжества, и вот теперь выходили — через Никольскую воротную стрельницу, пересекая Торг и посад, — на Владимирскую дорогу. От Москвы она вела прямо в Переславль, сквозь нависшие с обеих сторон стены лесные, и конного перехода считалось два дня. Общее накопившееся возмущение подхлестывало горячность воевод, они рвались поскорее наказать Константиновича.

Узнав о приближении полков противника, тот вдруг смутился духом и бросил Переславль, надеясь, может быть, что москвичи, когда займут город

без боя, на радостях тут и останутся.

Радость, что и говорить, была немалая: от крутого взлобка лесной гривы Дмитрий с братцами увидели внизу огромную округлую чашу Плещеева озера. Водная даль сливалась с небом, и мрели в озёрных глубинах сизые отражения недвижных облаков. Прямо к берегу прилегло бочком зелёное, почти игрушечное издали кольцо насыпных валов, а внутри того кольца, над рябью крыш, мерцал каменный собор, строенный ещё при Юрии Долгоруком. Подобную зодческую древность очарованные мальчики увидели впервые. Здесь, в этой великанской долине, жил их прапрадед, стяжавший славу на Неве и у Чудского озера, здесь и прадед их жил в юные свои лета, прежде чем переселиться навсегда в Москву, здесь дед их, Иван Данилович, отличился когда-то в рати против тверичей. Одна дорога, хорошо видная сверху, поднималась из озёрной котловины дальше на северо-восток — на Ростов, на Ярославль и Кострому. А другая — сразу после моста через Трубеж — сворачивала праворучь, на Юрьев-Польский и Владимир.

По ней и пошли, не задерживаясь, по свежим конно-пешим и тележным следам отступившей рати.

Летописцы, всегда так разборчиво-точные в глаголе, пишут, что Дмитрий Константинович не отступал, не отходил, но «бежа»: сначала «бежа» из Переславля во Владимир, а оттуда, не задерживаясь, «бежа в Суздаль». Видимо, такой скорости отступления не ожидали и преследователи. Явно не приличествовала подобная поспешность достоинству вчерашнего первокнязя. Всё решилось в считанные дни, без единой воинской стычки, что ещё усугубляло позор слабодушного беглеца, но, может, не слабодушие то было, а запоздалое его смирение? К тем дням относят слова, якобы сказанные ему старшим братом, Андреем Константиновичем: «Брате милый, не рекли ти, яко не добро татаром верити и на чюжая наскакати? И се не послушал еси глагола моего и стряс все твое, а не нашел ничего. Тако бо, брате, давно речено: исча чюжаго, о своем восплачет. А иже тому не пособити, ино, брате, лучше умиритися з Дмитрием и иные князи, да не гибнет христианство».

Прекрасные в своей простоте и мудрости слова!

Дмитрий-Фома затворился в Суздале — в собственной «отчине и дедине». От Владимира, куда вступили московские полки, до Суздаля было рукой подать, но победитель проявил великодушие. Ему на череду было обрядиться в Успенском соборе на новую свою власть.

Пусть и обеднел, подзапустил Владимир после Батыева погрома, но и сейчас угадывались в его облике черты былого великолепия времён Андрея

Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Один-единственный взгляд на храмы, созданные при них, уже способен был возродить в детском воображении ослепительную славу русской старины. И опять, как в Переславле, не могла не поразить их, но уже по-своему, красота окрестностей, распахнувшихся внизу, за Клязьмой, когда озирали их с соборного холма или с башенной площадки Золотых ворот. Что-то владычное было в самом распахе этих далей, пасмурно-строгих, чуть отчуждённых, но как бы и зовущих, затягивающих туда, в их молчаливую неизвестность.

В Успенском соборе мальчики гуськом, затылок в затылок, дыхание затаив — Дмитрий, за ним Ивашка и Владимир, — подошли и приложились перво-наперво к образу Умиления — самой великой русской святыне — иконе, писанной, по преданию, евангелистом Лукой с живой ещё Богородицы. И откуда было ведать Дмитрию, что так же вот, как и он, с громко бьющимся сердцем, будут целовать этот образ не только его дети и внуки, но и внуки его внуков; при каждом нашествии иноплеменных икону эту будут с пением выносить на городские улицы, чтобы видел её весь плачущий и надеющийся народ.

Как выглядел сам обряд венчания на великое княжество Владимирское? Древнерусская книжность не сохранила его описаний. Псковские летописцы, повествуя о поставлении на псковскую землю князя Довмонта, записали, что он в храме был торжественно препоясан мечом. Безусловно, это было главное звено всего обряда вокняжения — и на любой удел, и на великий стол. Тяжёлым воинским мечом препоясывали и Дмитрия. Во Владимире он провёл одиннадцать дней. Это было летом 1362 года.

III

А в следующем, 1363-м, ему приключилось ещё дважды посетить свою государственную столицу. Стало известно, что в городе на Клязьме Дмитрию Московскому назначает встречу новый ордынский посол и тоже... с ярлыком на великое княжение! Новость смущала и озадачивала, но в княжьем совете решилось: надо ехать. Ехали, как и в прошлый раз, всей княжеской троицей, мал мала меньше.

Дело выходило несколько запутанное. В Орде с прошлого года не существовало более единой власти. Хан Амурат, который решил русский спор в пользу Москвы, продолжал сидеть в Сарае, но ему принадлежал

лишь так называемый «луговой берег» Волги — земли к востоку от нее: заяицкие степи, Мангышлак, Приаралье... Пространства же на запад от Волги — «нагорная сторона» — именовались ныне Мамаевой Ордой, по имени того самого темника Мамаю, о котором мальчик Дмитрий должен был слышать во время своей поездки в Улус Джучи.

Мамай действительно недолго оставался в тени сарайской свары. Не подчинившись власти Амурата, пришельца из Синей Орды, он своею волей произвёл в ханы подвернувшегося под руку принца крови — чингисхановича Авдулу — и теперь от его имени управлял громадным степным краем, простиравшимся от Волги до Крыма включительно, от верховьев Воронежа до предгорий Кавказа. Он-то — в пику Амурату — и снарядил во Владимир посла с великим ярлыком московскому Дмитрию.

В Москве рассудили, что отказываться вроде неприлично да и недальновидно. Конечно, Амурат, когда дотечёт до него слух о принятии московским князем второго, Мамаева, ярлыка, не порадует. Но времена теперь всё же не те, чтоб русскому человеку молиться на всяк столб. Нынче Амурат в Сарае, а завтра кто его знает... Мамай же со своим Авдулой к Москве поближе, с этими и держаться надо поопасливей. Случись что, Мамай, пожалуй, и союзником выступит против Амурата. Если платить дань, то уж ему, а не Амурату, только ещё поглядеть сперва надо, какую дань-то. Спешить нечего.

Так вспоминалась наука Калиты: по видимости поддаваясь хитрой восточной игре, нужно и свою славянскую хитрецу держать в уме. Наша-то хитрость в рогоже, да при глупой рожке, а ничего тоже...

Но пока во Владимире принимали и этот второй, вроде бы уже излишний ярлык, в Сарай торопились люди с ябедой от Дмитрия-Фомы. Амурат, как и ожидалось, рассердился, причём настолько, что тут же отменил своё годичной давности решение и вернул среднему Константиновичу право на великий стол.

Можно было Москве и такой оборот предвидеть, не ждали только, что суздальский князь так скоро позабудет о своём посрамлении и обещании сидеть в Суздале безвылазно.

Но, как лишь объявился он вторично в вожденной столице, из Москвы снова двинулись по Владимирской дороге тяжкие рады конников. Однако на сей раз уже по-настоящему ведомых своим двенадцатилетним великим князем, благо и путь хоженный, и повадки противника наперёд известны.

Всего годок минул, но теперь и волнение с лица отрока схлынуло, и румянец какой-то недетской обиды горит на щеках; в глазах же первый

проблеск властной уверенности; повод в руке прочно натянут. Летописец так выразил этот его возраст: хотя и лет-де князю мало, «разумом же и бодростью всех старея сый». (Ну, может, и не «всех», тут преувеличение, но кое с кем из великовозрастных в разумности уже соревновался, точно!)

Провластвовав во Владимире на сей раз всего двенадцать дней, Дмитрий-Фома опять догадался не ждать прихода московской силы и опять «бежа в Суздаль». Но сейчас с ним обошлись много строже. Великокняжеские полки взяли Суздаль в осаду, часть войск была пущена зорить окрестные княжьи и боярские волости. Таков был военный закон того времени, почти не знавший исключений. Не от тех ли горестных годин пословица осталась: «Князья сцепились, у холопов чубы трещат»?

Осада всё длилась, хотя и вялая, выжидательная. По тем же обычаям междоусобной брани поджечь свой, русский город считалось делом распоследним, к тому могли вынудить только самые крайние обстоятельства. И так нанюхались, наглотались пожарного дыма, особенно за последние сто лет.

Тем часом к Дмитрию Московскому подоспел человек из Нижнего Новгорода, от Андрея Константиновича. Тот слёзно молил за брата своего неразумного, за Суздальскую землю, ни в чём не повинную. А тут и городские ворота закрипели, выпуская дебелих бояр, которые засеменили к великокняжескому шатру: суздальский князь просит мира, отказывается от Амуратовой подачи, во всём отдаёт себя на волю Дмитрия Ивановича.

Помня предыдущий урок, московское правительство посчитало, что будет неосмотрительностью с его стороны, если Дмитрий-Фома и впредь останется при своём уделе, в опасной близости от первопрестольного города. Поэтому ему было велено выехать в Нижний и находиться пока там — под опекой старшего брата.

Теми же днями великокняжеский совет отрядил особую рать в Ростов. Неприятное, но неотложное поручение: уловить тамошнего князя Константина Васильевича. Ростов, как и всё Ростовское княжество, давно уже был по воле Москвы поделён надвое. Одной частью сейчас правил князь Андрей Фёдорович, на помощь которому шла рать, а другою — этот самый Константин Васильевич, родич московского великого князя (напомню ещё раз: женатый на дочери Ивана Калиты Марии) и до последнего часа союзник Дмитрия-Фомы.

Всё никак не мог смириться Константин Васильевич, что не ему одному Ростов принадлежит. Сколько раз обивал сарайские пороги, выпрашивая ярлык на вторую часть. В последний приезд, год назад, до того засиделся в Орде, что угодил в самый разгар «замятии», и на обратном

пути какая-то татарская вольница ограбила его дочиста, даже нательное бельё содрали с князя. Иной бы и угомонился после такого сраму.

Подоспев в Ростов, московские люди взяли Константина Васильевича. Хотя и стыдно было так-то круто обойтись с дядей своим, пусть и не кровным, Дмитрий внял совету бояр, хорошо знавших норы ростовского строптивца, и дал согласие на то, чтобы выслали его в Устюг.

Будто было что-то в самом воздухе тех дней вещающее о близости перемен, о назревании великих новин — тревожных или радостных? Люди чаще вопросительно оглядывали небо, боясь пропустить начертанные на нём предвестия, но ещё более боясь, когда предвестия эти являлись. В последнее лето воздушные знамения навещали русский небосклон особенно часто. То в зимнюю стужу вдруг кровавые облака вспыхивали наверху и накатывали, накатывали огненным потоком — с востока на запад... А то как-то в осенины, под вечер, месяц в небе погиб, а остался только кроваво-мутный месячный круг... А то в послеобеденное время затмилось солнце чёрным щитом и окружил его червонный обод.

Частым небесным беспокойствам сопутствовали земные, незримые и зримые. В 1363 году, тем же летом, когда Дмитрия-Фому из Суздаля выгнали, по всем княжествам виделось, и летописцы в разных городах записали про очередное знамение: «В солнце черно, акы гвозди, а мгла велика стояла со два месяца». Где-то горели лесные дебри, тлели мшанные болота, среди дня не истаивали горькие туманы. Высохли ручьи в оврагах, ушла вода из малых озёр и прудов, донный ил закоробился и зазмеился трещинами; окаменелая земля звучала под ногой сухо, как старая кость. Птицы на лету сталкивались в чадной мгле и падали замертво. Не звезда ли Полярная, звезда апокалипсическая, пронеслась над миром, осыпала всё живое горьким пеплом?

Пастыри в проповедях преследовали языческое суеверие: по небу, по птицам грех гадать, пути Господни неисповедимы, сам Спаситель обличал фарисеев, ищущих знамений небесных, гадающих по знакам и приметам. Но те же пастыри наставляли: надо быть настороже, враг человеческий всегда близок, что ни день, множатся людские грехи, не оттого ли и лик небес ужасается...

Беда вскоре вышла из-под спуда: вспыхнули новые моры в русских городах. Началось с Нижнего Новгорода (наверняка ведь с торговых рядов, от низовских купцов). В то же лето поветрие перекинулось на берег Плещеева озера. В самом Переславле и по уезду умирало каждый день от семидесяти до ста пятидесяти человек. Болезнь обнаруживала себя по-разному. У одних вспухала на теле железа: у кого на шее, у кого под

лопаткою или на бедре. У иных же тело чисто, но вдруг будто рогатиною ударит под грудь, против сердца, либо между лопаток, и вскоре бросит человека в жар, в кровавый кашель, выступит пот, напоследок ознобом охватит, крупной дрожью, и так продлится день, другой, редко кто доживёт до третьего.

Перекрыли московскую дорогу на Переславль. Но уже из Рязани слышно о чёрной болезни, из Твери, из Владимира, из ближайших Можайска и Волоколамска.

«Увы, увы! — восклицал очевидец, трепеща в ожидании, — кто возможет таковую сказати страшную и умиленную повесть?.. И бысть скорбь велия по всей земли, и опусте вся земля, и порасте лесом, и быша потом пустыни непроходимыя».

IV

Повезло ещё Ивашке, Дмитриеву младшему брату: помер он скороспешно, в детском безвинном возрасте, мать над ним стонала, а не он над нею сердчишко надрывал. Случилось это в осенины 1364 года, на исходе октября, а спустя два месяца, 27 декабря, не стало и великой княгини Александры.

Нет горшего горя, чем увидеть родную мать бездыханной, целовать её в ледяные уста! Лучше самому прежде помереть, да подальше, на чужбине, чтоб не узрела она и не прознала, но всё бы верила: жива её кровушка. А мать свою схоронить — нет горшего горя, ибо в гроб полагается источник нашего живота, родник жизни пригнетается могильным камнем.

Вот и нет уже семьи у отрока московского — при самом начале пути. Единокровная тётка Мария, вместе с мужем опальным, ростовским Константином Васильевичем, в един почти час от той же лихой болезни померла, оставив сиротами двух сыновей, двоюродных братьев Дмитрия. Что ж, родичей-то у него и теперь немало, если оглядеться и сосчитать всех. Только вот самых ближних — никого, кроме сестры Любви, но она далеко, в Литве.

Смерть иногда казалась всесильной. Но, отнимая живых от живых, она невольно спланивала тесней круг оставшихся. И вот с годами стало приносить свои благие плоды раннее сиротство того же Дмитрия, того же брата его Владимира, десятков, даже множества сотен подростков его поколения. Неутолённая жажда кровного родства, тоска по семье изливались в страстное желание обрести новые узы, выйти на простор

какого-то неизведанного ещё понимания родства — не по плоти, но по духу. Тысячи русских семей гибли вокруг насильственным образом — не от огня и меча, так от моровых смерчей, и человеческая душа, не в силах более смиряться с таким уроном, чуяла в себе потребность уродняться с первым встречным незнакомцем, таким же сиротой. Неизвестно, когда оно сложилось, может, и позднее, но есть предание, и по сей день оно живо, будто именно при Дмитриии — чуть ли не он сам поощрил и узаконил — впервые подросток, встречая незнакомых мужчину или женщину в возрасте, начал обращаться к ним как к «дяде» или «тёте». Ближний, друг, брат, сестра, отец, мать — слова наполнились новым значением, волнующе широким, но и обязывающим.

Так начиналось, так будет. Но пока ещё у нас на череду — повесть о раздорах, о позорном злопыхательстве брата на брата.

Пора сказать и о младшем из Константиновичей, князе Борисе. Впервые внимание русских летописцев он обратил на себя в 1365 году. Незадолго до этого принял монашество и преставился в годину мора Андрей Константинович Нижегородский. Дмитрий-Фома, которому по милости Москвы к тому времени вновь разрешено было княжить в Суздале, со всей семьёй засобирался было в Нижний — занимать переходящий под его руку родительский стол. Повёл он с собой и суздальского епископа Алексея. Но Борис, сидевший на своём уделе в Городце, всего в сорока верстах от Нижнего вверх по течению Волги, считал, что Нижний и Городец — одна земля и править ею должен один хозяин. И, конечно, он быстрее поспел к опустевшему столу. Уговоры и устыжения прибывшего Дмитрия нисколько не подействовали на князь-Бориса. Он уже окопался в Нижнем, в буквальном смысле слова окопал крепость новым рвом и приказал возить камень для крепостных стен. Этот младший Константинович, в отличие от старшего брата-мироотворца и среднего, весьма теперь поколебленного в своём самомнении, оказался нрава открыто разбойного, с особо чутким нюхом на то, что плохо лежит. К тому же как раз намеренно ему доставили из Сарая ярлык на нижегородские владения, с завидной расторопностью выхлопотанный у какого-то самоновейшего, только что проклюнувшегося хана, не то Азиза, не то Осиса.

Правда, хан этот, как вскоре выяснилось, Дмитрия-Фому тоже не оставил в обиде, а ещё щедрей отличил, вручив ему ярлык... на всё то же великое княжение Владимирское.

Нет, на сей раз Дмитрий Константинович не очень-то возрадовался. Кажется, довольно сраму на его сорокалетнюю голову: дважды лишившись

великого престола, он не имел более отваги рисковать, понимая, что на Руси ныне его и подавно никто не поддержит, а ханская поддержка стала вовсе не в цене.

И тут, не без трудов преодолев смущение и понятную неловкость, он обратился за помощью к Москве: передал с гонцом, что от ханской милости отказывается в пользу Дмитрия Ивановича, но просит рассудить его с младшим братом, бессовестно захватившим Нижний.

Благоразумие недавнего противника произвело на московского князя, на людей его совета должное впечатление: всегда любо зреть, что ещё одна душа обернулась на доброе. Постановлено было уважить его просьбу о помощи. Митрополит Алексей снаряжает в Нижний Новгород посольство: двух сановитых церковных иерархов — архимандрита Павла и игумена Герасима. Им поручено воздействовать на князь-Бориса пастырским словом, а буде заупрямится, прибегнуть к власти суздальского епископа, пребывающего в Нижнем.

То ли этот епископ состоял в сговоре с Борисом, то ли князь был уже несколько невменяем, но угроза митрополичьего осуждения не подействовала.

Тогда Москва отправляет в Нижний Новгород ещё одного своего посла, Сергия, игумена малочисленной Троицкой обители, расположенной в лесу, в нескольких верстах от волостного Радонежа и примерно на полпути между столицей княжества и Переславлем. Выбор правительства не случаен. Дело не только в том, что Сергей — личный друг митрополита. Известность его несколько иного рода. Она не ограничивается каким-то избранным кругом лиц. Она никогда и никем не распространялась намеренно. Наоборот, сам Сергей вот уже несколько десятков лет всё, казалось бы, делает для того, чтобы жить как можно незаметней, подальше от людских перепутей. Но молва — не досужая, суетливая, а отцеженная сквозь мелкое ситечко народной тугодумной приглядки — такая молва о нём разбрелась уже в пол-Руси.

За тёмными лесами, на горе Маковец, выстроил себе келью человек праведной жизни, приходят к нему отовсюду, в одиночку и толпами, холопы и князи, бесправные и владыки, сироты и вдовы. Сам сирота от юной версты, с виду-то невзрак, худ, но в кости и в жилах крепок, робит сам в огороде, плотничает, водоносы деревянные носит, печёт хлебы и просфоры, а то и игрушки малым детям ладит. Обычай у него: куда б ни пошёл, хоть за сто вёрст, ни за что не сядет ни на коня, ни в тележку, но всё пешком. Стало быть, сожалеет и о бессловесной твари. Когда утешает, не поймёшь, чем и утешает, слов-то скажет совсем мало, но приползёшь к нему болен, а от

него будто на крылах, до того легко станет...

Сейчас, оставив за спиной монастырскую тропу, Сергей шёл по Владимирской дороге, как обычно, пешком, лёгкой своей стопой, так что в день без труда одолевал вёрст до полусотни, — с чрезвычайным наказом Москвы. Его выходили встречать, сопровождали от села к селу, принаравливаясь к стремительному шагу скорохода; ему жаловались, его засыпали вопросами, ему наказывали молиться — за упокой усопших, о здравии живых...

V

Но был ли способен самонадеянный и заносчивый Борис воспринять глаголы такого посла? Эко диво: появился бродячий монашек, да мало ли сейчас всяких бродяг-оборванцев шатается из княжества в княжество? А то подговорит какой смышлец двоих-троих себе подобных, и сбегут в лес — прятаться от податей, — а ты его изволь игуменом величать! Не могла, слышь, Москва снарядить кого повидней? Или совсем там нынче обедняли, что лапотника шлют, лыком подпоясанного?

Борис и для беседы-то не желал принять черноризца. Тот, слышно, надеется упротить его, чтоб шёл на Москву — для любовного разбора случившейся в доме Константиновичей свары. Пусть сам убирается, откуда появился! Да поживей, пока не навесили ему на руки, на ноги темничных вериг, эти-то потяжеле будут, чем монастырские.

Как-то утром подивила Бориса оцепенелая тишина, нависшая над городом. Почему в соборе и в иных храмах не звонят к обедне? А потому не звонят, доносят ему, что посол московский велел все церкви в городе затворить и не возобновлять обычной службы до особого на то распоряжения митрополита Алексея и великого князя Дмитрия Ивановича. Да как это он посмел в чужом княжестве хозяйничать! Когда и где слыхано на Руси, чтобы все до единой церкви в городе затворялись своей же властью! Такого и татарове не деют! Да так, говорят, и посмел, что попы наши послушались и храмов теперь не отворят, хоть пытай их, князь, калёным железом.

В глазах Бориса сверкала ярость, но в груди холодным, замораживающим комом оседала растерянность.

А тут ещё некстати от верных людей передают: Дмитрий-Фома собрал по своему суздальскому уделу великую рать, а московский Дмитрий снарядил ему в помощь великокняжеский полк; идут войска на Нижний. В

голове не укладывалось: два вчерашних врага, два Дмитрия соединились, и брат ведёт на него московскую и суздальскую рати!

С малым числом спутников Борис поскакал навстречу, выслав вперёд людей с упреждением: меньшой-де хочет покаяться и замириться. А что ещё ему оставалось? Ехал сейчас и видел: ну, какое войско смог бы он, если даже и захотел, собрать в этих лесах и болотах, почти необитаемых? Шутка ли, до самого Бережца-села, стоящего на левой стороне Оки, немного выше усть-Клязьмы, не встретили почти ни единой живой души!

Здесь, в Бережце, Борис и ждал со своими боярами. Насколько искренне повинился Борис, время покажет, но теперь-то всё выходило по-доброму: младший отказался от своих посягательств на Нижний Новгород, бес его на этом попутал да ханская лесть. А старший — он мог бы вести себя иначе, в полном был праве и вообще лишить Бориса собственного удела — оставил ему всё же Городец с волостями. Княжество богатое, город древний, обширный, валы стоят как горы...

Всегда-то бы так любововно кончались на Руси княжьи и всякие иные распри — с совестливой оглядкой на людей, на предание предков-миролюбивцев, на судьбу страстотерпцев Бориса и Глеба. Но довольно, довольно бы и самих распрей.

Во встрече на Бережце отчётливо просматривалась современниками умная, доводящая начатое до конца мысль Москвы, олицетворяемая сейчас действиями её посланца.

Известие об исходе ссоры в доме Константиновичей, а главное, о благополучной развязке московско-нижегородского противостояния, длившегося открыто без малого пять лет, облетело русские пределы. Несмотря на губительные моры, на ордынские и внутренние подстрекательства, были всё-таки, с каждым годом умножались поводы для радования и надежд...

Историки справедливо отмечают: самые подробные и обстоятельные свидетельства о временах «великой замятии» в Орде сохранились не в письменности завоевателей (от неё почти ничего не уцелело), не в хрониках и путевых заметках арабских и персидских авторов, а в русских летописях. Это и понятно: кому, как не нашим летописцам, приходилось в те тревожные годы с особым пристрастным вниманием следить за всеми переменами на ордынском троне?

Распадение Улуса Джучи на Заволжскую и Мамаеву Орды способствовало появлению целой сетки трещин, в разных направлениях пересекавших имперский монолит. Военные и торговые скрепы фантастического государства завоевателей и заимодавцев явно не

выдерживали.

Опытный наблюдатель мог бы заметить, что первые признаки увядания империи дали о себе знать уже несколько десятилетий назад, когда из числа покорённых земель стали потихоньку выбывать то Болгария (в 1300 году), то Иран (в 1336-м). Начиналось с окраин. Год 1354-й принёс известие о том, что в руках враждебного Орде Османского государства оказались Дарданеллы, и, следовательно, империя Чингисидов отрезана теперь от Средиземного моря, от союзного ей Египта. Через пять лет после этого Орду потеснили с берегов Дуная. Возникло самостоятельное Молдавское государство, вынудившее завоевателей отойти восточнее Днестра.

В 1361 году один из сарайских царевичей сбежал вверх по Волге в Булгарию, захватив попутно все ордынские приречные города, — с целью создать неподвластное Орде Булгарское царство. В том же году перестали чеканить монету с именами золотоордынских ханов в далёком Хорезме. Это означало, что хорезмская область также отделяется от джучидов. Вот-вот готова была отколоться от Сарая приволжская область, расположенная южной ордынской столицы.

В 1363 году великий князь литовский Ольгерд ходил с войском к реке Буг и там, у её притока, в урочище, именуемом Синими Водами, а позже и в устье Днепра разгромил «три орды монгольские» — объединённое войско заднепровских кочевников, находившихся в относительном подчинении у Мамаю. Ольгерд даже в Крым тогда проник, во «святая святых» Мамаевой Орды. А через год в том же Крыму генуэзцы напали на Судак и захватили его, доставив очередные хлопоты Авдуле и его темнику.

Закончился полной неудачей набег на Рязанское княжество ордынского военачальника Тагая. Он напал было на Рязань и даже пожёг её, но при отходе настигла Тагая рать рязанского князя Олега; вместе с ним в погоне участвовали князья Владимир Пронский и Тит Козельский. Возле Шишовского леса русские дружины вонзились в порядки ордынцев. Бой был лютой, погибло много с той и с другой стороны, первыми не выдержали воины Тагая и обратились вспять, покидав обозы с награбленным добром. Победа была у рязанцев, полная и первая со времён полусказочного уже Евпатия Коловрата!

Конечно, времена зыбкие, десять раз на дню всё ещё может перемениться, но всё-таки передышка от Орды, хоть и нечаянная, выходила явно. И недаром именно в те годы летописцы всё чаще стали говорить о делах строительства, созидания.

Так, в Новгороде Великом на серебро, скопленное в Софийском

соборе, мастера нарастили каменные стены детинца и отрыли вокруг крепости ров. И в пригороде новгородском, в Корелах, на ладожском берегу «посадник Яков поставил костер камен», то есть стрельницу новую — боевую башню.

И псковичи старались не отставать: сговорились с каменщиками о Новом Троицком соборе в Кромю.

И в Новгороде тогда же поставили каменную Троицу — на Редятиной улице, где обитала югорщина — купцы, промысловые и ратные люди, что осваивали дальнюю Югру. Накануне вернулся оттуда из удачливого похода вожак ватаги ушкуйников Алексей Обакунович — воин отчаянно-бесстрашный, непоседливый, с былинным замахом жизни. От югорских тундр даже за Урал забрели его ребята, поднялись вверх по Оби, воевали с разными сибирскими народцами, привезли мехов и «серебра закамского»: всяких блюд и тарелей с изображениями зверья и травными узорами.

На обратном пути не сдержал (или не хотел сдержать) Алексей Обакунович своих ретивцев, войско разделилось, полторы сотни ушкуев спустились по Волге до Нижнего Новгорода и там снова потрепали восточных купцов — хватит-де им совать нос в русские края!

Это очередное новгородское буйство пришлось разбирать уже Дмитрию Московскому и его думе. Он не был намерен поощрять самочинство, которое наверняка повлечёт за собой новые погромы в русских невольничьих посадах ордынских городов. Никакое действие против чужеземцев затеваться без его воли на Руси не будет. Добычу новгородцы вернут в великокняжескую казну, он сам ею распорядится; на случай же, если заупрямятся, на Двине пойман и доставлен в Москву заложником знатный новгородский боярин с сыном. А то нескладно: ушкуйникам — хмель, а всей Руси — похмелье.

Великокняжеской казной — с тех пор, как разгорелась «великая замятия», — распоряжались на Москве совсем необычно. Даже страшновато было об этом и вслух-то говорить: уже который раз дань в Орду не возили совсем, то есть ни единого рубля. Это как бы само нечаянно забылось. Да и кому возить-то? К темнику Мамаю либо к городу Сараю? «Царёв выход» по-прежнему собирался, но оседал он в Москве. Тут получалась, конечно, и хитрость по отношению к своим, так как многие ещё не ведали, что дань не платится. Но хитрость оправданная, наперёд оправдываемая.

Несколько лет безотцовщины не прошли для Дмитрия даром. Он видел — по действиям своего совета, по последствиям этих действий, — какие ощутимые плоды приносит решительность, согласуемая с трезвой

умеренностью, наконец, с милосердием к тем, кто от души повинился. Великому князю нельзя в своих действиях опираться только на закон, на правила, неукоснительно переходящие из рода в род. Одной рукой надо держать Право, другой же — Правду. Милосердную, потесняющую, когда надо, и закон.

У Дмитрия-Фомы, знали в Москве, подрастает дочь Евдокия. Да и великий князь московский и «всея Руси» близок был к возрасту, когда пора подумать о суженой, о продолжении рода. Того самого рода, который и в одной и в другой семье изводили от славного Большого Гнезда.

Глава четвёртая

Юность Москвы

I

Не в укор, не в поправку будет сказано, но ни у кого из наших знаменитых старых историков — ни у Карамзина, ни у Соловьёва с Ключевским — не найдём мы в главах, посвящённых Дмитрию Донскому, объяснения, почему великий князь московский повенчался с нижегородской княжной Евдокией не у себя дома, на Москве, и не у неё дома, в Нижнем Новгороде, а в достаточно удалённой от Москвы и от Нижнего Коломне. Само это сведение — в пересказе или в выдержке из летописи — приводят, но ни один не указывает на причину странного, не в обычаях тех времён, поступка: устроить свадьбу далеко в стороне от собственного стола.

Итак, в разновременных летописях встречается одно и то же, предельно краткое, почти дословно повторяющееся упоминание: «Тое же зимы (1366 года), месяца Генваря в 18 день, женился князь велики Дмитрей Иванович у великого князя у Дмитрея Константиновича у Суздальского и у Новгорода Нижнего, поя дщерь его Евдокею, а свадьба бысть на Коломне».

Ясно, конечно, что союз этот, как и большинство тогдашних междукняжеских браков, заключался не без учёта политических соображений. Обстоятельства переменчивы: сегодня между недавними противниками мир, а завтра — кто знает, какая ещё кошка вздумает дорогу перебежать. Свадьба же миру не помеха, но, напротив, лишняя скрепа.

Установление лада в отношениях князей-соседей вовсе, однако, не было поводом для того, чтобы каждому из них тут же размякнуть душой, подобно воску на солнце, и позабыть о своём самодостоинстве. Не потому ли и не повёз Дмитрий Константинович дочь свою прямёхонько в Москву? Пусть тёзка московский и отнял у него великий стол, но не по чину нынешнему, так по весу прожитых годов он куда тяжелее своего будущего зятя... И юный жених вполне мог сейчас думать сходную думу: ему ли, первому князю всей Руси, ехать на женитьбу в Нижний? Это ведь и впрямь будет выглядеть великим унижением... Вот и сговорились оба —

предположим мы — выбрать местом свадьбы ни к чему не обязывающую Коломну. Так и дальше будет у тестя с зятем: по случаю крестин третьего сына Дмитрия и Евдокии, Юрия, снова встретятся в месте, условно говоря, пограничном; Дмитрий Константинович, как и московская сторона, прибудет в Переславль, к Плещееву озеру...

Но можно и иначе истолковать выбор Коломны. Она ведь по значимости своей числилась вторым после столицы городом во всём Московском княжестве, а кроме того, это был первый его, Дмитрия, город, так как — напомним — именно Коломну московские князья обычно завещали в удел старшим сыновьям, и Дмитрий ещё в малолетстве, при княжении родительском, знал твёрдо: Коломна — его добро, его особая забота на целую жизнь, сколько бы ещё ни народилось у него братьев и как бы мелко ни пришлось делить им в будущем отчую землю. Когда-то, лет уже шестьдесят тому, прадед Данила Александрович отбил Коломну у рязанцев, столкнул их с московского берега Оки. Справить теперь свадьбу в Коломне — значило лишний раз подчеркнуть исключительную значимость для Москвы этого порубежного с рязанской землёй города. Дмитрий тем самым как бы лишний раз доказывал Рязани свою силу, а то южная эта соседка опять стала задираться и дерзить при нынешнем её князе Олеге. Побил Олег Тагая — и молодец; но свои-то старые раздоры что вспоминать? Прадед сжал ладонь, и правнук разжимать её не собирается, блюдя родовое: «Что в руку взято, то навсегда». Пусть же и до рязанских ушей долетят с коломенского холма праздничный благовест и венчальная песнь.

И вот в разукрашенных санных поездах, укутавшись в жаркие, заиндевелые снаружи меха, в щекочущих струях ветра, под пение полозьев поспешали издалека, навстречу друг другу молодые, неслись по твёрдо-пушистым ломам двух рек, уже прочно замёрзших: она — вверх по Оке, он — вниз по Москве-реке, летели в отроческом волнующем предощущении любви — к тому месту, где реки эти обнимутся и сольются в таинственной тени зимнего покрова.

Но было ещё одно обстоятельство, им-то, пожалуй, надёжнее всего объяснить выбор Коломны.

Дело в том, что свадьба просто никак не могла состояться в Москве, потому что Москвы на эту пору вообще... не существовало. И не в каком-нибудь иносказательном смысле слова, но в самом прямом, неумолимом и суровом.

Это случилось ещё летом 1365 года; в те дни было в Москве, по летописи, «варно», то есть жарко очень, стояли «засуха велика и зной».

Небольшой, сплошь почти деревянный город, давно не кроплённый дождями, оцепенело приумолк, только изредка, неслышно человеческому уху, пискнет новая щель вдоль усыхающего срубного бревна да сухо просыплются из лопнувшего стручка твёрдые горошины. Крыши, заборы, листва, ботва огородная и придорожная гусиная травка — всё покрыто пыльным налётом, обесцветилось; душно и в тени изб, душно и в самих избах, лишь под утро чуть остывают крыши, но тут снова впиваются в них косые лучи; на дубовых, много раз латанных стенах старенького Кромника рассохлась и поотвалилась местами глиняная обмазка, а с нею и известковая побелка; река обмелела, еле течёт, а по вечерам не клубится мягкими туманами; немногочисленные колодцы вычерпаны почти до дна; кое-где бока срубов слезятся проступившей наружу хвойной смолой, и она засахаривается вскоре на жару; псы во дворах примолкли, лежат в тени с вываленными языками; небо — и не смотреть бы на него — белесо-пустое, будто с него тоже давно не смывали налёт пыли, и ветерок не налетит ниоткуда, а и налетел бы, так перенёс с места на место ту же пыль московскую, хрустящую на зубах песком.

В ближних к городу борах ржавый хвойный настил сухо трещит под ногами, душно тут, как на чердаке.

Так и не признали, отчего беда пришла на этот раз: от детской шалости, от вражьего ли поджога? Многие потом свидетельствовали, что первой вспыхнула деревянная церковь на посаде. Будто дожидаясь условленного знака, невесть откуда прыгнула на город ветряная буря.

Всё длилось не более каких-нибудь двух часов. Сначала огненная лава пронеслась по посаду: люди бросались к одному, другому двору, но сорванные вихрем с крыш головни и целые горящие брёвна летели по воздуху через десять дворов. Нечего было и думать о спасении домашнего скарба. Огонь уже лизал крепостные бревна у подножия кремлёвского холма. Кажется, мига не прошло, как весь холм поднялся на воздух сияющим столбом, — и где они, красные княжьи терема, льдистые грани четырёх каменных церквей, святые надгробия в прохладной полумгле, слава и слёзы, и пот, и труд, — где?.. Головни с шипом посыпались с неба на воды Неглинки, Москвы-реки. Чёрными охапками дыма всклубилось Занеглименье, и над недавно отстроенным Заречьем нависла темень. Люди валили толпами к воде, потом просачивались, жмясь к береговой кромке, кто — вверх, за Черторый, кто — вниз, к Яузе. Город у них за спиной выл и гудел огненным нутром, пожирая всё подряд — сундуки с шубами и понёвами, нитки жемчуга и деревянную щербатую посуду, книги с алыми и чёрными буквами, обезумевших свиней в клетях, деревья и груды мусора

на задворках, траву, паутину — всё.

...На новой бумаге, сшитой в новую тетрадь, свидетель немного позже записал: «Весь город без остатка погоре. Такова же пожара пред того не бывало...»

В голосе летописца, как и обычно при освещении подобных событий, — ни скорби, ни отчаяния. Случившееся воспринято как неминуемая данность, которую ни обойти, ни объехать, а можно её только сопоставить, сравнить по размеру с другими, сходными. Не бывало ещё на Москве пожара подобного... И всё.

Но это не равнодушие усталого созерцателя земных сует. За безжалостными словами угадывается твёрдая вера в то, что город поднимется из золы и чада. Потому что ему-то, летописцу, известно, что так или почти так уже бывало много раз — и с самой Москвой, и с иными русскими городами. И не только бывало, но, пожалуй, и наперёд ещё будет, и не раз, и в не менее страшном обличье придёт беда, но это никак не причина для того, чтобы остолбенеть от предчувствий и перестать строить.

Ну а вчерашние погорельцы — чёрный посадский ремесленный люд, купцы, дружина, женщины, — была ли у них у всех сила духа такая, чтобы глянуть вперёд с мрачно-торжественной прозорливостью летописца? Отчаявшимся, бездомным, не казалось ли им сейчас безобразное пепелище местом проклятым? То самое, что летописца обнадёживало: горели, мол, горели, но всякий раз отстраивались заново, — их, наоборот, могло ещё более отвратить от желания возвращаться сюда, к остовам своих жилищ. Столько-то раз гореть! — да не знак ли это, что нужно, не оглядываясь, навсегда бежать отсюда, расточиться по укромным деревенькам, по лесным пустыням, или уж, на крайний случай, если князь и совет его повелят, то строиться где-либо ещё, да подальше отсюда, на чистом, не знавшем злого сглазу месте.

А что сам отрок-князь думал?.. Огонь, бесчинствующий, неукротимый, был одним из первых впечатлений его детства. Ещё четырёх лет не исполнилось Дмитрию, как на глазах его запылали дубовые срубы дедова Кромника. Дитя на пожаре. Как бы ни было ему страшно, оно смотрит на пожар зачарованно, во все глаза, почти с улыбкою любования, как на какую-то священную, только ребёнку понятную, освобождающую игру природы, подобную языческому обряду жертвоприношения. Только по дрожи материнского тела, по алым слезам, стоящим в глазах отца, по женским диким воплям в толпе мог он отчасти догадываться об ужасном смысле происходящего... По крайней мере, горький и острый, несмываемый какой-то запах пожарища не мог не остаться в нём саднящим

отпечатком на всю жизнь. Запахи детства по-особому запечатлеваются, чтобы потом преследовать, томить без спросу.

Так что же думал он теперь, после новой беды? И здесь вот, в порядке, так сказать, допущения, оглянемся ещё раз на ту же Коломну. Да, Коломна — его, Дмитрия, первый город, Коломна — второй город в целом Московском княжестве, и по назначению ключевому у слияния Москвы-реки и Оки, и по богатству, и по нагорной красоте местоположения. И даже храм каменный, пусть и единственный пока, стоит на москворецком склоне коломенского укрепленного города. Так почему бы, право, этому привольному месту, овеванному дыханием двух больших рек, с его красивым славянским именем (*коло* — круг, кольцо, солнце) не стать новой Дмитриевой столицей? Не бывало ли так на Руси? Ей, бывало! И Киев остарел. И слава Владимира померкла. И не вышел ли ныне срок Москвы? Не пришёл ли ей черёд отойти в тень нового града? Ко-ло-мна... Может быть, именно потому назначил он тут свою свадьбу?

Венчались — так местное предание гласит — в каменной Воскресенской церкви, дожившей, в сильно перестроенном, правда, виде, до XXI столетия.

Есть и ещё предание, связанное с той свадьбой. Академик С. Б. Веселовский называет его «басней», но если и басня, то древняя и уже потому ценная — в летописи вошла. Предание это бросает свет на взаимоотношения московского великокняжеского дома с семейством Вельяминовых. С его помощью «вельяминовский клубок» разматывается вдруг чуть не полностью. Уже потому только летописный сюжет следует пересказать здесь подробнее, тем более что речь также зайдёт о свадьбе.

8 февраля 1433 года, через 67 лет после коломенской свадьбы, женится в Москве внук Дмитрия Ивановича Донского, великий князь Василий Васильевич, будущий Тёмный. Женится он при обстоятельствах, с которых начинается страшный, поистине трагический разлад в Русском государстве, приведший к губительному для всей страны междоусобию, к плачевным последствиям и для самого великого князя, — он будет несколько раз изгоняем из Москвы, наконец, ослеплён в стенах Троицкого монастыря. Но по порядку.

На свадьбе Василия Васильевича в числе приглашённых находится его двоюродный брат Василий Юрьевич. В разгар празднества один из именитых гостей объявляет вслух, что золотой пояс «на чепех с камением», который надел на себя Василий Юрьевич, ему не принадлежит, что этот пояс был когда-то подарен на свадьбе в Коломне князем Дмитрием Константиновичем своему зятю Дмитрию Ивановичу, но что тысяцкий

Василий Вельяминов пояс во время той свадьбы мошеннически подменил.

Сообщение невероятное, такая давность, и вдруг обнаруживается, и в совершенно неподходящий час! Можно вообразить предгрозовую тишину, оцепенившую свадебное застолье.

Но обвинитель продолжает: Дмитрий Константинович Суздальский и Нижегородский подарил зятю драгоценный пояс. Многие знают, а иные и помнят, как это было. Но никто почти не знает, что тогда же, на свадьбе, Вельяминов, пользуясь родственной близостью к новобрачным и тем, что подарок не надевался, а почти тут же должен был попасть в великокняжескую скарбницу, совершил подлый обман, подыскав в своих ларях пояс подобный, но поплоче. Уворованную вещь Вельяминов дарит позднее своему сыну Микуле, женившемуся на другой дочери Дмитрия Константиновича. Через время Микула, зная или не зная про подлог, отдаёт пояс в приданое своему зятю, а тот, в свою очередь, также зятю, а по смерти его, выдавая дочь вторично, новому зятю, Василию Юрьевичу, который его сейчас на себя и нацепил. Вот по скольким свадьбам погуляла пропажа неузнанной, пока не обнаружилась!

Выслушав запутанное, но вполне правдоподобное объяснение, великая княгиня Софья, мать Василия Васильевича, вспылила и сорвала пояс с племянника (по праву он ведь должен принадлежать её сыну!). Племянники — тут был ещё и Дмитрий Юрьевич Шемяка — вспылили ответно, покинули свадьбу и тут же выехали из Москвы в Галич, к отцу. Разрыв был неминуем, не знал лишь никто ужасающих размеров его последствий.

Свадебное разоблачение давнишнего мошенничества С. Б. Веселовский считает «басней» на том основании, что тут была чья-то явная интрига: поскандальней рассорить родственников, между которыми уже имелись некоторые трения. Но если «басня» и была полностью вымышленная, если никакой подмены поясов Василий Вельяминов в 1366 году не производил, то последствия злосчастного вымысла оказались разрушительными для русской действительности XV века. По крайней мере, Василий Васильевич Тёмный, злодейски ослеплённый своими противниками, вряд ли мог поминать Вельяминова и весь род его добрым словом. Вряд ли приятно было помнить, что Вельяминов как-никак приходился родным дядей Дмитрию Ивановичу Донскому. Не здесь ли причина умышленной забывчивости летописцев относительно отчества матери Дмитрия, великой княгини Александры? Неприятно было помнить, что она — Васильевна, вельяминовского роду. Как-никак прабабушка.

Но не одна только «басня» о золотом поясе повредила Вельяминовым

во мнении потомства. Десять лет спустя после свадьбы в Коломне «вельяминовский клубок» разматывается до конца.

II

Было ли всё же на уме у Дмитрия после пожара 1365 года перенести столицу своего Московского княжества в Коломну? Предположение вполне допустимое, хотя, пожалуй, и чересчур мечтательное, даже с поправкой на юный возраст князя.

Ведь совершенно очевидно, что, если и пришла тогда в голову ему или кому-нибудь из наименее трезвенных мужей его совета мечта о Коломне-столице, большинство должно было тут же признать эту мысль никуда не годной. Никто не отнимает у Коломны её значения, но она хороша именно как второй город, как крепкий щит московский на порубежной Оке. А сделай её первой, тут же оскорбится Рязань, озлобится Орда. Это на юге. А как поведут себя соседи на севере, на западе? Пожалуй, и порадуются. Та же Литва, к примеру. Опустеет Москва, откуда же ждать скорой помощи Можайску, Рузе, Звенигороду, Волоколамску с Дмитровом? Княжество наше как живое круглое тело. Москву из середины вынь — оборвутся все жилы животные, все бесчисленные связи и связочки, захиреют без привычной и близкой управы окружные города, старые людные сёла, слободы, деревни и погосты, починки и выселки, разомкнутся все трепетные узелочки, многими бережными руками в разные времена связанные. Но даже и не это, не это даже главное, а то, что Москва в стольких уже поколениях княжеская и великокняжеская. Пусть в ней ныне ни единого двора нету целого, пусть. Но она — не только лишь дерево и камень, не только богатые закрома. Она перво-наперво — *слово*, и слово особое, давно уже у Руси на примете. Да обойдётся ли теперь Русь, и не одна она, без этого слова? А слово цело, так подыщется для него и новая плоть. Не раз уже Москва от головешек зачиналась, замешивала жизнь свою на углищах и пепле. Она не из пугливых и слезам, как известно, не верит. Ей огонь — только для вящего закала. Она лишь молодеет, сквозь огонь пройдя... Словом, тут и доказывать нечего. Строиться надо, строиться!

Строиться Москва начала в том же пожарном году. И сразу повеселело на душе у москвичей — от праздничного вида бело-розовых, бело-голубых и воскового цвета плит известняка, от звона молотков и тесал, от тарарама многочисленных повозок. Город проклёвывался там и сям всходами срубов,

лез вверх из удобренной золою почвы, как крутобокий, не уместаемый в земле овощ.

Но тут встала перед горожанами, перед властью московской задача, решить которую было куда сложнее, чем понастроить жилья, амбаров, клетушек, лавок, банек и прочего, но которую решать надо было, ни на сколько не откладывая, если хотели, чтобы всё это понастроенное имело хоть какой-то смысл.

Как быть с Кромником Калиты, вернее, жалкими его нынешними остатками? После смерти Ивана Даниловича сооружённые при нём дубовые укрепления горели, включая и последний раз, трижды. В прежние разы стены кое-как возобновлялись: наращивали там и тут новую деревянную одежду, пространство между наружными и внутренними стенами срубов забутовывали булыжником и землёй, поверхность брёвен обмазывали, как положено, глиной — охрана от скорого возгорания.

Ну а теперь что? Срубы почти все истлели, забутовка вывалилась наружу, как чрево из падшего коня. Вместо ладных и мощных когда-то укреплений — безобразные груды мусора. Можно, конечно, сделать видимость, кое-как пообровняв эти груды, залатав их деревом, а его покропив раствором извести, чтобы, когда обсохнет, отразилась в Москве-реке и Неглинке белая, якобы каменная крепость.

Нет, Дмитрию на месте нынешних осыпей упорно воображались не поддельная, а настоящая белокаменная сила и краса. В эту-то Москву не стыдно ему будет и суженую привезти.

На Севере давно уже ставят каменные крепости, и новгородцы, и псковичи. И не только в больших, но и в малых городках — в Изборске построена, в Острове, в Ладоге. Но то Север, у них особая жизнь, иное представление о богатстве, у них всяк второй мужик — каменщик, а камень-валун на каждом шагу под ногой, только свози к месту и громозди. Бывалые русские купцы и путешественники видели старые каменные замки-крепости в княжествах Червонной Руси — в Холме и Львове, в Луцке и Кременце, рассказывали о неприступных стенах и башнях Белгорода, что на Днестре.

А здесь, между Волгой и Окой, когда и кто строил крепости из камня? Недавний случай с Борисом в Нижнем Новгороде не шёл в счёт, там и известь-то замесить не успели, как затейник отбыл восвояси. Один лишь действительный пример могли припомнить московские белобородые старцы, и то не на их веку было, а ещё во времена доордынские — это когда прапрапрадед Дмитрия, великий князь Всеволод, поставил каменный детинец вокруг Успенского собора в своём Владимире. Так и дни-то стояли

совсем иные, благодатные для цветущего владимирского Ополя. И Всеволодов тот детинец — Дмитрий сам видел его остатки, когда ходил умирять будущего тестя, — совсем малёшенек. В Москве же, если строить каменный город, то никак нельзя, просто стыдно отступать от стен треугольного дедова Кромника. Границы же знатные: от угла до угла стрела не долетит.

Значит, опять уместно ему вспомнить: что взято, взято крепко. Давний ведь закон на московской земле: и умереть не мечтай, пока не добавишь пол-лепты к тому, что сделано доброго до тебя и для тебя. Отец Дмитрия почил, мало что успев; теперь, выходит, сыну надо за двоих постараться. Каменный Кромник, кремник, город-ремень, ах, как бы хорошо-то! И пожары тогда не страшны и не опасны осады. При осаде больше всего боялись примёта — это когда громадную хворостяную кучу подтащат, приметут к деревянной крепостной стене и запалят. И таранные брёвна, железом окованные, не так будут камню досаждают, как досаждают они дереву, и метательные ядра, которые теперь, говорят, не из пращей и самострелов, а из пушек мечут.

И всё же страшно-то как осрамиться! Сколько труда, сколько рук да денег надо, сколько камня наколоть да навозить! А дойдёт весть до Сарая, до Мамаевой Орды, как заверещат хановы наперсники: вот, мол, не берём с мальчишки серебра, вот на что он его тратит, против нас же огораживается. А сами не всполохнутся ордынцы, занятые теперь до самозабвения кровавой родовой грызнёй, так свои же русские соседушки побегут им докладывать, всё как надо разобъяснят. Тесть, конечно, не побежит. А сын его Василий Кирдяпа или брат Борис — ещё как знать. А тверичи? А рязанцы? А новгородские купчики? Это что же за диво такое: горит Москва — всей округе радость. Строится Москва — зубами скрипят. Так будем же строиться, строиться!..

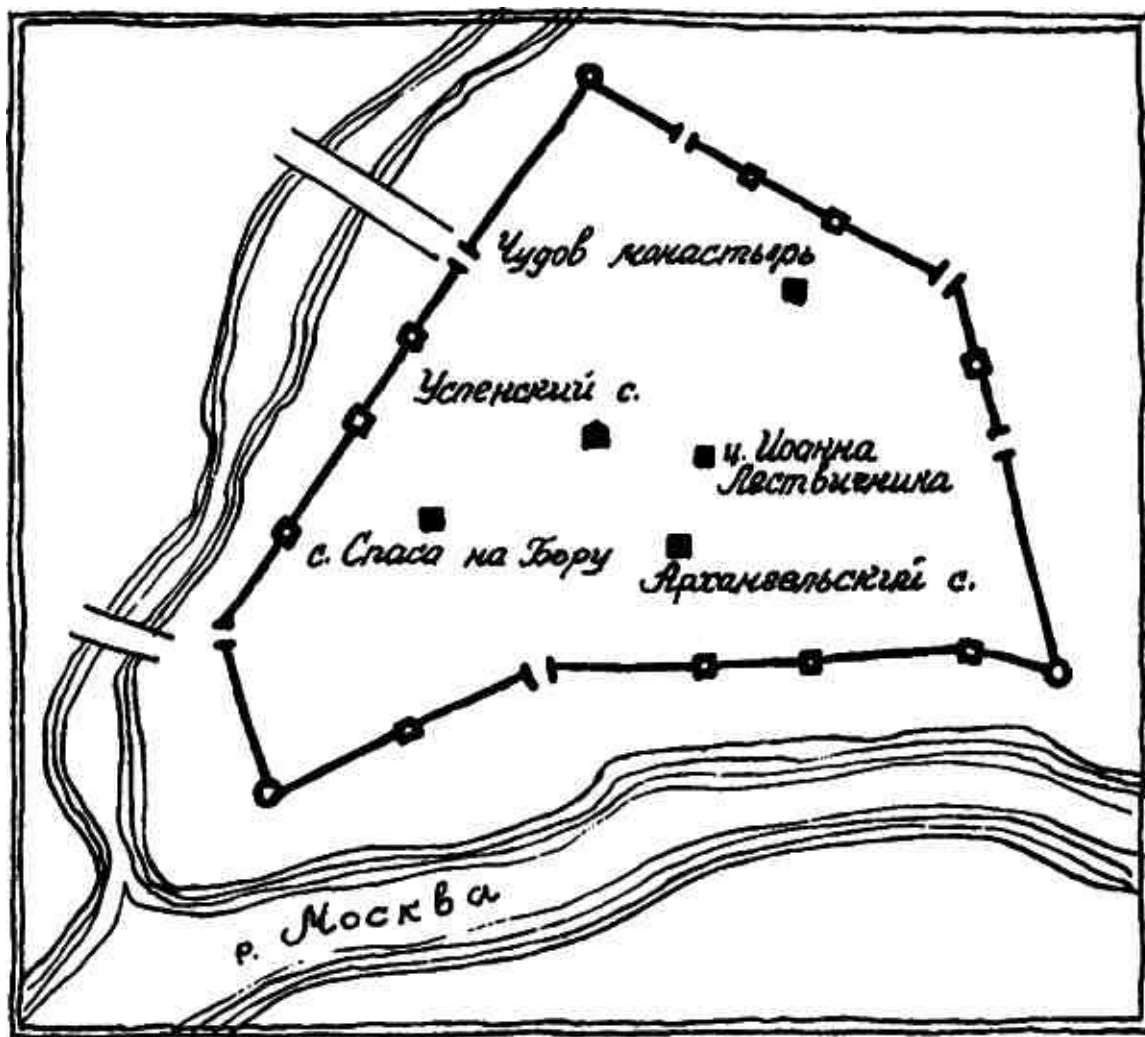
Что и говорить, хотелось и перед молодою женой себя показать. И власть свою беспреклонную, и раннее мужество. И невольно переплелись в одночасье свадебные торжества с решением ставить каменный город. И не зря в летописях оба эти события навсегда остались рядом, строка к строке: сообщение о женитьбе в Коломне и следующее впритык за ним известие: «Тое же зимы князь велики Дмитрей Ивановичь посоветова со князем Володимером Андреевичем и со всеми своими старейшими бояры ставити град Москву камен, да еже умыслиша, то и сотвориша: тое же убо зимы повезоша камень ко граду».

Каменоломни, откуда прибывали санные поезда, находились от города не так уж и близко — ниже по течению Москвы-реки, за сёлами Коломенским и Островом, за устьем Протвы, у сельца Мячково, по которому и прозывались они Мячковскими. По зимнику везти тяжкие плахи куда проще, чем доставлять их в летнее время по воде, против течения или береговыми сухопутками. Ледяная дорога — что за утеха для возниц: ни тебе оврагов, ни буераков, знай лишь подремывай. Зима для заготовки камня и потому ещё удобна, что рук, свободных от крестьянского труда, теперь намного больше и конной тяги тоже. Горожане, подмосковные мужики, наряды из отдалённых княжеских и боярских волостей, всевозможная смердь — тьма-тьмущая народу копошилась в снегах, в хрустком каменном крошewe; дышали жарко, шубейки побросав, кряхтели возле саней, опускали на сенцо многопудовые шершавые плахи; обоз вытягивался гибкой верстой — то вдоль закатной ленты, а то, при извиве русла, лицом прямо на убывающее пламя зари. Синева настигала с востока, звонче пели полозья на прибывающем морозце, резче между спящих берегов звучал лошажий всхрап. В воздушном омуте цедили лучи первые звёзды, а вскоре и всё небо уже полыхало вприжмур, и будто чей исполинский выдох делил его наискось, клубясь и индевея на излёте. В этом переливающимся печном мраке не страшно было ехать, снег словно светлел изнутри, проплывали обочь смутные пятна кустов; где-то совсем близко, перебегая от зарода к зароду, как свеча в чьей-то руке, сияла над сугробами любопытная звезда. Тявкали псы на горе в Коломенском. Ещё один и другой тягучий поворот русла, и уже доносилось до обозников тёмное шевеление отходящей ко сну Москвы, скрипы дверей, тёплый дух хлеба и коровьей жвачки.

Камень подвозили постоянно: в стужу, в метель и в оттепель. Поля начинали сбрасывать белые охабни с плеч, лёд на реке потемнел и заслюданял лужицами, а по горбатой, тёмно-рыжей от навоза дороге, как по надёжному мосту, всё влеклись и влеклись обозы...

«Огородники» — так тогда именовали мастеров крепостного строительства — были приглашены, по общему мнению современных учёных, с Русского Севера. Скорее всего, это были псковичи либо новгородцы. Там, на Севере, трудились потомственные огородники, из колена в колено передававшие устное зодческое предание: приёмы шлифовки и кладки камня; тайны прочности известковых растворов. Знали

они и на каком расстоянии друг от друга выгоднее всего ставить башни, и какую сторону камня лучше вынести «лицом», то есть на внешнюю поверхность стены; знали и как поведёт себя под страшной тяжестью та или иная почва. К примеру, если стена проходит в приречной низине, то тут не обойтись обычным каменным фундаментом, он быстро начнёт тонуть; тут сперва нужно вбить в дно рва прочные сваи, потом настелить на них деревянные лежа и лишь потом уже на эту постель укладывать каменное основание стены.



Московский Кремль при Дмитрии Донском

Так, кстати, поступили и при закладке береговой, на Москву-реку выходящей стены Кремля. По этой линии решено было поставить три стрельницы: две глухие по углам и одну, с проездными воротами к пристани, примерно посередине между ними. Та стрельница, что стала у подножия холма на западном углу Кремля, получила (возможно, сразу же) имя Свибловой в честь того самого, шепелявого Феде Свибла, теперь уже

молодого боярина Фёдора Андреевича, главы дома Акинфовичей. А поскольку дом его стоял как раз в этом углу крепости, то Свиблу и выпало по наряду отвечать за строительство ближайшей стрельницы и прилегающих к ней стен — поставлять сюда своих людей и оплачивать часть работ. Пока Свибл распоряжался в своём углу, на другом, тоже упирающемся в Москву-реку, верховодил его тезка и сверстник Фёдор Беклемиш, — там неподалеку от угловой стрельницы стоял боярский двор Беклемишевых. С этим семейством соседствовал окольный Тимофей Вельяминов, брат Вельяминова-тысяцкого (и также родной дядя Дмитрию по материнской линии). Башня, что строилась под его присмотром, получила имя Тимофеевской. От неё напольная стена круто сбегала вниз, к Беклемишевской стрельнице. Соседи ревниво поглядывали друг на друга: как дела у Свибла, у Беклемиша, у Фёдора Собаки (его башню Собакиной прозвали), у Тимофея Васильевича?

Кремль стали возводить не от какой-то одной башни, но одновременно по всем трём линиям, разделённым на боярские участки. Строились вперегонки, стремясь перещеголять ближних и дальних соседей не только в быстроте, но и в неповторимости внешнего образа каждой стрельницы.

Сверху, с боевых площадок, открывалась разворошённая, в пёстром мусоре Москва: кто жёг известь в печах, кто по шатким сходням брёл с носилками, кто занимался отёской камней. Наружная поверхность кладки должна быть ровной и гладкостью не уступать коже, чтоб и ладонью по ней приятно было провести. Зубила камнетёсов при такой дотошной работе часто тупятся, то и дело носят их в кузни, где наваривают и оправляют вышедший из строя инструмент. Звон металла о металл, ёкающие удары топоров, шипение мехов и извести, брань нарядчиков, скрип дощатых настилов, грохот булыжников и каменной мелочи, сваливаемых в «корзины» — пустоты между внешней и внутренней кладкой, озорная переключка артелей-соперниц, треск костров, взвизги пил, окрики кашеваров, клёпанье урочного била — схлестываются, насакивают друг на друга звуки, откалываются от новых стен. Кто-нибудь найдёт под ногой глиняный черепок неизвестно какой давности и туда же, в «корзину», кинет — для крепости, для связи. Так и Калита бы поступил. Треснул горшок — и то впрок. Твердеет — даже и в малости этой — огнеупорная глина московского характера.

А ещё видно сверху, как лодки с усиками волн под носами то и дело подчаливают к москворецкому пристанищу, гружённые брусками известняка, щебнем; от берега в больших кадках везут воду для раствора; бабы-портомойки полощут бельё на лавах, бегают в закрытых дворах дети,

ласточки без устали ткут над городом небесный плат...

Хорошо.

Хорошо, что не слышно ниоткуда о страшных поветриях, что не горят окрест леса и болота, что никто не клубит пыль по дороге, полоша народ вестью о новом нашествии, что не меркнет солнце посреди дня, а по ночам не мчит прямо к земле горящая в полнеба звезда.

Когда-то ещё выдастся Москве такой тихий промежуток! Тем паче надо поторапливаться, ещё и ещё тянуть в высоту стены, лепить зубцы на башнях, рыть колодцы в тайниках.

По напольной стороне поднялись, кроме угловых, целые три воротные стрельницы. А знали ведь, что каждые лишние ворота — вроде бы изъясн для крепости: при осаде именно сюда прикатит противник тараны, потому что ворота, хоть и окованные в железо, пробить легче, чем стену.

Но зато и преимущество было в трёх-то воротах: удобней устраивать вылазки сразу большим числом ратников. Да и внушающе мощно выглядела эта лобовая стена, это каменное чело Кремля, увенчанное тремя проездными прямоугольными башнями: Фроловской, Никольской и Тимофеевской. Каждую стрельницу прикрывал сверху деревянный шатер. Деревянные навесы тянулись и над зубцами стен. Стены были невысоки, что называется, ниже среднего, то есть примерно в два человеческих роста.

И всё же затеянная Москвой стройка по тем временам и размахом своим, и числом занятого на разных работах люда (только на подвозку камня ежедневно наряжали до четырёх с половиной тысяч саней) изумляла, а многих и озадачивала.

Вместе со своим юным городом входил в пору юности и Дмитрий. Кто мог догадываться тогда, что строительство каменного Кремля станет доброй половиной всего его жизненного дела?

Новый Кремль стал его первой настоящей победой. Победа сейчас была не столько над открытыми врагами, сколько над теми из своих, кто не верил в возможность нового великого сплочения Руси вокруг идеи созидания, в возможность бескорыстного собора всех её угнетённых и разбросанных сил.

Кремль сжимал в один жилистый узел девять своих башен, связывал разлетающиеся отсюда веером дороги, он являл собою скрепу и завязь, средину и ось.

Глава пятая

Тверские обиды

I

В самый разгар строительства Кремля наведалься в Москву кашинский князь Василий Михайлович. Прибыл он по делу тяжёбному, впрочем, на первый взгляд достаточно заурядному. Не везло что-то кашинскому старожилу на племянников. То со Всеволодом Александровичем его митрополит Алексей мирил — недомирил, то ныне с другим Александровичем заспорил старик — с микулинским удельным князем Михаилом.

В княжьем совете благоволили к седатому Василию Михайловичу. Столько всякого повидал и претерпел на своём долгом веку — уж за одно это достоин он был уважения. Для молодого Дмитрия, когда виделся и беседовал с кашинским князем, а главное, слушал его невыдуманные старины, словно бы открывалось оконце в иной совсем мир, неуютно зловещий, не подчинённый никаким правилам, в любую минуту грозящий новой гибелью. И захлопнуть хотелось поскорей это свистящее ветром оконце, и не терпелось разглядеть всё в мельчайших подробностях: сам чудом уцелевший, Василий Михайлович сберёг и память необыкновенную. Такое, что помнил он, обычно люди стараются забыть поскорей, и врачующее забвение им в этом помогает. Но он помнил!

Кашинский князь знал лично Ивана Даниловича — уже одно это поднимало его в глазах Дмитрия, ловившего всякое непосредственное свидетельство о своём деде. Но в первую очередь Василий Михайлович был для Дмитрия живым свидетелем страшного краха великой и мощной Твери, той самой «Твери богатой, Твери старой», какою она и по сей день оставалась в песнях. Да и не то, пожалуй, слово «свидетель». Кашинца и самого больно задел смерч, пронёсшийся над тверской землёй и с корнем вырвавший почти всех его ближних. Внимая воспоминаниям Василия Михайловича, мудрено было и московскому сердцу не облиться жалостью, не исполниться состраданием к давнишней сопернице — Твери.

Он был самым младшим из четырёх сыновей великого князя тверского и владимирского Михаила Ярославича. Одним из первых детских

впечатлений маленького Васи стали проводы отца, отбывавшего по вызову Узбек-хана в Орду. Печальное то было расставание. Отец уже знал, что его оклеветали в Сарае и что главный из клеветников, Кавгадый, выслал навстречу ему своих лошадей, чтобы перехватили и не дали возможности оправдаться перед ханом. Василий с матерью, великой княгиней Анной, сопровождали Михаила Ярославича только до устья Нерли. Здесь в последний раз князь прижал к себе тельце младшего сына. Дальше он хотел спускаться не по Волге, а по Нерли, чтобы у Переславля перебраться волоком в другую Нерль, клязьминскую, и таким образом, может быть, разминуться с татарской засадой. Старшие братья Дмитрий и Александр поплыли с отцом; ещё один, Константин, томился сейчас заложником в Орде.

Как пережили слух о гибели отца, о мученическом его венце, как, унижаясь, упрашивали московского князя Юрия, чтобы выдал тверичам останки Михаила Ярославича, — Юрий их перевёз из Сарая в Москву, — как наконец встречали на Волге, в насадах, что осталось от великого телом и прекрасного ликом отца их и мужа, — от памяти этой и доньне дрожит у Василия Михайловича голос.

Дмитрий, старший из них, в отца пошедший ростом, осанкой и тяжкой властью взгляда, за что и прозвище получил Грозные Очи, вскоре отбыл в Орду — доказывать невиновность отцову. Но на самом-то деле не столько эта забота его так туда влекла, сколько нестерпимое желание поглядеть в глаза истинному виновнику казни, а таковым он считал, как и многие в Твери, не хана вовсе, даже не Кавгадыя, но единственно московского Юрия, ходившего теперь в великих князьях владимирских. Три долгих года Дмитрий Грозные Очи носил в груди гремучее желание личной встречи, ни звуком его не выдал, никому не проговорился о замышленном, только день ото дня делался непереносимей и страшней зрак его очей на худом чернобородом лице. Он ни о чём и ни о ком больше не помнил, — ни о судьбе княжества своего, ни о матери с братьями, ни о молодой жене, оставленной в Твери. Так же, как и его будущая жертва, он был и сам обречён. Кажется, ничего на свете он не променял бы теперь на единый жгучий миг мести. И когда этот миг наступил наконец, он кинулся на московского князя, как рыкающий лев на барана, и разом вытряс из него душу — всю, без остатка. И почти тут же его самого схватили, оковали и швырнули в темницу. Узбек-хан никому не мог позволить такого неслыханного самовольства (хотя в душе, может быть, и наслаждался зрелищем, столь диким и необыкновенным между русских князей).

Василий с братьями и матерью встретили на Волге ещё одну колоду,

тяжёлую и длинную, а в Орду настал черёд ехать следующему из них, Александру.

Этот тоже был горяч, нетерпелив, но по-иному. Он снёс, понунив голову, все оскорбления Узбека, честившего тверских князей крамольниками. Зато хан, хоть и бранился, всё же отдал ему, а не Ивану Московскому, великое Белое княжение, отдал за дорогую цену отцов и братней крови. Стерпел Александр и когда — вскоре по его возвращении в Тверь — сюда заявился ханов племянник Чолхан (на Руси прозванный Шевкалом или Щелканом), да не сам заявился, а с большим воинским отрядом: будем, мол, жить в Твери постоянно. Сразу повеяло временами баскаческими: гости вели себя нагло, задирали горожан на каждом шагу, врывались в церкви во время службы, оскорбляли женщин. Однажды на людном месте возле водопоя Щелкановы вояки стали отнимать лошадёнку у тверского дьякона по имени Дюдко. Тот взвыл сполошно, защитники из чернолюдьи сгруппировались в стенку, стали толкать и теснить обидчиков. У Щелкана на дворе подняли тревогу. Но и дружина Александра Михайловича была, оказывается, наготове. В городе вспыхнуло самое настоящее побоище. Почти целый день длился бой, только к вечеру одолели тверичи. Щелкан с остатками своего отряда затворился в деревянном дворе Михаила Ярославича, думал: не подожгут, пожалеют богатые хоромы. Но уж больно дело было горячее, некогда приценяться — подпалили сени, за ними вспыхнул весь велелепный двор. Знай, Щелканище, и ты, каков русский пожар!

Заодно и купцов ордынских пометали в огонь — тех, что давно тут торговали, и новых, со Щелканом на поживу прибывших.

Это потом только про гибель Щелкана Дудентьевича стали песни петь, а сразу, как поостыли, не до песен было. Молча встретила земля тверское отмщение. Не осуждали, нет, но и радоваться особо чему же?

Узбек теперь взъярился по-настоящему, наслал на тверичей войско карателей во главе с четырьмя темниками (из них первым считался некий Федорчук, отчего и погром тот на Руси прозвали Федорчуковой ратью). Да ладно бы одни ордынцы пришли. Нет, Узбек повелел, чтобы и русские князья участвовали в наказании Твери. А Ивана Даниловича, одарив его великокняжеским ярлыком, поставил не только над русскими полками, но и над своими темниками. Истинно говорится в летописании: «Злее зла честь татарская».

Слушая печальное повествование кашинского князя, юный Дмитрий при упоминании имени своего деда весь, должно быть, внутренне сжимался: стыдно-то как! Исполняя ордынскую волю, пойдут сейчас

русские против русских же, и поведёт их его дед...

Александр с семьёй побегал из Твери в Новгород, но по дороге передумал и ушёл на Псков. Младшие братья вместе с матерью спрятались в Ладого. Ордынцы до новгородского рубежа не дошли, ограничившись двумя тысячами гривен откупного серебра, но зато уж тверскую землю потоптали вдоль и поперёк, увели в плен бесчисленно женщин и девушек, многие табуны и стада. Когда Василий с Константином и матерью вернулись в Тверь, перед ними простиралась чёрная пустыня, усеянная обломками и головешками. Слишком дорогой ценой оплачен был минутный всплеск свободы.

Но и ещё, оказалось, не полностью заплатили. Узбек упорно требовал пред свои очи мятежника Александра, за неисполнение грозясь карами всему русскому улусу. Александр же по-прежнему отсиживался во Пскове, понимая: идти ему сейчас в Орду — на верную смерть идти.

В ту пору и разглядел близко Василий Михайлович достохитрого Калиту. Хан повелел московскому князю любыми способами достать беглеца. Ивану Даниловичу деваться было некуда, и он обставил новый поход важно, чтоб не было ему потом попреков в нерадении; созвал княжеский съезд, в том числе тверских молодых князей попросил прибыть — пусть тоже собираются искать брата, беда общая, делить её поровну. И дошли ведь почти до Пскова, в Опоках стояли, обмениваясь посольствами с доброхотами тверского князя. Псковичи наотрез отказались выдать его, готовы были терпеть любую осаду. У них там испокон веку своя правда: если уж приняли беглеца, то — прав ли он, не прав — ни за что не позволят обидеть гонимого.

И тут Александр попросил псковичей выпустить его. Он не хочет, чтобы из-за него пало на город проклятье. Лучше ему бежать ещё дальше — в Немцы либо в Литву.

На том и договорились. Псковичи сообщили в ставку великого князя московского о бегстве Александра, винулись в том, что проглядели его, просили мира и любви.

Ну не хитёр ли после всего этого Иван Данилович! Ведь он обязательно должен был предвидеть, что бегство состоится, и ничего не предпринял, чтобы перекрыть дороги к западу от Пскова. Нет, так, как он, дурачить хана никто не умел — ни до, ни после. Не с тех ли пор Василий Михайлович и проникся каким-то невольным, вопреки мнениям домашних своих, уважением к Калите, или не столько к нему лично, сколько к московскому делу вообще.

Поимка тверского крамольника затягивалась и — шутка ли? — на

столько уже лет. Надеялись: время поправит непоправимое, Узбек, глядишь, помрёт, ещё что случится, и позабудет Орда убиение Щелканово.

Но Узбек всё не умирал, и память его была ясной.

Он только для виду казался благодушен, дожидаясь той поры, когда наконец сам Александр крепко загрустит по своему тверскому двору. А тот, намыкавшись вдоволь по чужим углам, понаделав великих долгов в Литве и в Немцах, и точно затосковал, да так-то ему напоследок сделалось неведомо, что своей волей, преодолев страх наказания, вернулся на родину и почти тут же поспешил в Орду.

Узбек-хан, казалось, был поражен отчаянным поступком тверского князя, искренностью его покаяния. Великодушие — доблесть истинно великих, а поскольку хан был велик, то ему ничего не стоило пожаловать Александра его старой вотчиной — Тверским княжением. Это было старинное правило: перед казнью хорошенько накормить жертву. На следующий год Узбек прислал Александру Михайловичу приглашение в Орду, и тут-то стало ясно, что на самом деле он ничего не забыл.

Как было сейчас поступить полуопальному князю?

Бежать вторично и тем самым окончательно лишит своё потомство надежд на тверское владение? И, может быть, навлечь на сирот тверских ещё одну свору темников, жадных до наживы?

«Нет, лучше мне одному приять за всех смерть», — решил князь. Так довелось Василию Михайловичу и второго брата проводить на верную погибель. Кто только и как не уговаривал в те дни тверского князя не ехать! Василий Михайлович сам, собственными глазами узрел тогда чудо небывалое. На Волге случилось, когда сопровождал он брата и сына его Фёдора: гребцы гребут изо всех сил, а насад княжеский не то что на месте стоит, но будто какая-то сила его ещё и назад, против течения тянет. Знамение дивное, грозное, и страшно его помнить, и невозможно забыть!

Константина с ними тогда не было, болел крепко, и, когда прощались, Александр сказал о нём: «По кончине моей он — наставник и хранитель отчине нашей». Сказал как о чём-то уже свершившемся, непреложном. Странно, откуда всё-таки была в их роду эта обречённость? Что отец, что Дмитрий Грозные Очи, что Александр — все властные, крепкие, с железом во взоре мужи, нетерпеливая кровь воинов, даже гордость, хотя и грех это всё же, гордиться-то... И вдруг — такая обречённость. Смерть Александра в Орде была удручающе похожа на отцову гибель. Опять Узбек томил неопределённостью, умучивал слухами то о близкой казни, то о возможном ещё помиловании. Опять в поведении жертвы была готовность на всё, укрепляемая ежечасно чтением псалмов и молитв. Александр Михайлович

сам вместе с сыном Фёдором вышел из шатра навстречу убийцам, и в один почти миг покатались наземь их головы.

Вот и сбылось: старшим остался Константин. Они вдвоём выехали в Переславль, чтобы ждать там поезд с дорогими останками. Когда доплыли до Твери, весь город высыпал на берег, темно в глазах стало от плачущего и стенающего многолюдства. К двум гробницам убиенных ещё две прижались тесно. И то хоть утешение, что у себя дома всё лежат, рядышком.

Теперь бы, напоследок, зажить тихо тверскому остатку, но не одна, так другая беда стучалась в их княжеский дом. Подрастали сыновья Александровы — Всеволод, Михаил, Владимир и Андрей, и мать их, вдовая княгиня Настасья, настраивала детей на то, что Тверское княжение — их вотчина, а не дядьёв Константина и Василия. До того дошло, что Константин Михайлович рассорился со Всеволодом и Настасьей и поехал в Орду искать на племянника управы. Да там же, не доискавшись нимало, умер. Своей хоть смертью, и то хорошо.

Василий Михайлович, сидевший до сих пор, по уговору с покойным братом, на уделе в Кашине, срочно собрал дань со всей тверской земли и повёз её в Сарай. Но в самой близости от Ахтубы в ордынском городе Бездеж его укараулил племянник Всеволод, только что лестью получивший ярлык на великий тверской престол. Не знал никогда кашинский князь подобного сраму! Донага раздел его братанич, ограбил дочиста: не твоих, мол, рук дело тверская дань, я теперь велик-князь, мне и дань возить хану. Вон во что выродилась у племянничка дедова да отцова властность! Одного дядю до ранней могилы довёл, другого обесчестил на глазах у басурманской черни...

Внимая этой горестной повести, поневоле ещё и ещё задумывался Дмитрий Московский о роковой развилке, у которой столько уже раз спотыкался русский человек, облечённый мирской властью. Опять нелады в соседнем княжеском доме возникали не между родителем и сыновьями, не между братьями, но именно между дядьями и племянниками, то есть там, где перекрещиваются два возможных способа передачи власти: от брата к брату либо от отца к сыну. Василий Михайлович шёл, ничтоже сумняшеся, по привычному *братнему* пути. Всеволод упрямо сворачивал на путь *сыновний*. Дядя гнул свою боковую линию. Племянник доказывал правоту прямой линии наследования власти.

На многие годы растянулась их тяжба. И мирились, и вновь свಾದились, и на суд митрополичий ездили, и епископ тверской Фёдор Добрый усовещивал то одного, то другого. Что стар, что млад, кровь схожая — с

горчинкой гордости. А как же — Великая Тверь у каждого за спиной!

Москва больше склонялась на сторону Василия Михайловича. Уж потому хотя бы болел за него Дмитрий, что он один, а племянников-то у него вон сколько — и от Александра, и от Константина. Но ещё неизвестно, чем бы наконец завершилась тяжба, не нагрянь общая для всей Руси пагуба 1365 года. Моровое поветрие, унесшее жизнь матери Дмитрия Московского и его младшего брата, в тверской земле совсем уж не знало никакого удержу. Умер Семён — сын покойного князь-Константина. Умерла вдова Александрова, Настасья, скончались три Александровича — Владимир, Андрей и недруг Василия Михайловича Всеволод. Оно и грех радоваться, но лишь теперь мог он, кажется, вздохнуть спокойно: Тверь остаётся за ним — нищий обрывок бывшего великолепия дедова и отцова. Да хоть и такая, а мила.

Было время, Тверь действительно стояла на горе, на виду у всей Руси, земля смотрела на неё с надеждой. В самом имени города слышались высокие смыслы: *твердь* земная, *твердыня* русская, от стен которой может и должно бы начаться долгожданное вызволение. Но твердь на поверку оказалась непрочно-шаткой; поспешность, нетерпение и самоуверенность расшатывали её. Твердыня обернулась *гордыней*, и словно чья-то карающая десница направляла во все последние лета меч Орды на тверскую выю. Русь, так долго и мучительно искавшая, кто же её поведёт, в своём горячем уповании на Тверь обманулась и теперь более не имела часу вновь обманываться.

Кажется, всё это понимал седатый и не гордый на шестом десятке многовидец Василий Михайлович. И потому с Москвою — не в пример отцу, Дмитрию Грозные Очи и Александру — искал он ладу — не наружного, нерушимого. В свой час старшего сына Михаила женил Василий Михайлович на двоюродной сестре Дмитрия Московского Василисе — дочери покойного Семёна Ивановича Гордого. В 1358 году, при живом ещё Иване Красном, кашинец успешно водил свой и приданный ему Москвою можайский полк на Ржев, где засели было литовцы.

Сейчас, в 1367 году, он приехал в Москву к юному великому князю за поддержкой, потому что уже не один год беспокоили его и обескураживали из рук вон плохие отношения с ещё одним племянником. Этим племянником был тридцатичетырёхлетний Михаил, единственный оставшийся в живых из сыновей Александра, сидевший пока что на своём уделе в маленьком городке Микулине на речке Шоше, притоке Волги. Сам того не ведая, Василий Михайлович привёз в Москву великую беду — не только для себя, но и для всей Руси, на многие ещё годы.

Михаил, князь микулинский — и будущий великий тверской, — родился в 1333 году во Пскове, где отец его переждал тогда ханский гнев. На крестины мальчика прибыл сам новгородский архиепископ Василий по прозвищу Калека. Семи лет от роду Михаил переехал в Новгород к крёстному. Тот взялся лично руководить его обучением.

Михаил Александрович женился девятнадцати лет от роду на родной сестре нижегородского Дмитрия-Фомы. В течение следующих четырнадцати лет летописи хранят о нём молчание. И обрывается оно не чем иным, как известием о неладах микулинского князя с его родным дядей Василием Михайловичем.

Обида кашинца была не на одного Михаила, но также и на тверского епископа. Суть её состояла в следующем. Умерший во время моровой язвы сын Константина Михайловича князь Семён завещал свой удел не брату Еремею, как бы полагалось, а Михаилу Микулинскому. Василий Михайлович вступился за Еремея, но в Твери на суде владыка держал сторону микулинца, которому и достался выморочный удел.

Тяжбу в Москве должен был разбирать непосредственно митрополит Алексей, поскольку Василий Михайлович и Еремей, тоже приехавший в Москву, жаловались на подручного ему епископа. Разумеется, и великому князю Дмитрию также надлежало участвовать в суде. В итоге действие тверского владыки было признано неправым, и выморочный удел присудили князь-Еремею.

Третьей стороне хорошо было видно из Москвы: решительный, в самом цвету мужества, сын Александра не намерен коротать свои дни в Микулине, на мелкой Шоше, в малоприятном соседстве с московским Волоколамском. Недавно совсем его плотники срубили городовые укрепления прямо на Волге, в Старице, выше Твери по течению. Понятна была и рьяность, с которой Михаил добивался намеренно всеми правдами и неправдами вотчины покойного Семёна. Ведь тот удел — в ближайшем соседстве с Тверью, немного ниже её по течению Волги, со столом в Вертязине (нынешнее большое волжское село Городня). Из микулинской глухомани до Твери не близок час, а тут — то в Старице, то в Вертязине сидя, — можно с тверскими боярами из окна в окно сговариваться, переманивать их под свою руку.

О том, что Михаил со дня на день готовится перебраться на тверской стол, Дмитрий догадывался и без подсказки кашинского

единомышленника. Нетрудно было предвидеть и гораздо худшее: согнав дядю с тверского великого стола (тот в Твери и не живёт толком, а больше в своём любимом Кашине), Михаил на этом конечно же не успокоится. Внук и сын великих владимирских князей, с детства испытывавший горечь скитаний по чужим углам, болезненно переживавший семейные предания о закатившейся славе царственной «Тверской Руси», он, по всем статьям, из породы тех людей, что в погоне за призраком ускользнувшего прошлого способны понести поперёк, с треском и грохотом выломиться из общего ряда и мчать далее, не разбирая путей, с отуманенными глазами, с пеной властолюбия на горячих губах...

А что же, он ведь не кто-нибудь, он — Михаил, внук того великого Михаила, при гибели которого содрогнулась вся Русь, он — из Большого Гнезда Всеволодова, он — чистопородный Мономашич, Рюрикович! Отмститель за поруганную честь Твери, родоначальник её нового, но уже не омрачённого жертвенной кровью величия, — вот кем видел себя тоскующий в микулинских лесах Михаил.

Он на семнадцать лет старше Дмитрия Московского, жена его приходится родной тёткой московской Евдокии; на эту парочку Михаил вполне мог смотреть как на недоростков — за них там всё вершат митрополит да боярские бороды.

А он — в полной мужской силе, отец уже нескольких детей. Он статен и красив, в дедову породу, люди робеют его взгляда, толпа при встречах пялится на него восхищённо и неотрывно: князь в масть, одно слово — повелитель. А сидит до тех пор — смешно и выговорить — на Шоше, которую и комар вброд перебредёт. Сестра родная Мария, вдова Семёна Гордого, в Москве великою княгиней величается; другая сестра, Ульяна, тоже великая княгиня, — литовская, за самим Ольгердом Гедиминовичем замужем. А на Шоше кто поплоче, так, что ли?

Это не была задиристость юного драчуна. Тут многое перекипело и многое было додумано до конца. И сам Михаил, и наблюдающая за ним Москва равно понимали: если он решится на что-то, то это что-то станет последним словом Твери.

Кажется, давно ли уладилось с нижегородцами? И вот великому князю владимирскому подваливают хлопоты с другого боку. Да такие, что ныне, задним числом, тяжба с Дмитрием-Фомой и Борисом выглядит величиной с облачко, зыбкое и залётное, на которое дунь слегка — и чисто небо. Тут же туча шла тяжкая, зловещая, как всплуженная гарь, вся в обрывках корней, в пепельной кромешности. Думалось, давно уж зажила рана, прополосовавшая Русскую землю между Москвой и Тверью. Нет, куда там!

Снова вдруг взныл старый и страшный рубец.

Когда князь Василий Михайлович с братаничем Еремеем прибыли в Тверь, они, по словам враждебно настроенного к ним летописца, «многим людем сотвориша досады бесчестием и муками, и разграблением имения, и продажею без помилования». Из этого совершенно ясно, что речь идёт не о каких-то вообще «многих людях», но именно о приверженцах микулинского князя.

Покарав его сторонников в Твери, Василий Михайлович с племянником отправились наводить свои порядки в выигранном по суду уделе. Однако маленький Вертязин был готов к осаде. Великий князь Дмитрий прислал на помощь осаждающим два полка — московский и волоцкий. Но стоило ли понапрасну проливать кровь? Вертязин и так теперь никуда не денется от Еремее. Осаду сняли, московская рать на обратном пути нагрузила обоз всяким крестьянским добришком из микулинских волостей, благо сам их хозяин отсутствовал.

Вскоре на Боровицком холме прознали о том, куда он отбыл.

III

Они уже давно породнились, Ольгерд Гедиминович и Михаил Александрович, ещё с тех пор, как у Ольгерда умерла его первая жена, и он послал в Москву своих людей с подарками — просить, чтобы тогдашний великий князь владимирский Семён Гордый не прекословил ему, Ольгерду, взять в жёны тверскую княжну Ульяну Александровну, Семёнову своякиню и родную сестру Михаила. То-то были времена, величалась Москва, и не помнить бы литовцу, как жену выпрашивал.

Москва, слышно, и ныне величается, да только Ольгерд стал совсем не тот. Четверть века уже, как по смерти своего отца, могущественного Гедимины, он держит под рукой Литву. Разрослась, распространилась Литва, шелестит на ветру тёмно-зелёным, непроницаемым для солнечных лучей дубом; что ни год, великанская крона даёт пышную и густую прибавку. В юности, ещё при живом отце, Ольгерд сел на княжение в русском Витебске. Гедимин начинал, дети продолжили, и многие земли, издревле принадлежавшие Киевской Руси, подпали под Литву: кроме Полоцкого и Витебского вошли в её состав Минское, Друцкое, Лукомское княжества, Туровская и Пинская земли. Всё это доставалось легко, будто сбывался вещий сон Гедимины, увиденный им на Турьей горе. Тот сон знали наизусть все его дети, был он со всеми подробностями занесён и в

«Хронику Литовскую и Жмойтскую»... Не исключено, что политическая подоплёка сна была и в Москве известна, ещё при Иване Калите, и внук Дмитрий также знал.

...Как-то охотился Гедимин в урочище близ реки Вильны. В тот день сопровождала великому князю удача: на маковице безымянной горы из зарослей кустарника подстрелил матёрого тура. Усталый охотник здесь же и заночевал со всем своим двором. А ночью во сне увидел он на том самом месте, где тура свалил, громадного, будто из железа выкованного волка, и из звериного чрева в сто волчьих глоток разносился во все стороны страшный вой. Наутро Гедимин велел призвать к себе литвина-волхва, обученного звездарству и толкованию снов. Выслушав князя, языческий жрец так объяснил его видение: волк, из железа выкованный, — это великий замок, который Гедимин поставит на Турьей горе, вокруг замка вырастет главный город его княжества. А сто волков, в том волке воющих, означают княжат литовских, великая слава которых расширится по всем сторонам света. И тогда же повелел Гедимин созывать каменщиков и плотников и новому городу дал имя Вильно — по названию текущей рядом реки.

Перед смертью своей он поделил великую Литву между сыновьями. Великое княжение со столом в Вильно Гедимин завещал, по прихоти сердечной, самому младшему и любимому из семерых сыновей — Евнутию. Но воинственные Ольгерд и Кейстут вошли в сговор, нарушили отцову волю и, изгнав меньшого брата из Вильно, устроили передел земель, по которому Ольгерду достались восточные княжества, Кейстуту — западные, пограничные с немцами и поляками земли. Братья действовали дружно: шёл Кейстут против немцев — помогал ему Ольгерд; выступал Ольгерд на Смоленское или на Киевское княжества — рядом оказывалось плечо Кейстута. Литва любит войны, войнами она поднялась. Если бы не давнишняя немецкая опасность — насилие от Тевтонского и Ливонского орденов, — литовские племенные князьки так, должно быть, и сидели бы порознь, не ведая друг о друге, по своим лесным чащобам, молясь дубовым богам. Военная опасность сплотила их, вывела на люди, привила вкус к дальним наездам. Знатные литовцы обучились русской грамоте, полюбили им пение в православных храмах, яркое иконное письмо; князья стали одеваться по-русски, жениться на русских, давать своим детям русские имена. Славянская речь зазвучала в княжеских хоромах полноправной хозяйкой; перемирные договоры и духовные завещания составлялись на русском языке.

Сам Ольгерд изъяснялся на нескольких языках, но пятерых сыновей от

первой жены — дочери витебского князя — назвал по православным святцам. Своё великое княжество именуя, не забывал он упоминать, что оно не просто Литовское, но Литовское и Русское. Да иначе было бы и неудобно, пожалуй; литовцы составляли теперь малую долю населения княжества, и с каждым новым приобретением земель доля эта всё сокращалась.

Ольгерд не случайно выбрал себе вторую жену из тверского дома. Женившись на дочери и внучке великих князей владимирских, он тем самым обретал дополнительный политический вес, поднимался на новую ступень общерусской известности. Братья Ульяны стали ездить к нему в гости, сначала покойный Всеволод, а нынче вот и Михаил. И тот и другой приезжали с жалобами на Москву, просили помочь: казна-то тверская пуста, людей, годных к воинскому делу, после всех разоров да моров мало. Ольгерду льстило, что к нему всё чаще обращаются русские князья, и не одни тверичи. Борьба против общего врага на западе — немецкого рыцарства — помогла ему лучше сознакомиться в свой час с псковичами и новгородцами. Было время: по просьбе Пскова Ольгерд даже послал на тамошний стол своего старшего сына Андрея, до того сидевшего в Полоцке.

Впрочем, настоящей дружбы с чересчур самостоятельными вечевиками у него быть не может — это Ольгерд хорошо понимал. Зато с благодарностью и надеждой поглядывали на великого князя литовского обитатели исконных южнорусских земель: кто страдал от Орды, кто томился под властью поляков. В 1352 году Ольгерд отвоевал у Польши полдюжины волынских княжеств. Через десять лет занял Киев, освободив его жителей (хотя лишь на время) от татарской зависимости. А вскоре выиграл битву с ордынцами у Синих Вод, и ещё одна обширная русская область прирасправила плечи — Подолия.

Ольгерд ощущал себя самым настоящим освободителем и в этом отчасти не обманывался — до поры до времени. Сравнительная лёгкость воинских удач в захолустьях Орды и Польши исподволь начинала кружить голову и этому примерному трезвеннику, который был известен тем, что отродясь не пил зелена вина. Бражный дух побед, давних и совсем недавних, подталкивал литовцев к действиям ещё более широким, решительным. Ведь кто только не пробовал на Руси противостоять Орде, и никому ещё не удавалось. Новгородцы, к примеру, и переписчиков колотили, и купцов восточных на Волге то и дело тормозят, но много ли проку в их баловстве? Тверь было вскипела при покойном Александре, да сама же и захлебнулась в Щелкановой крови; рязанцы вот разбили Тагая,

но через год, глядишь, объявится у них изгоном другой какой темник, и опять Олег Рязанский побежит в лес хорониться; совсем недавно стало известно, что нижегородский и городецкий Константиновичи потопили в мордовской речке Пьяне шальной болгарский отрядишко — велика ли слава? А Москва? Вся её дума — об одном лишь великом ярлыке да как бы соседей потеснить, кто послабее. У Москвы слишком голос сейчас тонок, чтобы против Орды своё слово произнести безбоязненно. Оно, это слово, уверял себя Ольгерд, должно прозвучать только из Литвы, и уже зазвучало — от Немана до Днепра, до самого Буга, до Синих Вод, до Херсонеса.

Ныне Ольгерд всё упорнее поглядывал в сторону малых и сирых княжеств Чернигово-Северской земли да в сторону непрочно стоящего Смоленского княжества. Достанутся они ему — и подопрёт Москву сбоку под самые рёбра. Тогда уж можно будет вслух заговорить о том, кто на Руси первый князь — великий владимирский или великий литовский и русский.

Что легко достаётся — легко и ценится. В Вильно гордились тем, что в подвластных русских княжествах коренное население не очень-то ощущает эту свою подвластность. Живут во льготах, больших, пожалуй, чем когда-то в старокиевские времена. Великокняжеская рука не давит, не накидывает на любой двор перепутанную сеть всевозможных поборов, да и некогда этим заниматься, когда в той же ладони почти постоянно — рукоять бранного меча. От острого лезвия прибыль князьям литовским куда большая, чем от посольских старост. Лишь бы признавали смерды власть верховную, а там — живи всяк на свой аршин. Радость непрерывного возрастания толкала на щедрые поступки, от обилия приобретений хотелось благодушествовать и ехать в седле, подрёмывая сладко, попустив удила. За что, спрашивается, любить Москву её смердам и сиротам? За то ли, что со времён Калиты не знают они года, когда бы не гребли с них в три шкуры — и хлебным оброком, и подёнщиной, и меховой шкуркой, и серебряной гривной? Ну нет, под такую власть всю Русь не заманят. Нужна власть, не к долготерпению зовущая, но внушающая, что свобода — не где-то в вековой отдалённости, но вот она, только захотели бы все разом да разом же осбруили коней.

В мыслях Ольгерд почти и обскакал уже Москву, лишь одна особенная забота не давала ему успокоения: нет у него под рукой такой силы всесильной, какая имеется у Дмитрия Московского в лице митрополита. Не один год посвятил великий князь литовский, чтобы заполучить к себе в Вильно или хотя бы в Киев митрополита из Царьграда — с такими же полномочиями, как и у московского. И упрашивал всячески патриархов, и жаловался на Алексея, что в Литву совсем-де не ездит; и протомил его под

запором изрядно, когда тот в Киев приехал было; и капризничал перед церковной царьградской властью: если не поставят на Литву митрополита, он в римскую веру перекинется (даже детей от Ульяны нарочно называл старыми литовскими именами). И наконец добился как будто. Как ни восставал, ни возмущался Алексей, но в Царьграде рукоположили митрополита на Литву — Романа, тверского боярского сына. Только помер вот Роман, а нового не шлют. Да и не такого бы надо нового (тверичи его не очень-то приняли, не позволили и малость пожить у себя). Нужен Ольгерду митрополит с духовным правом на целую Русь.

Шурина своего видел Ольгерд насквозь. Понимал, что одной Тверью Михаил сыт не будет, а захочет в свой черёд и великого Белого княжения испробовать. Добьётся он его в конце концов или нет, но уж юнцу Дмитрию со старцем Алексеем кровь попортит.

Пока Михаил Александрович гостил в Вильно, гонцы то и дело огорчали его: то вестью о захвате Твери кашинским дядей и братаном Еремеем, то слухом об осаде Вертязина и разбое московской да волоцкой ратей в его микулинских волостях. Осмотрительный и медленный, когда надо, в действиях, Ольгерд не очень-то спешил дать шурина в помощь живую силу. Куда больше, чем обиды русского родственника, его беспокоила сейчас резко обострившаяся обстановка на западных границах Литвы. Сюда вторглись ливонцы и прусские рыцари, надо было срочно помогать брату Кейстуту, и так уже орден разорил несколько порубежных уделов, пожёг сёла, взял в осаду города.

Михаил ещё погостил немного, выжидая, но ничего толком не дождался. Подступали тем временем первые морозцы, матовый ледок схватывал колеи, тонкая слюда покрывала копытные и людские следы на дорогах.

IV

27 октября 1367 года Михаил вошёл беспрепятственно в никем не защищаемую Тверь с намерением не покидать её отныне никогда. Его противники вели себя явно беспечно. Василий Михайлович пребывал в возлюбленном своём Кашине, при матери, Еремей — непонятно где, а жёны их и многие бояре, на Михайлову удачу, оказались в Твери — готовыми заложниками. Тут как раз подоспела рать от Ольгерда — расщедрился всё же зять! — и Михаил, вдохновясь, двинулся на Кашин. Дядя переполошился, выслал навстречу войску своих бояр с просьбой о

мире. И Еремей запросил мира, и с ним тоже помирился Михаил. Дядя отказывался от прав на Тверь. А Вертязин? Вчерашний микулинский, нынешний же великий тверской князь спешил доказать, что он теперь полновластный хозяин в своей земле. То, что митрополит отсудил Вертязин в пользу Еремея, его нисколько не смущало. Пусть духовный владыка занимается духовными делами, в делах земских, к тому же касающихся великого Тверского княжения, первое и последнее слово будет за ним, Михаилом.

Но, как только его ратники заняли Вертязин, разобидевшийся князь Еремей снял с себя крестное целование и ускакал в Москву. Снятие крестного целования было равносильно объявлению войны. Однако никаких слухов о военных приготовлениях Москвы к Михаилу не поступало. Более того, вскоре он получил приглашение от великого князя Дмитрия и митрополита Алексея приехать для мирного и любовного разбирательства вновь возникших осложнений. Это был иной разговор, и Михаил решил проявить добрую волю. Кроме всего прочего, ему и любопытно было посмотреть на князя-юнца: небось и двух слов-то не сумеет связать в беседе с глазу на глаз.

Впрочем, тверской летописец говорит не о собеседовании в узком кругу, а о третейском суде «на миру в правде». Подробностей разбирательства он не приводит (из этого можно заключить, что они были не в пользу Михаила). Но расстановка сил на суде в общем-то ясна. Всё происходило «на миру», то есть с привлечением бояр великокняжеского совета, а также бояр, приехавших из Твери, и, видимо, людей князь-Еремея. В этом обстоятельстве заключалась новизна: шёл не обычный митрополичий суд, на котором решающее слово всегда было за церковным первоиерархом. Шёл суд, на котором московская, третейская сторона — великий князь и митрополит — имела голос совещательный, усовещающий. Не менее важным было тут и мнение всего «мира»: устроители рассчитывали на победу общего благоразумия, на особо наглядную очевидность всякой, даже малой неправды, доступной теперь для всеобщего рассмотрения.

Создаётся впечатление, что Михаил не выдержал именно испытания гласностью, «миром», свободой. Не чуя обычной духовной узды, спорящие теряли меру, и смахивало уже на вечернюю неразбериху, как будто и позабыли собравшиеся, что они тут всё же друг другу не ровня, что сидят среди них и князь великий и митрополит всея Руси, пред которым всегда склоняли выю в храме, а тут, в хоромаш, иные резвцы даже на дыбки перед старцем пытаются встать.

Вопрос о выморочном уделе был, конечно, лишь поводом, а под спудом, взмучивая воду до самого дна, ходили волны давних обид, сто раз уже вслух обсуждённых и вроде бы снятых навсегда, ан нет, не прощены, не забыты, не квиты. В конце концов всё к одному, простейшему, сводилось: зачем Москва великую Тверь обошла? Поди ответь, утешь!

Напоследок и хозяева не выдержали. Таких коней, как Михаил, надо не словом убеждать, а ременными путами, и не медлить, не цацкаться, а то все от единого наплачутся.

В срыве третейского суда, в бессудной расправе над тверским князем преданный ему истолкователь событий, естественно, винит Дмитрия. Якобы лишь задним числом, когда Михаил уже сидел в истомлении, уразумел великий князь московский, что «недобре бояре его о князе Михаиле советоваша». Вина его вроде бы косвенная: это бояре уговорили Дмитрия заточить знатного соседа в темницу. Но и усмешка скрыта в истолковании: своей-то воли нет у восемнадцатилетнего князя, охмурили его слуги верные.

Гнев и ярость непереносимая распирали грудь Михаила Александровича. Как же так?! Только вчера он спорил, доказывал своё, и — не сон ли это дурной? — один, под запором, на пустом чьём-то дворе, без слуг, без бояр верных, оскорблённый, обесчещенный, будто подлого вора, впихнули его сюда. Его, русского князя, сына и внука прославленных мучеников за веру и родимую землю! А бояре именитые? Тоже небось по темницам рассованы? Славная беседушка, ничего не скажешь! Ну, с желторотого Дмитрия какой спрос, но митрополиту он верил, его и любил, кажется, как же тому-то не совестно? Да и сам хорош! Как было не раскусить сразу, что его просто-напросто заманивают на Москву и всё уже предрешено — и этот позор, и... Не уготована ли и ему участь несчастного рязанского князя Константина, схваченного когда-то Даниилом Московским, а сыном его Юрием убитого?

Неизвестно, сколько бы ещё просидеть Михаилу под замком, но на его удачу в Москву как раз прибыли из Орды три знатных татарина. Может, и не по этому делу они прибыли, однако, прослышав о случившемся, выразили великому князю московскому своё неудовольствие. С тверскою тяжбой сам царь разберётся, не Дмитрия это забота.

Отпуская Михаила Александровича с его боярами восвояси, в великокняжеском совете прекрасно понимали, что отпускают убеждённого врага, готового во всём отныне идти до конца... О настроении вчерашнего заточника красноречиво говорит его придворный историк: «Михайло Александрович тверский о том вельми оскорбися и негодуя, нача имети

вражду к великому князю Дмитрию Ивановичу». Но и не отпустить его было нельзя. И не только потому, что на срочном освобождении настаивали ордынцы. Стиснув зубы, Михаил всё-таки вынужден был отступить от части спорного удела в пользу Еремея. Вместе с последним в Вертязин направлялся московский наместник, малая частица исконно тверской земли бралась под надзор великокняжеского управителя. Мера жёсткая, чрезвычайная, но как было ещё доказать Михаилу необходимость хотя бы внешнего смирения?

Вскоре подтвердились самые худшие опасения московского правительства: Михаила понесло. Его политическая целеустремлённость получала сейчас сильный дополнительный толчок в виде личного повода к борьбе с Москвой. Он чувствовал себя оскорблённым до глубины души, и это чувство заслоняло перед ним мрачную картину возможных последствий. Всё будущее грезилось ему лишь в ослепительном свете отмщения и новой, его руками сотворяемой всерусской славы Твери.

Летом 1368 года Дмитрий Московский был вынужден срочно выслать многочисленное войско в тверские пределы. В связи с чем? Тверской летописец и об этом умалчивает. Можно догадываться о каких-то упреждающих действиях Михаила: набеге на Вертязин? расправе с тамошним московским наместником?

Но как только московские полки всклубили пыль на порубежных дорогах, тверской князь вновь смалодушничал. А с кем ему было выходить против надвигающейся вполюкёма рати? Опять надеяться он мог только на Ольгерда. К Ольгерду и устремился.

Сообщение об этом бегстве особой радости Дмитрию Московскому не доставило. Если бы Михаила взяли сейчас в полон, с ним бы иной уже пошёл разговор.

Расстроила его и другая весть, доставленная из тверской земли. В Кашине, разболевшись, помер князь Василий Михайлович, так и не вкусивший под старость никакой радости. С молодых лет натерпелся, бедолага, страхов, унижений, через всю долгую жизнь пронёс особую печаль — свидетеля горестных тризн, да и в преклонных годах наслушался оскорблений от заносчивых племянников. А как бы ладно-то соседствовать с таким, как Василий Михайлович, хозяином Твери. Но не привелось.

Глава шестая

Литовщина

I

Таким словом обозначили летописцы пагубные для Русской земли события, последовавшие за вторичным бегством Михаила в Вильно. Литовщина была не одна, за первой накатила вторая, потом и третья. Жажда родовой мести, обуявшая тверского князя, безоглядное честолюбие, не считающееся с ходом вещей, дорого обошлись не только населению его княжества. Михаил Александрович был из породы людей, берущихся поворотить историю с нового, уже намеченного и прикатанного пути на старую, заглохшую дорогу. В итоге затея обернулась личной неудачей зачинщика и его союзников, но если бы только ею! Литовщина разрешилась кровью и слезами; поднявшийся стеною дым её пожарищ на много лет заслонил зарю русского освобождения.

В Ольгерде было нечто от непроницаемости гранитного валуна. Попробуй разберись, в каких именно направлениях текут жилы там, внутри — в глухой, никем не отковыриваемой тьме? Как часто ни ходил он в походы, но никто из ближних, а иногда и из самых ближних, не знал, когда, на кого, с каким числом ратников вознамерился он идти.

Так сейчас и с Михаилом. Слушал Ольгерд его жалобы и просьбы, видел даже слёзы, неприличные на лице воина и князя; внимал шёпоту Ульяны, на свой лад повторявшей то, о чём просил намерен брат её, но до последнего часа так и не прознал Михаил, что на уме у великого литовского князя. Замечал лишь проситель: приятно и лестно выслушивать Ольгерду его горячие мольбы.

А между тем, прикрываясь равнодушием, чуть ли не безразличием, литовец втайне уже рассылал приказы. Оповестил брата-соратника Кейстута и его сына Витовта, благо накануне был подписан мир с орденом и новых покушений на западные границы не ожидалось. Призвал Ольгерд и взрослых своих сыновей, опытных в бранном деле Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, переслался с великим смоленским князем Святославом Ивановичем. Тот с Москвою был не в ладах — сам Ольгерд и постарался вбить, где надо, клинья.

Война для Литвы — всем радость, пора и шурина возвеселить напоследок: идём на Москву!..

Как сборы были тайной, также тайком, далеко вперёд выслав разведку, надо было протечь лесными лазами, усыпанными пожухлой уже и не шуршащей под стопую ноябрьской листвой. Ольгерд не зря славился умением тихо, по-звериному, выводить свои полки к месту решительного прыжка. В этом искусстве ему не было равных, он его оттачивал раз от разу, приравнивая неожиданность нападения к наполовину выигранной битве. Треснет сук у кого под ногой, всполошится дура сорока — Ольгерд заморозит виновного взглядом. Велика рать, но ходи, как тать.

И подошли точно по его науке: проспала, проворонила их московская стража!

Ноябрьскими мглистыми днями в разных местах затрещало московско-смоленское порубежье: сдалась пограничная Холхола; захвачен Оболенск — столица маленького удельного княжества в низовьях Пахры. Особую рать Ольгерд бросил на Можайск, но удержались можайцы, засели на высокой своей горе, успев облить её водой, чтоб ни пеший, ни тем более конный не вскарабкался по льду наверх, к деревянным стрельницам.

Было отчего растеряться молоденькому Дмитрию Ивановичу! Хотя и не надеялся, что управятся со сборами, но всё же повелел разослать по городам и волостям грамоты, созывающие ратных. Как только подоспели полки из Коломны и Дмитрова, он, присовокупив их к московской рати, направил сводный сторожевой полк в сторону Рузы. И, как выяснилось, напрасно! Было поспешное это решение явной ошибкой юного князя, не имевшего, видимо, точных сведений о размерах литовского стана, да и вообще не вкусившего пока настоящей войны; лучше бы он приберёг сводный полк в стенах Кремля. У речки Тростны, к северу от Рузы, литовский вал с треском и воем сшиб сторожевую рать и втоптал её в мёрзлую землю; погибли оба московских воеводы — Дмитрий Минин и Акинф Шуба.

Ольгерд приказал собрать пленных московитов с поля боя и под пыткой вершить дознание: где находится Дмитрий, есть ли у него ещё рать, велика ли? Все отвечали, как сговорившись: великий князь сидит в Москве, а ратей новых он не успел собрать. Недоверчивый Ольгерд, всегда опасавшийся ложных сведений из уст противника, сейчас мог быть спокоен: каждого пытали отдельно от других. Значит, Москву нужно брать, и поскорей.

Но ещё в окрестностях города озадачил его прочный запах гари. Неужто кто иной поспел на даровую поживу раньше, чем он? От

кудринского холма открылось Ольгерду диковинное зрелище: за тёмным извивом Неглинной, на противоположном холме, по левую руку, чернели обугленные остовы посада, а по правую, над мусором чадных головешек, упиравась главами в низкое сумеречное небо, глыбился Град. Было что-то в этом зрелище дерзко-вызывающее, но и беспрекословное.

Так вот она какова ныне — Москва! Глядя на зубастый оскал стен, на тучные туловища насупленных башен, литовец лучше теперь понимал, почему так настойчиво, не стесняясь унизиться, упрашивал его Михаил Тверской о скорейшем походе. Но, кажется, они оба припозднились на пир.

Сколько ни воевал Ольгерд, нигде, ни в чьих землях не видел, ни из каких книг не слышал, чтобы осаждённые перед тем, как затвориться в городе, сами сжигали дотла свои посады. Эта решительность, граничащая то ли с отчаянием, то ли с завидным равнодушием к любому земному нажитку, приобретённому годами труда, крепко озадачила его навидавшуюся всяческих див душу. Сама по себе цель поджога с военной точки зрения была в общем-то понятна: Дмитрий не хочет, чтобы в руки осаждающих попала целая гора строевого леса, из которого легко понаделать щитов, лестниц, метательных машин и примётов: не захотел он оставить гостям и готовое жильё на случай продолжительной осенне-зимней осады. Но, может быть, сам не ведая того, Дмитрий добился гораздо большего: безжалостно спалив свои посады, он показал, что готов на всё, что будет стоять до конца. И — тоже ведь немаловажно! — что ему невелик труд отстроиться заново.

Такая война не нравилась Ольгерду. Он не ордынский хан и потому считает своих воинов поимённо, а не по сотням, тысячам и тьмам. Ему неприятно смотреть, как его люди муравьями карабкаются по стенам, а сверху им за шиворот льют кипяток или сыплют в глаза песок из мешков. Громадное войско три дня бездействовало у стен Кремля. Чувствовалось по всему — по густоте стрельбы сверху, по шумам и гулам, доносящимся из-за стен, что ратных там полным-полно; и, наверное, не пленные солгали, а поспела всё же к Дмитрию ещё подмога. Но ворот не открывали и вылазок не устраивали, как ни пробовали их выманить.

Ольгерд заскучал, задосадовал, освирепел. Собрать столько всадников, прийти в этакую даль и не осушить бранной чаши? Надолго же запомнит Дмитрий своё негостеприимство!

К четвёртому дню осада, так и не налаженная толком, была снята, и истоптанные, в пятнах кострищ склоны Занegliменья обезлюдели. По Кремлю прокатился единодушный выдох облегчения: ушли...

Но как они уходили?! Ольгерд на обратном пути разрешил своим

воинам как следует прошерстить всю землю московскую, брать в полон каждого, кто приглянется, отбирать весь хлеб, весь скот и всю живность, жечь людские жилища, санные зароды и медовые варницы, кузни и мельницы — всё! Жестокость опрометчивая со стороны человека, мечтающего стать политическим вождем всей Руси.

Старики потом прикидывали, что уж сорок лет, пожалуй, от самой Федорчуковой рати, не видано было на Руси таковой лютой напасти. Ордынский погром 1327 года не зря приходил на ум — Ольгерд показал, что в жестокости по отношению к безоружному пахарю он готов перещеголять и степняков-азиатов.

Знавали и в прежние времена разбойную повадку литовского соседа. Набегал то и дело малыми отрядами — то на Можайск, то на Ржеву, то на иные пограничные городки, и вошла уже было в привычку эта лёгкая, дурашливо-ребячливая его повадка: подползти тайком, вдруг вломиться, продержаться недельку-другую и пуститься наутёк.

Но вот приходилось и к иной рати привыкать — беспощадной, тяжёлой, как стадо лесных быков, кинувшихся топтать озими, кромсать зароды. Приходилось и с торжеством Михаила, на чужом хребте въехавшего в Тверь, временно смиряться.

Но ошеломление Москвы длилось недолго. Благо имелось жито в заповедных закромах и водилась лишняя гривна про чёрный день. С той же зимы быстро стали отстраивать московские посады из сухого, промёрзшего до звонкости леса; налаживалась жизнь в разорённых сёлах, князь и боярские волостели записывали льготы тяглым своим сиротам — на обзаведение жильём и скотом, семенным зерном под будущую ярь.

А в хорошине княжого совета осунувшийся с лица Дмитрий, у которого тёмно-русый пушок уже появлялся на губах и на подбородке, давал последние указы перед разлукой двоюродному брату Владимиру.

II

Князю Владимиру Андреевичу, внуку Калиты, будущему Серпуховскому, по прозвищу Храбрый, или, как его ещё нарекут, Донской, шёл сейчас шестнадцатый год. В долгой и беспорочной службе своей московскому делу он насчитает, пожалуй, не меньше воинских походов, чем было за спиной у его великого предка и тезоименита Владимира Мономаха. Но нынешний поход, в который его провожала Москва, был для молодого человека первым по-настоящему самостоятельным, по-

настоящему трудным. Не брать же в счёт совсем ещё детские выезды во Владимир.

Он был до конца посвящён во всё то, что сейчас на уме у Дмитрия: надо как можно скорее дать понять окружающим, что опустошительный набег Ольгерда и Михаила, несмотря на свои страшные последствия, ничего не может изменить по сути в московской политике. Направленность её остаётся неизменной: превращение великого (пока лишь на письме) княжества Владимирского в подлинный государственный монолит с единой волей и правдой; сплочение силы, способной в действительности, а не в мечтах и гаданиях поднять всю землю в согласном и братском порыве к свободе.

Накануне стало известно, что небывалое бедствие постигло Великий Новгород: от страшного пожара, подобного которому что-то и не помнили на Волхове, пострадал внутри весь детинец, в том числе рухнул владычный двор, даже в каменной Софии опалили иконы, книги и деревянные подкупольные связи. Огонь отхватил целый кус от громадных новгородских посадов — весь Неревский и Плотницкий концы. К тому же через надёжных людей прознали новгородцы, что в Ливонии спешно ведутся воинские приготовления, подстрекаемые слухом о губительном том пожаре.

По старинным, от веку заведённым правилам великий князь владимирский на первый же призыв Новгорода о воинской помощи обязан откликнуться, прибыть с дружиной в город Святой Софии либо, если сам не может, послать взрослого сына.

Но когда-то ещё вырастет у Дмитрия сын! Юная жена его только недавно понесла (о чём и поведала ему со стыдливой радостью). Сам же он покидать Москву сейчас не мог — надо было собственным присутствием подбодрить людей, самому ежедневно следить за строительными работами в городе и волостях.

И он как старшего сына, как чрезвычайного великокняжеского наместника послал в Новгород Владимира, придав ему испытанных воевод и небольшую, но отборную дружину. Владимир приободрит вечников своим присутствием. Пусть видят: Москва хоть и сама в беде, но их несчастье переживает, о великокняжеских своих обязанностях помнит, о проказах же ушкуйнических не злопамятствует, по пословице: кто старое разворошит, тому и глаз вон. Пусть и в Пскове побывает младший брат, а случится ему на ливонцев поглядеть, пусть и о них проведаёт, каковы немцы в бою.

На Новгород из Москвы было три дороги, и все — речные да озёрные.

Самая длинная — восточная, через Белоозеро, Онегу и Ладогу. Посередине была дорога ближайшая — вверх по Тверце до Торжка и до Волочка Вышнего, а оттуда по Мете в самое Ильмень-озеро. Но на устье Тверды стоит враждебная Тверь, и, значит, этот путь ныне заказан. Была и ещё удобная дорога — через Волоколамск, вверх по Волге до новгородской крепости Кличен, стоящей на Селигере-озере, и далее — протоками и волоками Оковского леса, мимо заповедного камня с «божьей ножкой». Но тут нужно, ещё Волгой поднимаясь, миновать Зубцов и Ржеву. В Зубцове же сейчас — тверская власть, Ржева — опять литовцами занята. А ведь всего несколько месяцев назад, как раз перед тем, как Михаила на Москве в узилище посадили, Владимиру Андреевичу посчастливилось вести полк на Ржеву и выколотить оттуда литовцев. Но лёгкий, удачливый поход по сравнению с тем, что ему сейчас предстояло, был как бы не в счёт.

Несчастливая Ржева, свет, что ли, на ней клином сошёлся? Почти года нет, чтоб не перешла она из рук в руки. Немудрено понять, почему так рвётся к ней Литва: Ольгерду важно хоть мизинцем за Волгу зацепиться, он знает цену русским рекам, а этой — особенно. Он и к Оке тоже рвётся, почти уже подмяв под себя черниговско-северские да Брянское княжества.

Зимой 1368 года, пока в Вильно и в Твери празднуют победу и варят в котлах можайскую говядину, Владимир благополучно пробирается в Новгород. Встречают его с воодушевлением. Ещё бы, со времён Юрия Даниловича не наведывались к ним московские князья. Владимир, слегка волнуясь, осматривает город, о котором столько слышал всякого с малых лет. Ещё там и сям видны следы пожара, но торжище бушует как ни в чём не бывало, сами ноги несут в это людское мешеево, потому что как же можно, приехав сюда, не побывать на знаменитом здешнем торгу, столь же древнем, что и сам город; а побывав, как не подивиться бессчётным произведениям человеческой смекалки и рукодельного упорства! Вроде и на Москве всё то же видывал, ан нет — то пошиб иной, иная статья у вещи, а то и вовсе невидалью пахнёт в глаза. Воздух спёрт от избытка людей, товаров, криков, смеха и брани; высятся груды меховых шкурок, поскваживает луговой сладостью засахарившихся медов, купцы на берестяных листах тут же ведут счёт, процарапывая розовую кожицу остроконечными железными писалами; как бычья полутуша, высится многопудовый свинцовый слиток; волнующий запах исходит от связок самшитовых дощечек, из которых здешние ремесленники мастерят гребни; бесконечны ряды ганзейцев-суконников; ярко полыхают в северных снегах китайские и персидские шелка; лоснятся свежей олифой иконки; повисли на шестах льняные рыбацкие сети: иная с берестяными поплавами, иная с

деревянными; мелкочаистые, паучьей работы сети для снетка озёрного и мрежи в крупную ячею, способные выдержать старого склизкого сома либо осетровое бревно; свеженькие, под цвет коровьего масла, желтеют деревянные вёдра, кадушечки, кади, перевитые древесным же обручем; важно пузырятся гости издалека — крымские да греческие амфоры с олией; матово посверкивают ножи с костяными рукоятями, железорезные ножницы, горбуши, зубила, тёсла, шилья, горновые клещи; а вот бусы стеклянные и бусы янтарные и рядом же — целый мешок необработанного янтаря; а вот деревянные стаканцы, блюда и тарели токарной выделки, чаши из берестяного капа, туеса берестяные и кошели, плетёные из лыка; а вот и кожевненным добротным духом повеяло — от сапог, поршней и женских да детских туфель, украшенных тиснением либо вышивкой; мелькают удила, подковы, стремяна; зелёные, жёлтые, фиолетовые стеклянные перстеньки; медные котлы и медные же бубенцы; навесные замки с фигурными ключами; горшки серой, красной и голубой глины с зелёной поливой или простые, без всякой поливы; велик выбор нательных крестиков — от золотых, серебряных и бронзовых до резаных из сланца, янтаря; а как не полюбоваться на игрушечный ряд! Тут шашки и шахматы из кости, деревянные мечи и стрелы, костяные коньки, клюшки, кожаные мячики, набитые туго шерстью, либо мхом, либо льняной кострикой; припорошивает, прищёптывает снежок, уютно, по-домашнему пахнет дымом, разваристыми щами, тулупами и сушёным мочалом, навозцем и сенцом; весело от великого множества каменных церквей, от новгородской размётанности в луговые дали, в лесные и озёрные концы земли. Всё та же ведь Русь, узнаваемая с первого взгляда, будто уже снилась не раз, любая словосказной своей повадкой, детским цоканьем новгородского разговорца.

Вскоре Владимир выехал во Псков — ливонская опасность действительно оказалась нешуточной.

Очередное обострение отношений с немецким орденом началось после того, как в Юрьеве ливонцы задержали новгородских купцов, а новгородцы в свою очередь взяли под стражу немецких гостей. Великий князь Дмитрий отправил тогда в Юрьев посла, но тот, хоть и пробыл у немцев немало, ни в чём не успел: орден не скрывал своих военных приготовлений.

Теперь во Пскове горожане рассказывали князю Владимиру, как немец в прошлом сентябре подошёл было прямо к городу и торчал на противоположном берегу Псковы, как раз напротив Крома, с вечера поджёл Запсковье и Полонище, а утром ушёл без боя.

Владимир, стоя внутри каменного треугольного Крома, любовался

на новую, только что возведённую Троицу. Дивила своей высотой и толщиной напольная стена Крома, которая у псковичей называлась Перси, то есть грудь города; оглядел он и продолжение Крома — Довмонтов город, сплошь застроенный маленькими церквами. Показали ему — даже в руках подержал — и святыню великую здешнюю — меч князь-Довмонта, которым псковичи когда-то торжественно препоясали перешедшего к ним на службу из Литвы мужественного воителя.

Сразу за городской стеной располагалось Торжище, но Владимир не увидел здесь гостей — ни немцев, ни ордынцев, ни болгар. По псковскому строжайшему правилу иногородцев на Торжище не допускали, чтоб не выводывали цены, установленные между своими, да не терлись возле градских стен, прощупывая, как в Пскове камень к камню лепят. Для заморских гостей торг был на том берегу Великой, и Владимир видел его, когда выезжали в Изборск.

Порадовала его и ладная крепь изборского детинца, выложенного из плитняка, серые пласты которого распирали землю вдоль котловины — как раз напротив крепостной горы Жеравицы. Получалось так, что, знакомясь с новыми для него краями Руси, он будто восходил по ступеням — от равнинного Новгорода к псковской скале, а от неё на Жеравицу, и теперь вот изборяне повели его ещё выше — на Труворову гору. Тут, на мысу редкостной крутизны, стоял некогда, как пояснили ему, старый, первоначальный Изборск, строенный братом Рюрика Трувором, о чём и в «Повести временных лет» записано. На месте города было ныне кладбище с накрёнёнными, тёсанными из цельных глыб плитняка крестами. Кресты эти безмолвно и сурово осеняли всю местность: изгиб котловины, застывшее далеко внизу продолговатое озеро, отдалённые тёмно-сизые гряды лесов, откуда во всякий час можно было ожидать появления немецких полков.

...Они всё-таки пришли в тот год под самый Изборск, и псковский летописец особо их отличил, отметив, что были тут «сам епископ, и мастер, и кумендерии». Ливонцы простояли под крепостью больше двух недель, но изборский камешек оказался им, как и в прежние приходы, не по зубам, к тому же псковичи прислали рать на подмогу своему пригороду.

Князь Владимир Андреевич пробыл в этих краях почти полгода, до самой середины лета. Он не делал тайны из своей поездки по новгородско-псковским рубежам. Наоборот, постарался, чтобы о его пребывании здесь известия расходились повсеместно, достигая и немцев, и Литвы, и Твери. Про него слышало и в глаза его видело множество заезжих гостей, а кто из них не соглядатай? Пусть же ведомо будет ливонцам: Москва не собирается

замыкаться в своих личных заботах, как улитка в раковине; она не оставит вниманием своих новгородских и псковских детей, а надо, то и воинской силой поддержит. Пусть и Михаил знает в Твери, что, случись между ним и Москвой новая распря — а её не миновать, к тому всё идет, — Север не поддержит его и от Москвы не отложится. Не очень-то спокойно будет чувствовать себя Михаил, имея в тылу своенравных вечевиков, искренне преданных великому князю владимирскому.

Длительное пребывание в Новгороде и Пскове как-то резко овзрослило молодого москвича; он сознакомился с именитыми посадниками и тысяцкими, важными боярами и богатыми купцами, воеводами и ремесленниками; запомнил имена и лица множества нужных людей, даже дорожные приметы крепко схватывал взглядом, догадываясь смутно, что, может быть, ещё не раз понадобится ему ездить в эти края. Таков прирост всякого основательного путешествия: навидавшись новых пространств, человек и думать начинает по-новому — шире, свободней, угадливей, удачливей.

Он возвращался в Москву после Петрова дня, в пору, когда косцы по деревням уже отбивают косы и весёлое клёпанье раздаётся далеко, сообщая о жизни живых, о самой праздничной и жаркой поре крестьянского лета. Так уж выходило по страдному календарю, что мужик наперёд всего думал о прокорме домашней животины и лишь в другой черёд глядел на хлебный клин. От света до света слышался князь-Владимиру благовест отбиваемых кос, и казалось, этим звуком озвучена сейчас повсеместно целая Русь, вскипевшая пенным разнотравьем. Тут и малышня деревенская подалась с туесами на сечи, на боровые припёки — за первым земляничным сбором.

III

В Москве не намеревались прощать вину русских подстрекателей и союзников Ольгерда, приложивших руку к опустошению её владений. Кроме Михаила Тверского, снова занявшего Вертязин, в Литовщине участвовали смоленский и брянский князья. Летом 1369 года Дмитрий Иванович послал московский и волоколамский полки на запад — наказывать великого князя смоленского Святослава Ивановича.

Обстоятельства западного соседа Москвы были незавидны. Его вотчина — одно из древнейших самостоятельных русских княжеств — переживала явный упадок. Известно, что отец Святослава прилагал немало стараний, чтобы жить в согласии с сыновьями Ивана Калиты, хотя

Гедимин, а затем и Ольгерд не раз принуждали его действовать по своей указке. Святославу выпала та же участь — выбирать между Москвой и Литвой, но он уповал на третий путь — на возрождение былой самостоятельности своей земли и, кажется, все свои старания приложил к достижению этой мечтательной цели. Дореволюционный историк Смоленского княжества пишет о нём: «Едва ли можно найти среди смоленских князей более энергичную личность, чем Святослав Иванович. Всё время его княжения проходит в непрестанной борьбе то с Москвой, то с Литвой... Время княжения Святослава Ивановича и его сына Юрия является самым блестящим периодом в истории Смоленска, но не по достигнутым результатам, а по геройским усилиям смольнян в борьбе за политическую самостоятельность».

«Блестящий период» — это, пожалуй, слишком громко сказано. По своим личным задаткам Святослав весьма уступал другим русским сорекователям Дмитрия Донского — тому же Дмитрию-Фоме, тем же Михаилу Тверскому либо Олегу Рязанскому. Но усилия смоленского князя, направленные на взыскание древней славы своей земли, действительно были героическими, пусть и с явным оттенком обречённости.

Начал он с того, что по смерти отца пытался оттеснить Литву из захваченных ею смоленских порубежных городков. Но ко времени Литовщины от этого первоначального пыла не осталось и следа. Смоленский князь не только беспрепятственно пропустил через свою землю полки Ольгерда, шедшие на Москву, но сам намеревался обогатиться от этого похода.

Московское правительство наказывало теперь смольнян за участие в мародёрстве ответным воинским ударом. Одновременно с этим митрополит Алексей наложил на Святослава отлучение от церкви и послал к константинопольскому патриарху грамоту с обоснованием сей чрезвычайной меры.

Летом 1369 года большое великокняжеское войско ушло и на Брянск, чьи ратники также наследили в московских волостях во время Литовщины. Брянск был старинным уделом Смоленского княжества, но уже более десяти лет им управляли ставленники Ольгерда.

В те же самые месяцы московское правительство наводило порядок в своих тылах и в пограничных с Тверью волостях. За одно лето в Переславле на месте разобранной ветхой крепости был поставлен новый деревянный город.

Военное предгрозые заволакивало окоёмы Междуречья. Из Кашина в Москву прибыл сын покойного Василия Михайловича Михаил, у которого

нынешней весной скончалась жена Василиса, двоюродная сестра Дмитрия Ивановича. Кашинец жаловался ему и митрополиту на неправые суды тверского епископа, который по-прежнему обижал тех, кто неугоден Михаилу Александровичу.

Последний, судя по известиям, срочно укреплял свою столицу: всего за две недели срубили в Твери новую деревянную крепость, обмазали её глиной, побелили.

Михаил не мог не догадываться, что вслед за Смоленском и Брянском меч московского возмездия обратится и в его сторону. Он решил опередить события и отправил к великому князю и митрополиту своего епископа, дабы «любви крепить». Неуместность и несвоевременность этого поступка, похожего на заискивание напрашивавшего мальчишки, были очевидны. У тверской «любви», рассудили в Москве, цена известная; к тому же епископ выслушал заслуженные попреки в том, что по-прежнему потакает междукняжеским сварам в тверском доме, откровенно держа во всём сторону сильнейшего.

С тем и был отпущен епископ, и почти тут же в Тверь отбыли посланцы Дмитрия Ивановича с объявлением соседу, что мира между ними отныне нет.

События опять развиваются, как два года назад: Михаил малодушно бежит в Литву; московские войска сравнительно легко берут его слабо защищаемые города и незащищаемые волости; Ольгерд подступает к Москве с теми же самыми союзниками и снова не решается её осаждать. Даже сроки почти совпадают: литовцы подкрадываются к московскому порубежью в конце ноября, а в первых числах декабря месяц копытами снег вокруг Кремля. Задерживаются, правда, немного подольше: не на три, а на восемь дней.

Тут как бы сама история бестолково топчется на месте, будто понуждаемая к тому нечистой силой, усмехающейся над людьми — и правыми, и виноватыми.

Вот и летописцы этим повторениям свидетели: «...и все богатство их взя, и пусто сотвори, и вся скоты их взяша во свою землю»; «...и поплени людей бесчисленно, и в полон поведе, и скотину всю с собою отгнаша».

Но даже и тогда, в позорище земной круговерти, ей-ей, не всё повторялось!

Во-первых, к новой Литовщине, в отличие от прошлого раза, Москва уже была готова. Тут и дальняя разведка не сплеховала, и в пограничных городах стояли достаточные рати. С разгону Ольгерд попробовал было взять Волоколамск. Пожгли посад, подступили к городу, но за его стенами

во всеоружии ждал многие виды выдавший волоцкий полк. Горожане предприняли вылазку и бились справно: свалили литовцев с моста, оттеснили за ров.

Промешкав три дня у Волоколамска, Ольгерд заспешил к Москве, досадуя, что утерял одно из своих любимых преимуществ — внезапность нападения. Но и под Москвой стояние оказалось не таким вольготным, как в прошлый раз. Разведчики донесли литовцу, что в Кремле сидит один Дмитрий, а Владимир ушёл ещё накануне и ныне со сборной ратью сосредоточился к юго-западу от Москвы, у городка Перемышля, за Протвой. А в тылу у Ольгерда — волоцкая и можайская рати. Да и напоследок не порадовали разведчики: оказывается, под Перемышль к князю Владимиру собирается подмога из-за Оки — сам великий князь рязанский Олег Иванович да пронский князь Владимир Дмитриевич, у них к Литве свои спросы и обиды.

Старый воин забеспокоился; походило на охотничью облаву, обкладывали грамотно, со знанием дела. Тут бы налегке выскользнуть, не ввязываясь, не вкатываясь в свалку, да, как назло, обозы отягощены: ещё до Москвы не дойдя, помародёрничали его воины вволю.

Но, может быть, ещё не всё так плохо, и он обкрутит этих молодых ребят, даже с выгодой для себя, с честью выйдет из положения, чреватого позором? И Ольгерд снаряжает к воротам Кремля послов с торжественно-громогласным предложением вечного мира. Ответ, полученный от Дмитрия, больно кольнул самолюбие великого литовского князя: о вечном мире говорить-де вовсе не время, впрочем, на перемирие Москва согласна — до Петрова дня, то есть на полгода.

В снисходительности ответа заключалась обидная для Ольгерда усмешка над тем, как легко он бросается большими словами. И боевой вызов на будущее читался здесь. Раздражала, выводила из себя эта неумолимая московская поступательность, не дающая ни на минуту зазеваться, увлечься. Ольгерд любил всегда сам предлагать свои условия, сам вести дело от начала до конца, а тут получалось, что его ведут за руку и даже слегка подталкивают, когда упирается. Но всё же за условие Дмитрия приходилось цепляться, принимать его поскорей и уходить домой совсем тихо, строго-настрого наказав своим, чтоб и куриного яйца не посмели брать, если даже оно на дорогу выкатилось. Да ещё наказал, чтоб оглядывались при отходе — и на Перемышль, и на Волоколамск, и на Можайск.

Так же тихо выходил к себе Михаил Тверской — и на него распространялось перемирное условие.

Но беспокойно было в Междуречье, беспокойно и за его пределами. Опять смущали людей небесные знамения. Рассказывали по городам и сёлам, а потом и в летописи вошло, что накануне второй Литовщины в разных княжествах, но в один и тот же день и час раздался средь ясного неба сухой громный треск. А осенью, перед тем как выпал снег, подпёрли небо какие-то червлёные столбы, и потом всю зиму ходили эти столбы под тучами, окрашивая сугробы и лица людей в красный цвет, даже и воздух по вечерам был густо-красен. В осенину снег выпал рано, нивы пропали под сугробами с несжатой пшеницей, а зимой так сделалось тепло, что снег повсеместно стоял, и люди жали тёмные хлеба с полуосыпавшимися колосьями, а что осыпалось, по весне вошло самосевом.

IV

Прошедшие события не научили Михаила Александровича, князя тверского, смирению, но, наоборот, подвигли его на ещё большую изобретательность. Разочаровавшись во всесии Ольгерда, он кинулся очертя голову в совсем другую сторону. Весна перемирия застала его с подарками в руках у шатров Мамаевой Орды.

Но для Мамаю, пожалуй, сейчас самым дорогим подарком был сам тверской князь, ибо к Мамаю и его ставленникам-ханам ещё никто из русских князей с просьбой о великом ярлыке на Белое княжение не являлся. Михаил пришёл первым, и как раз вовремя, потому что Мамаю уже все уши прожужжали о самовольствах московского Дмитрия, который и дань не платит, и каменную крепость выстроил, и нижегородского князя с великого стола сшиб, а тверского в темнице держал, а литовскому вечного мира не дал. Мамай давно бы уже приструнил Дмитрия, да всё было недосуг, связан по рукам непрекращающимися беспорядками в самом Улусе Джучи.

Но не зря помнил Мамай старую науку Узбек-хана: владимирский ярлык — игральная кость. А такому, как Михаил, если кость достанется, то уж полетят вокруг клочья, он её без драки не выпустит. Рано или поздно он, Мамай, ещё займется русским улусом как следует, а пока пусть грызутся друг с другом, всё легче потом будет скрутить и Дмитрия, и Михаила.

Тверской князь возвратился домой в сопровождении ордынского посла Сары-хожи — тот был уполномочен Мамаем присутствовать при торжествах венчания нового великого князя владимирского. Но, как лишь в Москве узнали об этих приготовлениях, Дмитрий Иванович повелел по

всем градам боярам и чёрным людям целовать крест на верность Москве и «не даватися князю Михаилу Тверскому и в землю его (Дмитрия) — на княжение Владимирское не пускати». Когда же от Сары-хожи поступило к московским князьям оскорбительное приглашение во Владимир — на венчание Михаила, Дмитрий Иванович ответил как истинный хозяин положения: «К ярлыку не еду, а в землю на княжение Владимирское не пущу, а тебе, послу, путь чист».

Но этим ответом не ограничился. Предполагая, что его противник, скорее всего, будет пробираться из Твери во Владимир нерльским водным путём, он вместе с братом Владимиром Андреевичем подвёл к Переславлю рать и перерезал здесь нерльский волок.

Михаил Александрович понял, что пробиваться на Клязьму бесполезно, и в досаде двинулся от Волги вверх — грабить пограничный с Тверским княжеством Бежецк и его волости — землю исконно новгородскую, где сидел наместник из Москвы. Ордынский же посол, по-своему истолковав выражение Дмитрия, что ему-де «путь чист», как ни в чём не бывало отправился гостить в Москву — в надежде и тут чем-нибудь поживиться.

Дмитрий Иванович принял его широко, с радушием и щедростью времён Калиты, как будто и не было слышано накануне никаких от Сары-хожи оскорблений. Входя во всё большее изумление от обилия яств и питий, утучнённый, обласканный и обложенный подарками посол наконец прямо-таки влюбился в молодого, красивого, доброго, открытого нравом и хитрого — ой, какого хитрого! — настоящего великого князя. Его восхищение выглядело столь бурным, что, похоже, он всю обратную дорогу до Орды и ещё в самой Орде беспрестанно будет трубить о добродетелях хозяина московского дома. В княжьем совете посмеивались: вон как распелся старый ханжа, а ведь перед Мамаем станет с постной рожей и на расспросы о том, много ли наполучал в Москве подарков, ещё, глядишь, и рассердится, и наплетёт, что чуть самого его Дмитрий не обчистил. Но как раз потому, что солжёт, где-то в глубине души — а она всё ж и у Сары-хожи имеется, — станет ему чуточку стыдно, и, может быть, когда-нибудь что-нибудь, хоть на самую малость, а сделает для Москвы полезного, уповав опять же на вознаграждение. По крайней мере, открыто вредить не станет, побоится огласки о полученных и утаённых дарах. Помни, Сары-хожа, московского кутежа...

Немного повременив, засобиравшись в Мамаеву Орду и сам Дмитрий Иванович. Похоже, не сразу, не без колебаний решился двадцатилетний великий князь владимирский на эту поездку. Когда-то, в мальчишеские

свои годы, ходил он в Сарай неопасливо, а если и смущали его страхи, то совсем детские, зыбкие, непрочные, да и каков был с него у ханов спрос? Ныне же Мамай о многом может спросить и прежде всего спросит за «самочиние»: как посмел не пустить тверского князя венчаться во Владимире? Или не знал, что ярлык отдан Михаилу по его, Мамаю, воле? Да и о «царском выходе» конечно же спросит.

Но семь бед — один ответ, не ехать совсем тоже нельзя. Мамай за последние годы значительно усилился; об этом можно было составить представление и здесь, в Москве, — достаточно лишь навестить кого-нибудь из менял и поглядеть, какие монеты ныне в ходу. А меняла с охотой покажет и расскажет, что монеты с именами нескольких поочерёдно сменивших друг друга Мамаевых ханов-ставленников чеканились и в Крыму, и на Северном Кавказе, и в Ас-Тархане, и в Тане, то бишь Азове. И хотя Сараем по-прежнему владеют в основном чингисхановичи из Синей Орды, но Мамай и к столице Улуса Джучи раз-другой уже было проломился и вот-вот обоснуется прочно и там. Но пока русские в Сарай не ездят, а навещают Мамаю в низовьях Дона, где летом обычно кочует ставка могущественного темника.

Туда-то и предстояло отправиться Дмитрию летом 1371 года. Его спутником стал ростовский князь Андрей Фёдорович, тот самый, что в годину распрей с суздальско-нижегородскими Константиновичами сохранил верность Москве, хотя и жил в Ростове, в ближайшем соседстве с её недоброжелателями. Андрею Фёдоровичу шёл пятый десяток — проверенный старший друг, рядом с ним спокойнее Дмитрию пускаться в рискованный путь.

Сопроводять двух князей в их плавании по Москве-реке собрался и митрополит Алексей, несмотря на свои годы, не располагающие к странствованиям, — ему было теперь около восьмидесяти лет. Плыл он с ними до самой Коломны, скрепляя советами, и тут благословил напоследок.

Это о нём, об Алексее, писал в 1370 году в послании своём к русским князьям Филофей, патриарх Константинопольский: «... вы имеете там вместо меня святейшего митрополита Киевского и всея Руси, мужа честного, благочестивого, добродетельного и украшенного всеми добрыми качествами, способного, по благодати Христовой, пасти народ, руководить его к приобретению спасения, утешать скорбные души и утверждать колеблющиеся сердца, как и вы сами знаете, изведав его достоинства и святость». А в грамоте, посланной лично Дмитрию Ивановичу, патриарх добавлял к уже сказанному: «...среди вас именно обретаю народ Христов,

который имеет в себе страх Божий, любовь и веру. Молюсь и люблю всех вас, повторяю, более других. Твое же благородство ещё более люблю и молюсь за тебя, как за сына своего, за любовь и дружбу к нашей мерности, истинную веру во Святую Церковь Божию и искреннюю любовь и покорность к святейшему митрополиту Киевскому и всея Руси, возлюбленному во Св. Духе брату нашей мерности. Я знаю, что ты искренно расположен к нему, любишь его и оказываешь ему совершенную покорность и повиновение, как он сам писал ко мне, и тем более я возлюбил тебя и молюсь о тебе. Поступай же, сын мой, точно так и вперед, дабы иметь молитву мою и на будущее время, и будешь иметь ещё большие блага: и жизнь беспечную и царство несокрушимое в настоящей жизни, а в будущей наслаждение вечными благами».

По Оке спустились они до устья Прони и, зайдя в неё, двинулись к волоку, связывающему окский приток с верховьями Дона. Так Дмитрий впервые увидел Дон, здесь ещё узковатый, много уже Москвы-реки, тот самый Великий Дон, испить шеломом воду которого почитали когда-то для себя воинской честью русские князья, не знавшие ига. Мог ли Дмитрий предчувствовать сейчас, что сюда, почти в эти вот самые места, ему ещё раз предстоит в будущем прийти — для дела страшного и великого?.. Миновали Острую Луку, Кривой Бор, устье Воронежа; и ещё были реки — Червлёный Яр, Бетюк, Хопёр, Медведица, Белый Яр...

Дон властно вовлекал их в игру поворотов, знакомую почти со времён детской зыбки и никогда не надоедающую; он сам ходил под днищем упруго, как колыбель, раскачивая берега, диковато-прекрасные, то глухо, неприступно оплетённые лесом, то обрывистые, с ослепительно белыми стогами известняка; почти из-под носа передового струга, трепеща оперением, тяжело взлетали дикие гуси, наискось пересекала реку выдра, медвежья семья плескалась на водопое, сквозь прорехи в кустарнике недоумённо поглядывали на людей козы и лоси; часто попадались бобровые завалы; куница на песчаном мыске наостряла ушко и нехотя отпрыгивала за корягу; шарахались в зарослях камыша лебединые выводки; на рассвете, после туманной глухоты, тысячеголосое птичье клекотание поднималось над Доном, как стон счастливой своим беспамятством твари. И право, птицам небесным нет дела до того, что они живут при Мамае, что было прошлое и будет будущее; они живут вне тока человеческого времени. Так же и человека мучительно томит иногда соблазн вырваться из своего постылого времени, погрузиться всем существом в этот птичий грай, в этот беспечный рай, выбросить из памяти все века с их кровью и поруганиями, освободиться от будущего, сулящего, пожалуй, всё ту же кровь, всё те же

оскорбления человеческой душе! И как просто, как легко! Стоит лишь пристать к берегу, и сделать два-три шага, и утонуть навсегда в дурманных кущах трав, в снотворных струях полуденного марева...

А иногда, наоборот, невнятным унынием, пугающей отчуждённостью веяло от берегов. Столько дней уже плывут — и ни жилья, ни дымка людского, только лодочник показывает на зелёные валы, волнующие своей рукотворностью: вот тут был русский город, и тут, и тут жили славяне. И как ни стараются из года в год трава, вода и лес, а не скрыть этих земных ран. Из-под облачного шатра видит их горняя птица и с болью затворяет в груди скорбный клёкот, потому что не радуют её ни обилие лебединых стай, ни тёмные косяки рыб.

Путники миновали Великую Луку и Перевоз — ордынский волок между Волгой и Доном, — и враз всё переменялось: по берегам дымят очагами становища кочевников, громадные табуны пестреют на зелени лугов. Слышно, эти места принадлежат Сары-хоже, тому самому Мамаеву посланнику, который недавно гостил в Москве.

Оказался ли Сары-хожа порядочней, чем можно было предполагать, умилил ли великий князь московский Мамая, хана и хатуней своей юношеской беззащитностью и открытостью, подействовал ли на них улещающе-тонкий подбор подарков, особой ли смёткой отличились спутники Дмитрия, но только удалось ему, казалось бы, невозможное: он в итоге вновь был пожалован великим княжением Владимирским. Конечно, на это ушло время — не одна неделя, даже не один месяц. Во все эти дни ему надо было предельно изодраться в терпении, не допускать и оттенка скуки и раздражения на лице, заставить их увериться в том, как он рад и счастлив гостить у них, как ему, дикарю, всё нравится у них, начиная от громадных охотничьих облав и кончая церемонной болтовней в кибитках хатуней; пусть видят, какой он преданный слуга, как он беспечен и по-юношески недалёк, как он жаждет расстараться для них ещё пуще, лишь бы не пакостили ему Михаил с литовцами. Тогда и «выходы» он будет слать им настоящие, как в дедовы времена.

Кроме всего прочего, тут был расчёт и на преимущество живого просителя перед заочным, отсутствующим. Этим именно расчётом воспользовался до него Михаил. Но теперь Михаил находился далеко и, как сообщали вновь прибывающие с севера купцы, самочинствовал на Волге (захватил Мологу, Углече Поле, Кострому, посадил в этих городах своих наместников). Когда Михаил был здесь, ордынцы вместе с ним боялись слишком резкого усиления Москвы. Но когда здесь Дмитрий, то они вместе с ним боятся слишком резкого усиления Твери. И именно с целью

поддержания противоборства сторон в русском улусе им сейчас выгодней переложить ярлык на московскую чашу весов.

Дмитрий, возвращавшийся домой в сопровождении Мамаевых послов, мог знать, что у них имеется письмо ханское к Михаилу и даже что в том письме примерно сказано: давали, мол, мы тебе княжение великое и силу ратную, дабы посадить тебя на то княжение, но ты рати нашей не взял, а сказал, что своею силой сядешь на великое княжение. Вот и сиди на нём с кем тебе любо, а от нас помощи не жди.

Не порадует, конечно, Михаил такому вот письму. Не очень-то он порадует и когда узнает, что Дмитрий увёз из Орды его, Михаила, родного сына Ивана. Получилось это так: Иван уже находился в ханской ставке, когда московский князь прибыл туда. Заимодавцы, которые числили за Тверью великие и давние долги, держали Ивана под стражей. Дмитрий исподтишка начал торговаться с ними, но заломили они цену дикую: десять тысяч московских гривен! Он-то, и к выезду в ставку готовясь, казну свою порастряс нещадно, и здесь Мамаю пообещал за ярлык громадную мзду, теперь ещё и им, собакам, подай десять тысяч! Не то что здесь, с собой, у него и дома теперь таких денег не наскрести. Но всё же скрепя сердце пообещал ростовщикам: коли отпустите тверского княжича со мной на Москву, выплачу вам дома, что просите. Так и пришлось плыть вверх по Дону с ненавистной свитой откупщиков. Но очень уж Дмитрий надеялся, что, может быть, хоть это обстоятельство — наследник тверского престола, сидящий заложником в стенах кремля, — наконец-то укротит неумного Михаила Александровича.

V

Москва встретила своего великого князя вестью о благоприятном исходе перемирия с Литвой. В отсутствие Дмитрия в его столицу приезжало посольство от Ольгерда, которое по просьбе хитроумного литовца возглавлял его зять, городецкий князь Борис Константинович, несколько лет назад женившийся на одной из дочерей Ольгерда. Послы оказались одновременно и сватами: Ольгерд предлагал продлить перемирие до октября, по Дмитриев день, и пообещал ещё Елену, свою дочь, отдать за князя Владимира Андреевича. В перемирную грамоту — с московской стороны её скрепил печатью митрополит Алексей — вошло условие Москвы, по которому Михаил Тверской обязан был отозвать своих наместников и волостелей из захваченных им великокняжеских городов и

сёл, «а не поедут, и нам их имати». Если же в сроки перемирия Михаил опять станет «пакостити в нашей отчине, в великом княжении, или грабити, нам с ним ведати самим. А князю великому Олгерду, и брату его, князю Кестутю, и их детем за него ся не вступати».

Это последнее требование лишило тверского князя союзнической поддержки Литвы, но, сверх того, в нём содержалась одна особого свойства политическая тонкость, Ольгердом, может быть, впопыхах и просмотренная, а если и не просмотренная, то явно недооценённая, закрытая для него в громадности своих возможных последствий. Москва впервые называла здесь всё великое Владимирское княжение своей вотчиной. Московское правительство тем самым заставляло Литву (да и не только Литву) признать, что право на владимирский стол делается отныне наследственным правом московского княжеского дома. Это условие как бы мимоходом, почти нечаянно обронённое и затерявшееся между другими условиями грамоты, было начатком мысли о единой державии — той самой мысли, из которой позднее разовьётся идея Московской Руси, а затем и общерусской государственности. Впервые облечённая в словесную плоть и обнародованная летом 1371 года мысль о необходимости закрепления за московским домом наследственного права на великое Владимирское княжение до этого часа созревала подспудно уже в течение нескольких десятилетий. Это была мысль ещё Дмитриева деда, семечко из его сумы.

Вскоре по возвращении Дмитрия на родину приехало в Москву ещё одно посольство — из Великого Новгорода. В его состав входило шесть человек, представляющих епископа, посадника, тысяцкого и чёрных людей новгородских. Нужно было и с ними подписать новую грамоту — договорную, о правах и обязанностях обеих сторон по отношению друг к другу. Предыдущая московско-новгородская грамота силу утеряла, потому что в отсутствие Дмитрия его тверской враг принудил новгородцев (а кое-кому и принуждения не понадобилось, сами с радостью согласились!) заключить с ним договор как с великим князем владимирским. Теперь в Москве новгородцы отрекались от навязанного им Михаилом договора и письменно пообещали, что, если будет Дмитрию Ивановичу и брату его Владимиру «обида с князми литовскими или с тферьским князем Михаилом, Новугороду всести на конь», то есть оказать военную помощь великому князю московскому. Со своей стороны, и Дмитрий Иванович пообещал: «или будет обида Новугороду с литовским князем или с тферьским князем с Михаилом, или с Немцы, мне, князю великому Дмитрею Ивановичю всеа Руси, и моему брату князю Володимеру Новагорода не метати; любо ми самому быти князю великому в Новегороде

или брата пошлю, доколе Новгород умирю...» И в конце, как обычно: «А княжение вы великое мое держати честно и грозно, без обиды; а мне, князю великому Дмитрею Ивановичю всеа Руси, держати Новгород в старине, без обиды».

Сын Михаила по-прежнему содержался в Москве в качестве заложника, и это, казалось бы, принуждало тверского князя вести себя предельно смирно. К тому же зимой состоялась знаменательная свадьба: Владимир Андреевич ввёл в свой кремлёвский двор юную хозяйку — дочь Ольгерда, «нареченную во святом крещении Елену». Хотелось верить, что и эта женитьба будет иметь благотворные последствия и что отныне великий литовский князь не станет содействовать тверичу, не допустит никакого иного вероломства в отношении Москвы.

Зимой 1371 года было и ещё одно прибавление в московском доме — великая княгиня Евдокия родила своему Дмитрию Ивановичу второго сына. Мальчика назвали Василием. Род Ивана Калиты, в недавние времена совсем почти сошедший на нет, давал ныне новую цветущую леторосль! Скоро, знать, и у Владимира с его Еленой пойдут детишки — как-никак внуки Ольгерду, — взаимные обязательства русско-литовского родства превозмогут разрывную силу корысти и тщеславия, и недавняя вражда забудется навсегда, как сонное наваждение, как морок и блазнь. Дмитрий Иванович ныне стал сватом старому литовцу, Владимир — зятем. Приглядишься, так все почти вчерашние соперники уже в узах родства, пусть и не кровного, не самого ближнего. Старшие сыновья Ольгерда — Андрей Полоцкий да Дмитрий Брянский — теперь шурины Владимиру. А княжич тверской Иван, безбедно проводящий свои дни в Москве, в митрополичьих покоях, — он ведь великой княгине Евдокии двоюродный брат по материнской линии. И отчего бы, кажется, не зажить всем бессоромно да согласно, ездить друг к другу на свадьбы, возглашать здравицы и песни петь за богатым столом, а придёт пора пиру кровавому с давним и истинным врагом — и на тот пир выйти всем вместе, стать нерушимой стеной. Но чует нечистая сила, что если окрепнет вконец русская семья, то надо, хвост поджав, уходить отселе насовсем. И потому кружит и кружит, нащёптывает то одному, то другому, всякую щёлку разъедает ядовитой слюной подозрения и зависти.

...Чуть ли не от свадебного застолья поднял великого князя московского сполошный звон — тверская рать ворвалась из-за Волги, Михаил Александрович осадил Дмитров, пожёг множество окрестных сёл, взял с дмитровцев откуп, увёл с собою великий плен. Одним махом всё проделано, с разбойничьей поспешностью, так что и выступить на помощь

Дмитрову опоздали, хотя до него рукой подать — дневной переход для конных.

Не успели свыкнуться с этой вестью, а ей новая на пяты наступает, ещё чудней. Разграблены переславльские волости, взят откуп с самого Переславля, сожжён его посад — и всё это по наущению тверского каина произведено кем же? Новыми московскими родственничками! Дядей княгини Елены Ольгердовны Кейстутом, родными её братцами Андреем и Дмитрием да Витовтом Кейстутьевичем. Тайком подкрались и, видать, надеялись, что останется тайна их татьбы нераскрытой. Как же, ведь неудобно так-то, не протрезвев ещё сполна после московской свадьбы. А сам Ольгерд небось будет разводить руками: он, мол, не знал о самовольных намерениях сыновей и брата, а знал бы, так не допустил ни за что...

Вероломность и оскорбительность этого удара были тем чувствительней, что он пришёлся в самый не подходящий для Москвы час, когда Дмитрий вынужден был спешно стягивать свои лучшие воинские силы в противоположную от Дмитрова и Переславля сторону — к окскому рубежу. (Но об этом — рассказ отдельный.)

Тем временем на севере события подгоняли одно другое. На обратном пути от Переславля литовцы с ведома Михаила погромили Кашин и его окрестности. Сам Михаил поднялся вверх по Тверце, занял Торжок и посадил в нём своих наместников.

Возмущённые новгородцы не заставили себя долго ждать. Торжок — древний пригород Великого Новгорода, выручать его поплыли отборные ватаги ушкуйников во главе с бесстрашным воеводой Александром Обакуновичем, героем походов на Югру и на Обь-реку. Ворвавшись в Торжок, они изгнали Михайловых наместников, перебили купцов да и всех прочих людей тверских «избиша и огню предаша». Со дня на день можно было ждать ответного удара из Твери, поэтому новгородцы совместно с обитателями Торжка спешно отстроили новые городовые укрепления на месте сожжённых Михаилом.

В последний день мая 1372 года великий тверской князь подошёл к стенам Торжка. Он был настолько уверен теперь в собственных силах, что даже вопреки привычке не попросил помощи у литовцев. Он вообще в эти месяцы, как никогда ни до, ни после, был быстр, удачлив, окрылён. Звезда его воинского счастья наконец-то вроде вспыхнула, и ему казалось, что так отныне будет всегда.

Новгородцы не пожелали унижить себя сидением в осаде и вывели полки в поле, за городовые стены. В их рядах находились и обитатели

Торжка, но большинство всё же составляли ушкуйники, не имевшие опыта сражений с княжескими дружинами. Их стихией было иное — лихим, бешеным смерчем пронестись по чужим торговым пристаням и базарным рядам, похватать купцов-иноземцев, жирных менял и ростовщиков. А тут надо было биться со своими же, русскими, да не с какими-то мужиками, вооружёнными дрекольем, но с опытными ратниками, от юной версты обученными делу войны.

Александр Обакунович и сейчас полагался на всегдашнее ушкуйническое везение. Удалая голова: в иные времена о нём, пожалуй, слагались бы былины, как о новом Алёше Поповиче, его слава превзошла бы славу Садко и Васьки Буслаева, ребятишки новгородские мечтали бы повторить его подвиги. Но понапрасну сгинула немереная его сила. Вышли свои против своих, обнажили мечи, распялили рты криком, а глаза ужасом, запятнали друг друга позором, оскорбили смертной болью. Тверичи, хоть и меньшие числом, выступали уверенней, напористей. Новгородская живая стена стала крошиться, здесь и там пошла трещинами, не выдерживая лобового толчка. И — посыпались, целыми толпами повалили, кто за городские укрытия, а кто и вон из Торжка, куда глаза глядят. Ветер дул отступающим в спину, тверичи смекнули и подпалили посад. Пламя свистящей колесницей понеслось на город, часы и минуты Торжка были сочтены. Страшное зрелище — людское безрассудство, удесятёрённое безрассудством огня. Сотни людей надеялись спастись под сводами собора, но задохнулись там от дыма. Многие бросались в Тверцу, но на них сыпались сверху горящие головешки. Матери хватали детей на руки и, обезумев, бежали прямо на копья тверичей.

Литовщина не оставила, да и не могла оставить после себя ни блестящих сражений, подробности которых было бы поучительно оценивать военным историкам, ни выдающихся проявлений человеческого духа, ибо он был унижен необходимостью братоубийства. Она оставила однообразный перечень вороватых набегов исподтишка, грабежа и насилий среди мирного населения, целый список обугленных городов, посадов и сёл. Сожжение Торжка стоит в этом списке на первом месте. В погроме новгородского порубежного пригорода на Тверце бессмысленность Литовщины проявилась с особой, вопиющей наглядностью. Дальше, как говорится, было некуда. И всё-таки Торжок ещё не стал подытоживающей строкой в безобразно расплывшемся перечне преступлений этой многолетней войны.

В одном из писем к константинопольскому патриарху Ольгерд, жалуясь на митрополита Алексея и вообще на Москву, доносил, что восточными соседями отнят у него, у Ольгерда, ряд городов, в том числе Великие Луки, Ржева, Березуйск и Мценск. В этом ряду особенно красноречивы два последних названия. Березуйск — смоленский городок на границе с Московским княжеством, тяготеющий к последнему. А Мценск, стоящий в верховьях Оки, на одном из её притоков, казалось бы, совсем уж далёк от литовских пределов. Почему же Ольгерд считал его своей собственностью?

Тем не менее литовец так считал и, должно быть, уже давно. Не с тех ли пор, когда от первой жены досталось ему под руку Витебское княжество? Литовская летопись о размерах последнего сообщала, что оно «растяглось от реки Березины аж до реки Угры в Москве». На совести летописца — географическая точность этих сведений, но то, что окская Угра и впрямь могла оказаться водной границей между владениями Дмитрия Московского и Ольгерда, подтвердят нам ближайшие события. В своих представлениях о желательных размерах великого Литовского и Русского княжества Ольгерд рассчитывал на постепенный охват Междуречья с двух сторон — с северо-запада и юго-запада. Если до сих пор его владения распространялись в основном вниз по течению Днепра и по его притокам, то следующим шагом будет захват волжского Верха и днепровско-окских волоков. Ока мерцала в его мечтаниях серебряной жилой. Овладеть верховьями, а затем и срединным течением Оки — значит перерезать пути, по которым Москва сносила с Константинополем, по которым она ведёт торговлю с Востоком и сурожанами. Породнившись недавно с московским домом, Ольгерд вовсе не собирался выкинуть напрочь из головы свою заманчивую «речную мысль». Да и роднился он не для того, чтобы отныне меч его ржавел в ножнах, не видя свету, не чуя ветра, не вкушая горячего вражьего тела. Дело брачное и дело бранное существовали в его сознании совершенно отдельно, будто тяжкий межный валун намертво улёгся между ними; как это первое дело может второму помешать?

Не давала покоя старому честолубивому полководцу и память о двух бесславных стояниях его конницы у стен Кремля и досада оттого, что он ни разу так и не выманил московских молодцов в открытое поле. Ему бы открытого поля — уж здесь-то он напоит допьяна и свата и зятя.

В июне 1373 года Ольгерд Гедиминович скрытно — по крайней мере, ему представлялось, что, как и всегда, это получится у него скрытно, — провёл свои войска между верхнеокскими притоками — Пахрой и Угрой — и объявился у городка Любутска (на современных картах городок этот отсутствует, но, по мнению Н. М. Карамзина, местоположение Любутска известно: село Любудское Калужского уезда).

Этот литовский приход к юго-западным рубежам его земли не удивил Дмитрия Ивановича: Ольгерд и в первую Литовщину сюда же — на союзные Москве Тарусское и Оболенское княжества — нацеливал силу первого удара.

Да и сама литовская рать была в уже привычном для русской разведки составе: оба Гедиминовича со старшими сыновьями; 12 июня здесь, под Любутском, к Ольгердовым полкам присоединилась тверская рать, которую привёл Михаил Александрович. Ольгерд мог быть наконец доволен: московскую силу, вышедшую на противоположный конец поля, возглавлял сам Дмитрий (зятя Владимира, правда, не было, тот находился в Новгороде, помогая вечевикам залечивать раны торжокского разгрома и своим присутствием оттягивая к новгородскому рубежу часть тверского воинства).

Впрочем, удовольствие, которое доставлял Ольгерду вид готовящихся к сражению ратей, слегка подтачивалось беспокойством. Он всё-таки не предполагал, что его продвижение будет так точно расчислено противником и что Дмитрий решится выйти ему навстречу так далеко. Это его беспокойство, похоже, и предопределило дальнейшее развитие событий.

Зная, что Ольгерд всегда любит навязать собственные условия боя, Дмитрий постарался упредить противника и первым нанёс удар по сторожевому литовскому полку. Удар наносился наверняка, превосходящими силами, и этот риск оправдал себя. Молниеносный и полный разгром сторожевого заслона отозвался в стане Ольгерда смятением. Такой решительности от Дмитрия никак не ждали. Может быть, задним числом литовец и укорял себя за то, что переусердствовал в опасливости, но сейчас собственное положение представлялось ему настолько неприятным, что, с трудом наведя порядок в полках, он приказал отводить их за глубокий овраг. К счастью для него, москвичи не догадались тут же нанести второй удар. Рати заняли противоположные берега обрывистого, поросшего лесом оврага, и таким образом нечаянно возникло нечто наподобие перемирия; та из сторон, которая бы отважилась преодолеть препятствие, ни за что не была бы допущена на другой берег оврага — его дно стало бы для неё готовой могилой.

Стояние длилось несколько дней. Для Дмитрия в этом стоянии не было ничего унижительного — не он пришёл разбойничать в чужую землю. Он оберегает свои пределы — и только. А вот Ольгерда вынужденное бездействие на виду у московской рати удручало донельзя. Получалось, что каждый его следующий приход в Междуречье (а сейчас даже и не дошёл) выглядит невзрачней предыдущего.

Мир без настоящей войны не прибавит ему славы как полководцу, но это, может быть, уже последний в его жизни поход, так пусть лучше внуки вспоминают миролюбивого Ольгерда, чем деда, хлебнувшего напоследок из чаши позора. Между разделёнными оврагом ратями наконец завязались переговоры, стороны — в который уже раз! — обменялись перемирными грамотами. Исход третьей Литовщины был явно в пользу Москвы.

Впрочем, потомки великого литовского князя поминали его не как миротворца, но именно как неоспоримого и безусловного победителя. Много позже событий появилась в литовско-польских хрониках красивая, с оттенком рыцарской похвалы, легенда, героями которой стали Ольгерд и Дмитрий Московский. Последний якобы снарядил однажды к великому литовцу своего посла, который вручил ему красноречивые символы раздора — огниво и саблю, а к подарку присовокупил устное обещание Дмитрия: «Буду в земле твоей по красной весне, по тихому лету». На что Ольгерд, вынув из огнива кремень и трут, подпалил его и, отдавая послу, сказал: «Свези это господину своему и скажи ему, что и у нас в Литве огонь есть. А я, даст Бог, приду к нему пораньше, на Велик день, на красную Пасху, да поцелую его красным яйцом, да с Божьей помощью к его городу Москве копьё своё прислоню». И вот, продолжает легенда, на самую Пасху, когда Дмитрий после праздничной заутрени с князьями и боярами вышел из своего кремлёвского собора, Ольгерд со всей литовской силой, распустив по ветру воинские хоругви, показался на Поклонной горе. Перепуганный Дмитрий якобы сам выехал к нему со многими дарами — золотом, серебром, жемчугами, соболиным мехом и всяким прочим «дорогим и дивным зверем мохнатым». Великодушный литовец простил его, но всё же настоял на том, чтобы прислонить ему, Ольгерду, своё копьё к стенам московской крепости. А исполнив это желание, обратился к Дмитрию: «Княже великий московский, помни же, что копьё литовское стояло под Москвою».

Копья литовские, как мы помним, действительно стояли под стенами Кремля. И даже не один раз. Но не вприслон стояли, а нерешительно колеблясь в воздухе. Тут, впрочем, не в подробностях дело. Подлинные, в зловещие тона окрашенные события Литовщины всей своей сутью как бы

одёргивают и пристыжают нарядную побасёнку.

Глава седьмая

Рязанцы

I

В те самые времена, когда Михаил Тверской грабил окрестности Дмитрова, а брат Ольгерда Кейстут с сыном и племянниками разорял переславльские волости, Дмитрий, как уже упоминалось в предыдущей главе, вынужден был свои лучшие воинские силы стягивать в совершенно противоположном направлении — к окскому рубежу.

Отношения с южной соседкой — Рязанью — резко ухудшились в 1371 году. Перемена эта могла показаться со стороны тем более неожиданной, что накануне, а именно во дни второго похода Ольгерда на Москву, рязанцы поддержали её открытыми ратными приготовлениями: сам Олег Иванович вместе с двоюродным братом Владимиром, князем пронским, повёл свои полки в помощь Владимиру Андреевичу, стоявшему у Перемышля, и, может быть, именно известие о передвижении рязанского войска в направлении к Оке окончательно смутило Ольгерда, заставило его срочно просить мира у Кремля.

В летописи ничего не говорится о непосредственных причинах остуды в отношениях между Москвой и Рязанью, но некоторый свет на эти причины проливает подоплёка ссоры, которую приводит в своей «Истории Российской» В. Н. Татищев. Летом 1371 года Олег Рязанский (видимо, во время личной встречи, состоявшейся у него с Дмитрием, следовавшим в Мамаеву Орду или обратно) просит у него «за приход на Ольгерда» город Лопасню, стоящий на южном, рязанском, берегу Оки.

В этой главе вообще придётся многое и о многом вспоминать. Начнём с Лопасни. 1353 год. Отец Дмитрия-младенца Иван Красный отбыл в Орду за великим ярлыком. В его отсутствие рязанцы — «князь же их Олег Иванович тогда еще бе млад» — нападают на Лопасню и легко овладевают ею. Неизвестно, когда москвичи вернули себе эту пограничную крепость, но в 1371 году она уже не принадлежит рязанскому князю, и он на сей раз надеется заполучить её мирным путём.

Дмитрий готов исполнить любую иную просьбу Олега, однако не эту. Лопасня слишком важна для нынешних и будущих судеб московского дома,

может быть, не меньше, чем Коломна. Лопасня — удобнейшая смотровая точка великокняжеской обороны на всей верхней Оке; Ока же, в свою очередь, осмысливается ныне как самая надёжная естественная преграда на путях ордынцев в срединные области Руси. Нужно сделать так, чтобы впредь ни один вооружённый басурманин не смог перебраться на московский берег Оки.

Впрочем, Дмитрий вряд ли стал раскрывать перед своим собеседником эти предположения относительно будущего значения Оки, созревшие в великокняжеском совете. Что до Лопасни, то он её не отдаст потому хотя бы, что помощь рязанцев против Литвы, по сути-то, оказалась мнимой, недействительной. «Олег стоял только на меже, — поясняет Татищев, — а Москву оборонять не шёл, и Ольгерд коло Москвы пустошил».

Однако, не желая совсем уж избидеть Олега — поди разберись, что у него ныне на душе и как воспримет он отказ, — Дмитрий пообещал ему по возвращении из Орды подумать ещё вместе о судьбе пограничных вотчин, положить о них соответствующий взаимоприемлемый «уряд». Ведь окская речная межа, разделяющая соседние княжества, не вполне совпадает с их истинными границами: тут Москва за рязанский берег зацепилась, там, глядишь, рязанцы живут себе на московском берегу и в ус не дуют. Порядка в этом маловато, возможности для мелких перебранок очевидны, но договориться хоть как-нибудь пора, нельзя же по любому поводу раздувать ноздри и нахлобучивать на лбы тяжёлые шеломы.

Великий князь рязанский Олег Иванович был старше Дмитрия лет на 12–15, отцовский стол он занял в год рождения Куликовского героя, а пережил его на тринадцать лет. Двух соседей связывали переменчивые, подчас невыносимо сложные, до крайности запутанные отношения.

«Самый упрямый русский человек XIV века» — так назвал Олега В. О. Ключевский. Упрямство это не было сосредоточенностью на какой-то горячечной головной идее, как у Михаила Тверского. Это было подспудное упрямство в желании хотя бы выжить, в желании существовать любой ценой, во что бы то ни стало. Не одному, разумеется, выжить и существовать, но вместе со всей своей горемычной рязанской землёй. Как и Михаил, Олег был более чем незауряден. Как и Михаил, он, сам того подчас не подозревая, нередко толкал новую, только что нарождающуюся Русь назад, в пучину всепоглощающих междоусобных склок. Но при всём том это были очень разные люди и совсем по-разному относился к ним Дмитрий.

У Олега Рязанского во всей его деятельности не ощущалось политических намерений общерусского размаха. По многим личным

достоинствам — отважности, решительности, гибкости ума, ловкости, а где надо, и изворотливости — он достигал того уровня, на котором вполне мог бы владеть великим Владимирским княжеством и, вероятно, был бы не из худших на этом месте. Но Олегу это место было заказано отродясь и даже изначально, ибо никто в древнем роду великих князей рязанских и часа единого не сиживал на владимирском столе. У Рязани имелась своя старая и притом блестящая когда-то слава местная. Рязани, в общем-то, вполне хватало и такой. Тут всегда с охотой вспоминали, что столицу княжества основал сам князь Святослав Игоревич во время своего похода по Оке на завоевание Хазарии. Вспоминалось почти сказочное богатство той столицы, расцвет ремёсел и художеств, весёлое торговое соревнование с Киевом и Новгородом, Владимиром и Булгаром. Но далее воспоминания резко сокращались в размерах и окрашивались в один, преобладающий над всеми остальными цвет — алый, жертвенно-героический. Достойная отповедь рязанцев Батыевым послам... губительный своими последствиями для всей Руси отказ великого князя владимирского на просьбу Рязани о военной помощи... страшное разорение города... отчаянная отвага Евпатия Коловрата... А потом — бесконечный горестный синодик дорогих имён: княжеских, боярских и простолюдинов, всех, кто сгинул в неволе, от голода и жажды, от побоев и пыток, распятые, четвертованные, кинутые на съедение псам, проданные в краесветную чужбину. Те же, кто не был убит и угнан, но чудом утаился в лесных дебрях, так и не вздохнули спокойно до самой смерти, потому что почти каждое десятилетие повторялись великие ордынские наезды — и в 1278-м, и в 1288-м, и в 1308 годах, — а между великими и неучётно было средних и малых.

Как было не оскудеть рязанскому народу числом и духом, городами и землями? Память печалила, мучила, казнила, раздражала. Раздражение обращалось не только в сторону Орды. Не забывались давнишние, ещё домонгольские распри с великими князьями владимирскими и их удельным окружением. Когда-то рязанский рубеж касался, можно сказать, самых околиц Москвы, а на восток простиралось княжество далеко за Муром, а на запад — за Козельск, а на юг — за Елец. Не всё же одни ордынцы отняли. Нет, не забыто отторжение Москвою Коломны! Не забыт московский плен и убиение рязанского князя Константина людьми Юрия Даниловича! А Лопасня та же? Разве не была она рязанской, когда ещё Москва из лесу «ау» кричала?

Олег Иванович не домогался чужого и во хмелю не бредил он о Белом княжении, не звал никогда на соседа третью силу, но своего, кровного, он

никому и ни за что не хотел уступать. Есть ли кто несчастней на несчастной Руси, чем рязанские сироты? И им ещё чинить обиды! Какие бы доводы ни приводил ему Дмитрий насчёт Лопасни, а она должна быть возвращена своему настоящему хозяину.

Так, в страстном порыве к справедливости, ограниченно понимаемой, Олег способен был зацепиться взглядом на какой-то одной точке, надолго забыть напрочь про всё остальное, про русское целое, которое больше Рязани, больше Москвы. Для него Москва, как и для многих его современников, всё ещё была одним из русских княжеств, ничем качественно от них не отличающимся. Ей просто везло и везёт, но всё это может сто раз измениться, вперёд выступят другие, но и они возобладают лишь на время, условно, по указке ли Орды, по внутреннему ли согласию княжеств-соседей. Основой же русского миропорядка, как и в прежние века, останется закон множества равнозначных великих княжеств, самостоятельных и самодостаточных. Одним из таких княжеств была, есть и будет земля рязанская.

Увлекающийся, страстный, неуступчивый и ярый Олег Иванович! Похоже, и в самые мрачные часы их отношений Дмитрий не переставал — тайно от самого себя — любить рязанского князя, любоваться его самоотверженным, отчаянным, безрассудным стоянием за идею своей земли и своего рода — идею вечную, но не всегда высшую. Нет, к Олегу он относился совсем не так, как к Михаилу, совсем не так!

Исследователь русской политической письменности XIV века академик Л. В. Черепнин в своё время сделал на основании косвенных данных вывод, что в 1371 году, вскоре после вторичного ухода Ольгерда из-под стен Кремля восвояси, между великокняжеским правительством и Рязанью был заключён договор (грамота не сохранилась), определявший условия дальнейшего добрососедского жительства. Не это ли событие имел в виду и Татищев, приведший подробности разговора двух князей о Лопасне и обещание Дмитрия положить «уряд» о порубежных вотчинах?

Черепнин, однако, считает, что причина последовавшей ссоры — не спор о Лопасне, а попытка Москвы вбить клин в отношения между Олегом и его двоюродным братом Владимиром, князем удельного Пронска. Доказательство учёного строится на одной многозначительной, по его мнению, подробности в содержании перемирной грамоты Москвы с Ольгердом. По этой грамоте литовец обязывался не воевать с союзниками Дмитрия, в том числе с «великими князьями» Олегом и Владимиром Пронским. Безусловно, подобная «описка», узнай о ней Олег, могла нешуточно обидеть рязанца. Пронск был вторым по значению городом в

его земле, а вовсе не самостоятельным, независимым, да ещё и «великим» княжеством. В подобной «описке» Олег вправе был бы углядеть желание Москвы поссорить его с двоюродным братом, войти в тайный союз с пронским князем.

Сам Дмитрий, как мы помним, не принимал участия в составлении этой грамоты, он находился тогда в Мамаевой Орде. Но всё равно за «описку», за смысл нехорошей затеи он обязан был полностью отвечать.

Следуя за ходом рассуждений учёного, можно согласиться с тем, что «описка» соответствовала определённой затее и что это вообще был излюбленный, не раз применявшийся правительством Дмитрия Ивановича приём политического ослабления князей-соседей. Приём состоял в умении найти в великом княжении сильного соперника какого-нибудь недовольного, тщеславного удельца, поддержать его и противопоставить своему противнику. Доказательством того, что так и Москва поступала, вроде бы служит пример с Тверью: Дмитрий Иванович много лет подряд действовал в пользу кашинских князей — сначала Василия Михайловича, а потом и его сына Михаила, помогая им против своего недруга, тверского великого князя.

Конечно, политическая повседневность далека от идиллии. Здесь внешние проявления то и дело не соответствуют истинным подоплёкам; обещание расходится с воплощением, слово с делом, враждебность прикрывается дружелюбной улыбкой, обман в игре почитается за доблесть, подозрительная осмотрительность гораздо больше в чести, чем благодушное доверие, и т. д.

Но было бы ошибкой считать, что в политике есть только эта её «греховная» сторона, что вся политика сводится лишь к набору некоторых механических приёмов, обманных ходов, игровых передержек, что наконец побеждает в политике лишь тот, у кого в запасе больше этих самых механических приёмов и способов обхитрить противника.

Если борьбу русских князей XIV века за политическое первенство рассматривать, допустим, только на уровне механически осмысляемых понятий «сила» — «слабость», то ясно, что каждая из «сил» обязана и даже обречена была для своего распространения выискивать у противоположной «силы» те или иные её «слабости» и возрастать именно за их счёт. Очевидно, что к таким чисто механическим противостояниям и противоборствам не могут быть применены никакие нравственные оценки. Тут каждая из сторон полностью подобна другим и в своей «силе», и в своей «слабости», и в своей «греховности».

Но если в этой борьбе подмечать не только её механическую,

находящуюся на поверхности очевидность, но улавливать глубинные, корневые, долговременные побуждения, то общая картина резко усложнится и возникнет возможность для применения нравственных оценок, для определения правых и виноватых или, по крайней мере, более правых и более виноватых.

Так, два ратника, сойдясь в рукопашной схватке, равно пышут гневом и, осыпая друг друга ударами, стараются выискать в противнике слабые места, делают всевозможные обманные движения, ловко уворачиваются, стремятся достать соперника сбоку, заскочить с тыла, и в этой механике боя, в одинаковом стремлении одолеть другого они равны и взаимно грешны. Но если знать, что один заявился в чужую землю с целью пограбить, а другой вышел защитить свою землю от грабежа, то механические приёмы и ратные хитрости второго полностью или хотя бы отчасти оправдываются.

II

Желание отспорить Лопасню всё же никак не давало покоя Олегу Ивановичу. Он ждал удобного случая и дождался: московские полки ушли за Волгу — отбивать у тверичей Бежецкий Верх. Тогда-то по глухим внутренним дорогам, оставляя Оку правее, чтобы коломенская разведка их не углядела, рязанцы добрались до речки Стрелицы и на крутом холме, закрывающем от них окскую пойму, увидели прямо перед собой Лопасню — городок, укрепленный с напольной, рязанской, стороны сразу тремя валами и рвами. Земляные эти укрепления опоясывали холм полудужьями, одно выше другого. Часть рязанской рати вышла на Оку, уже прочно замёрзшую, и таким образом была перерезана возможность для связи осаждённой Лопасни с московским берегом...

О том, что вчерашний союзник нанёс ему исподтишка удар в спину, Дмитрий узнал, находясь в своей походной ставке во Владимире. В происшедшем вроде бы имелась и часть его, Дмитрия, вины: обещал ведь недавно Олегу положить «уряд» о пограничных волостях, да руки вот не дошли. Но мог бы, кажется, и Олег подождать, видя, сколько новых воинских забот у Москвы на волжском пограничье. Нет же, если чего он и ждал, то как раз времени, когда Москве станет не до него. Как ни опасно сейчас ослаблять волжский рубеж, но и оставить без последствий проступок рязанца Дмитрий не мог. Сегодня Лопасня, а завтра, взбодрённый своей безнаказанностью, Олег, глядишь, и на Коломну

посягнёт. Но неужто во всю ещё жизнь разрываться вот так — вверх и вниз, направо и налево, не зная роздыху, на всякий день ожидая новой беды? Да и есть ли хоть какой смысл во всей этой маете, в беспрестанном метании полков от рубежа к рубежу, от прорехи к прорехе? Как будто границы его — старый тын, который то и дело нужно подпирать и латать то в одном, то в другом месте!

14 декабря 1371 года великокняжеская рать ушла на Рязань. Возглавить её Дмитрий Иванович поручил своему тёзке, князю Дмитрию Михайловичу, не так давно приехавшему на московскую службу из дальней Волыни. Когда-то одна из самых густозаселённых и богатых земель Киевской Руси, ныне Волынь сильно запустела, на неё зарились одновременно Орда, Польша и Литва, не оставляя ей надежд на возрождение самостоятельной, собственно русской власти. Дмитрий Михайлович затомился и решил податься в края, где был бы ему, воину, простор для настоящего дела.

Волынец, или, как его ещё прозывали, Боброк, сразу пришёлся по душе москвичам. Он приехал явно не для того, чтобы подкормиться несколько лет на каком-нибудь спокойном наместничестве и потом податься к иному хозяину.

Истовый боец в любой повадке проявит себя — в том, как безошибочно, и краем глаза не глядя, просовывает носок сапога в стремя; в том, как царственно, будто на троне, сидит в седле; в том, как невозмутимо ложится спать на холодную землю, укрывшись одним лишь пёстро расшитым княжеским корзном. Не о таких ли говорится в древних былях, что они под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены? Он умеет по копытным следам исчислить величину вражеского отряда. Он знает травы, от которых кровь тут же перестаёт сочиться из раны. Он по голосам птиц угадывает точно, есть ли кто чужой в лесу.

Сколько княжеств пересёк Дмитрий Михайлович, пока добрался сюда от своей родимой Волыни, сколько переплыл рек, сколько перепрыгнул шляхов, и копытом не чиркнув о песок, а не заблудился ни разу и здесь ездит невозмутимо, будто с детства знает наизусть все залесские дороги и беспутки, тропы и русла.

Поход на Рязань стал первым большим и самостоятельным поручением Москвы Дмитрию Боброку. Под его руку великий князь придал несколько воевод. Рать ушла, взмешивая копытами рыхлый, ещё не прилежавшийся толком снежный покров, над которым тут и там торчало рыжее и серое травное быльё, до поры не погнутое вьюгами, не заваленное

сугробами.

Уж что-то и не помнилось, когда ходили таким вот великим числом на рязанцев. Каковы-то будут они в бою? Думать хорошо о своём враге не в привычке воинов. И потому, пока ещё не сцепились на бранном поле, нелишне выбрать как следует противника словом. Московские говоруны, по обыкновению своему падкие на слово хлёсткое, бойкое да заковыристое, в походе перемыли-таки косточки рязанцам; тем, должно быть, и икнулось не раз. Ишь ведь, распрыгалась, рязань косопузая, в гриву её и в дышло, в хвост её и в хомут!.. Мало их татарове с одного боку греют, хочется, чтоб и с другого подсыпали? И подсыплется им! За Коломну — колом били, за Лопасню — отлупасим! Бранчливая повадка московского просторечья с его ворчбой, наигранной и внутренне благодушной, похоже, невольно передалась и летописцу, когда он повествовал о рязанских воинах, о том, в каком настроении и с какими намерениями вышли они навстречу московской рати. Вот это выразительнейшее описание: «Рязанцы же люди сурови, сверепы, високоумни, горди, чаятелни, вознесшеся умом и возгордевшеся величием, и помыслиша в високоумии своем палоумныя и безумныя людища, аки чюдища и реша друг к другу: „...не емлите с собою доспехов, ни щитов, ни копий, ни сабель, но токмо емлите с собою взени (то есть арканы) едины, и ремение, и ужища, ими же начнете вязати Москвичь, понеже суть слаби, и страшливи, и некрепки“».

Конечно, пристрастность летописной брани налицо. Рязанское хвастовство вряд ли было на самом деле таким безоглядным, что на сражение пошли без щитов, копий и сабель. Но более чем столетнее непосредственное соседство с Ордой не могло не наложить своего мрачного отпечатка на образ поведения рязанцев. Понятны истоки особой рязанской «суровости» и «свирепости». Понятна и причина чрезмерного «высокоумия»: естественное право на достоинство и честь постоянно втаптывалось в грязь, что и дало наконец вывихнутый росток гордыни.

Рязанцы переняли от Орды многие навыки и приёмы ратного дела и прежде всего научились у степных соседей пользоваться арканами. На эти-то арканы — «ремение» и «ужища» — и понадеялись, видимо, ратники Олега как на главное своё преимущество в предстоящем сражении.

Брань, по летописи, произошла «на Скорнищеве», или, как у Татищева, «на Скорневцеве». Московское войско переправилось через Оку и углубилось в область Олега Рязанского. У того же Татищева о сражении читаем: «Брань люта, и сеча зла, рязанцы убо биющеся крепце». Эта картина беспощадного поединка двух противников может быть дополнена подробностями никоновского летописца, весьма насмешливого по

отношению к воинам Олега: «Рязанцы убо махающиеся вензми, и ремением, и ужищи и ничтоже успеха, но падоша мертвые, аки снопы, и, аки свиньи, закланы быша».

Арканы хороши в поединке, единоборстве, в погоне или в тот час боя, когда сплошные ряды противников раздробятся, появятся свободные пространства и одиночные живые цели. То ли рязанцы не научились ещё как следует владеть татарскими арканами, то ли Дмитрий Боброк, быстро сообразившись с обстановкой, от начала до конца держал свои полки плотным стеноподобным строем, но заёмное оружие подвело Олега, и он бежал, сопровождаемый малым остатком разбитой рати. Но куда именно? В непроходимые, заболоченные леса Мещёры? В верховья Прони? Или ещё дальше — в области, пограничные с брянцами и литовцами? И у кого он мог просить помощь? И на чью поддержку надеялся?

Известно, что в числе бояр и воевод рязанского князя имелись выходцы из Орды, принявшие православие, один из них даже женился на дочери Олега. Но эти люди были и сами беглецами, они приехали в Рязань сам-друг, а вовсе не во главе сотен, до зубов вооружённых. Так что Олег мог надеяться лишь на себя: на то, что сумеет вовремя исчезнуть в лесной темени, вовремя нанести оттуда неожиданный удар. Не было случая, чтобы, потерпев поражение, он хоть раз отважился укрыться за стенами Рязани и переждать там осаду. Судя по всему, его столица сплошь деревянная, то и дело предаваемая огню ордынцами, не имела даже более-менее надёжной крепости.

Вот и теперь, ускользнув с поля боя, Олег устремился не в Рязань, но куда-то ещё — в лесные, заваленные снегом глухомани.

Естественным шагом Дмитрия Ивановича, который он и предпринял, узнав о победе под Скорнищевом, было занять Рязань. Но, конечно, занимать её следовало не своими собственными войсками. Не могло быть и речи о том, чтобы отныне прекратилось самостоятельное существование великого княжества Рязанского. Олега надо было только наказать, и он примерно наказан. Не одним лишь уроном живой силы и позором бегства, но известием — быстро ему донесут, — что в Рязань въехал и посажен на великий стол его двоюродный брат Владимир Дмитриевич, князь пронский.

Однако в ту же зиму, отсидевшись неведомо где и неизвестно откуда прикопив сил, рязанец приступил к своей столице и изгнал брата-самозванца — ставленника Москвы. Жалел только, что удалось родичу ускользнуть из его рук. Вскоре, правда, пронского князя поймали, и Олег привёл его «в свою волю». Видимо, принуждение подчиниться оказалось насильственным. Неизвестно даже, был ли Владимир Дмитриевич в конце

концов отпущен домой. Слухи об этих событиях до Москвы доходили невнятные. Вот ведь она, Рязань, совсем близко, но Дмитрию Ивановичу, как ни странно, лучше были известны дела ордынские, чем то, что происходило сейчас в сумеречно-молчаливом Заочье.

Минул год после боя у Скорнищева, и московский великий князь узнал, что Владимира Дмитриевича Пронского больше нет в живых. Загадочная скоропостижная кончина заставила предполагать, что тут не всё чисто и что, приводя двоюродного брата в повиновение, Олег его порядочно «примучил». Впрочем, не зная истинных обстоятельств смерти, решили не давать догадкам волю. Дмитрий мог только посожалеть, что лишился ещё одного человека, который, кажется, доверял московскому делу и смотрел на вещи более широко, чем его ныне здравствующий родственник.

Да, ордынскую подноготную Дмитрий знал, пожалуй, получше. По крайней мере, донесение разведки о том, что Мамай отправил рать в русские пределы, его, в отличие от Олега, не застало врасплох, хотя и было отчасти неожиданностью, наперёд не расчисленной. Ведь как раз накануне москвичам стало известно, что в Орде после годов сравнительного затишья снова вспыхнула «замятия»: жертвами резни оказалось ещё несколько чингисхановичей; в кровопролитных стычках погибло множество простых воинов. Всё это происходило в Сарая, но уже явно не без участия Мамае, не оставлявшего надежд возвратиться в великую столицу. Трудно было предположить, что именно в такое хлопотное время он отправит часть своего войска изгоном на русские земли. Олег оказался совсем не подготовлен к сопротивлению. Мамаевы воеводы безнаказанно сожгли несколько его городков. Рязанец в очередной раз запрятался в какие-то потайные урочища, недостижимые ни для друга, ни для врага.

Да и на чью дружескую поддержку мог он уповать? Единственно на московскую, но с Дмитрием у него не было мира.

Ордынский набег пришёлся на время, когда после третьей Литовщины московские великокняжеские полки ещё не были разведены по городам, на свои исходные места. Поэтому Дмитрий смог сравнительно быстро и легко рассредоточить их по всему северному берегу Оки — от Любутска до Коломны. Если военачальники Мамае вздумают где-нибудь в одном или нескольких местах перейти Оку вброд и учинить грабёж в московских волостях, тут их примут в копья. Лёгкие отряды конных разведчиков сторожили на рязанской стороне.

Наиболее важными звеньями всей окской обороны стали Коломна и пока ещё небольшой Серпухов, расположенный при впадении в Оку Нары.

Серпухов входил в число городов, что достались от покойного родителя князю Владимиру Андреевичу. Сейчас, когда Владимир, узнав об ордынской угрозе, поспешил из Новгорода к окскому рубежу, и ему и Дмитрию было особенно отчетливо видно: Серпухов расположен удивительно выгодно, он «держит», будто десница лучника, громадный извив окского русла. Этому городу должно бы уделять несколько не меньше внимания, чем Коломне. Москва, Коломна и Серпухов создают своего рода треугольник, обращённый опорной стороной против южной опасности — прежде всего ордынской, но, может быть, и рязанской.

Тем временем разведка донесла, что, отягощённый полоном, враг ушёл в степь. Наконец-то можно было снять полки с береговой линии и дать возможность ратникам вернуться к своим семьям, к спелым нивам, ждущим людской заботы. В этом году удалось сберечь стада и табуны Междуречья, сохранить урожай — и от Литвы, и от Орды.

Можно было Дмитрию и людям его княжого совета подумать вслух о том, что изнурительные испытания минувших лет всё же не прошли для них даром. Ольгерд, кажется, достаточно проучен и посрамлён, чтобы не затевать впредь новых вселитовских походов на Москву. Утихомируются Гедиминовичи, не так-то вольготно станет и Михаилу Тверскому, войдёт в разум Святослав Смоленский. Если первая Литовщина показала, что у Москвы ещё не было настоящей воинской разведки, то ныне она существует, на Оке действовала неплохо. И вообще опыт держания окского берега удался, а такого опыта ещё ни у кого из предшественников Дмитрия не было. Из этого опыта, если его придётся повторять, может сложиться совершенно новый способ оборонного стояния против Орды. Окский заслон, при условии его продления от Любутска и Тарусы, от Серпухова и Коломны до Рязани, до Муромы и Нижнего Новгорода, превратится в щит общерусской весомости. Да ведь уже и сегодня, держа готовые к бою полки на московском берегу, Дмитрий думал не только об охране своих наследственных волостей, но и о мирной жизни всех русских княжеств и земель, находящихся у него за спиной.

Одно лишь огорчало: пока стояли, оцетинясь оружием, на московском берегу, с противоположного, рязанского, натягивало то здесь, то там гарью пожаров, мерещились детские крики, вопли женщин. Они-то там беззащитны, потому что свой князь как сквозь землю провалился. Небось сидит где-нибудь в сырых мхах и надрывает себе душу плачем бессилия. А то ещё и на Москву злобится, что у неё-де только о своих попечение.

Но даже таким вот недвижимым стоянием на речном рубеже Москва часть рязанской земли как-никак оберегала. По крайней мере, ордынцы не

очень-то наведывались в приокские волости, опасаясь возможного удара из-за реки. Так что не вали, Олег Иванович, с больной-то головы на здоровую. Это ты, брате, о своём лишь печёшься и гнев свой проливаешь без разбору, куда попало. Хочешь везде один управиться, а мало где поспеваешь. Славы твоей на полтину, а сраму на гривну. И поплачут ещё рязанские сироты от твоих, княже, забот.

Глава восьмая

Измена Вельяминова

I

«В лето...» такое-то случилось то-то и то-то. «Того же лета...» произошло следующее... Так, с указания на год события, начиналось в русских летописях почти любое новое сообщение. Время года (весна, осенины), а тем более месяц и число происшествия уточнялись только в особо исключительных случаях: рождение или смерть князя; день сражения; иногда — солнечное затмение или другое поразительное, с точки зрения средневекового человека, небесное знамение.

17 сентября 1374 года летописцы посчитали нужным отметить, задержать на этом числе внимание читателей. В Москве в тот день скончался дядя великого князя Дмитрия Василий Васильевич Вельяминов.

Внимание, проявленное летописцами к кончине Вельяминова, отражало отношение к ней и в Кремле, и вообще в московской земле. Умер не только родственник великого князя, не только сановитый и богатый боярин, член московского правительства. Скончался тысяцкий, отец и дед которого также были московскими тысяцкими. Почил властелин, при имени которого трепетал, послушаться которого боялся весь городской и посадский чёрный люд.

У Василия Васильевича было три сына — Иван, Микула и Полиевкт. Видимо, умирая, Вельяминов-отец пребывал в невозмутимой уверенности, что должность тысяцкого венценосный племянник передаст его старшему сыну Ивану.

Но этого не произошло. Летописцы-современники умалчивают о причинах, побудивших великого князя Дмитрия упразднить родовую должность Вельяминовых. Вполне возможно, что какие-то первоначальные толкования у них на сей счёт имелись, но были опущены при составлении позднейших летописных сводов. Кое о чём мы можем догадаться, если присмотримся ещё раз к уже размотанным узластым нитям «вельяминовского клубка». Достаточно вспомнить загадочное убийство тысяцкого Алексея Босоволкова-Хвоста и последовавшую за ним ссылку Василия Вельяминова в Рязань. Нелишне держать в памяти и «басню» о

том, как дядя-тысяцкий во время свадьбы своего племянника подменил подаренный ему золотой пояс. Почему бы не допустить, что эта «басня» впервые обнародована не много десятилетий спустя, а что знал о ней и сам Дмитрий Иванович, участвовавший сейчас в похоронах своего властолюбивого дяди? Знал, но молчал, подавляя в себе обиду.

Безусловно, сироте Дмитрию, отроку, а затем и юноше, «приходилось считаться», по словам историка М. Н. Тихомирова, с той «грозной силой», которую представлял собою на Москве покойный Василий Васильевич. Если даже, покровительствуя своему племяннику в княжьем совете, Вельяминов был с ним предельно мягок, уважителен, наконец, чистосердечен и бескорыстен, Дмитрий рано или поздно должен был почувствовать, что дядя всё-таки держит в руках слишком великую и самостоятельную власть, и при ней он, Дмитрий, — лицо в некотором роде внешнее. Дядя то и дело поступает от его имени, прикрывается его именем, а может быть, и злоупотребляет его именем. И в то же время дядино имя слышно на каждом шагу. Рано или поздно такое положение должно было задеть самолюбие взрослеющего великого князя, и если не он сам первым увидел, то кто-нибудь из его окружения — тот же Владимир, или митрополит Алексей, или кто из бояр-сверстников — мог однажды ему намекнуть на некоторую чрезмерность власти, которую успел за эти годы стяжать раздавшийся по всем статьям вишьрь тысяцкий.

Опять-таки область домыслов и предположений, но вполне вероятно, что с какого-то дня и часа Дмитрий перестал обижаться про себя и начал вслух, в глаза высказывать всеильному родичу накопившиеся обиды, а того такие высказывания не могли не задеть за живое и оценивались не иначе, как проявление мальчишеской неблагодарности за всё, что он, тысяцкий, для своего дорогого, паче родимых детищ любимого племянника сделал и делает, забывая есть и спать, уподобляясь верному псу. Дед Вельяминова служил прадеду Дмитрия и его деду, уже век скоро потомственной службе, и должна же быть какая-то за неё отплата! Хотя бы в том состоящая, что по смерти Василия место тысяцкого останется за его родом.

Так, похоже, думали не только в семье Вельяминовых. У покойника на Москве и за её пределами осталось великое множество приятелей, нажитых за долгие годы его властвования, всяк по-своему обязанных ему. Эти приятельство и обязанности, понятно, переносились теперь на Ивана Васильевича. Он постоит за своя людишки, не даст их в обиду ни княжеским тиунам, ни митрополичьему суду. А они-то уж расстараятся для своего молодого господина.

Наверное, и старший вельяминовский сын был не менее покойного родителя уверен: завтра-послезавтра под белые руки поведут его к великому князю и тот при всём честном собрании посвятит его в наследственное звание.

Было Дмитрию о чём задуматься.

Годы прикапчивали ему житейского разума, приучали разбираться в окружающих людях, в человеке вообще. Ему с детства посчастливилось знать и прививать себе пример тех мужей совести, что жили не хлебом единым, чьей неусыпной заботой была судьба отеческой земли, её вдовиц и сирот, ибо этим последним не на всяк день и хлеба-то единого достаёт — ржаного насущного сухарика. Он видел людей, за которыми если и водилась какая корысть, то в самой малой малости, ни для кого не обидной. Всякая ведь тварь живая — от пташки до человека — ищет, чем напичкать чрево своё, с кем утолить голод любовный, алчет покоя и тепла, радости плотской и весёлости духовной. Это и не корысть вовсе, а благой закон естества, на всех и каждого изливаемый, имя же ему *равность*. Видел Дмитрий: властелину людскому нужно только следить, чтобы, исполняя закон, никто не превышал свою житейскую меру. Потому что тут — в превышении — и проступала на свет Божий тёмная корысть.

Но видел он и ещё один закон, тоже, казалось ему, не менее благой, и имя ему было *разность*. Всё на свете разнилось и различествовало: звезда от звезды, птица от птицы, семя от семени, плод от плода, язык от языка, народ от народа, старый от малого, мужеск пол от женска, мирянин от инока, князь от боярина, купец от смерда. И не зря ведь, не напрасно разнилось, но для взаимной нужности, для вящей красоты мира.

Эти-то *равность* и *разность* были как два полных доверху водоноса на коромысле — удобно и нетяжело нести хоть в гору, хоть под гору. Но если убывала равность, начинало возмущаться естество людское. И если нарушалась разность, оно же протестовало. Всё неживое и живое стремилось быть непохожим, неодинаковым и в то же самое время уповало на справедливость, жаждало уподоблений, чаяло общей меры вещей.

Василий Вельяминов хотел уравниваться с Дмитрием не только в силе власти, но и в родовой её преемственности, и это не могло не беспокоить великого князя. Они не должны, не имеют права быть *ровней*, ибо тогда разрушится единство земной власти. Преступая разность, покойный тысяцкий преступал и равность: на целую голову поднялся он над другими боярами княжого совета.

Дед Дмитрия, Иван Данилович, оставил по себе благодарную память в московском боярстве — он его сплотил вокруг себя, наделил добром и

службой в меру каждого, завещал потомкам своим беречь и поощрять боярских детей, памятовать: крепки бояре — крепки и ратники, крепко и крестьянство. Но и за боярами послеживай, княже, чтоб не грабили своих холопов, чтоб друг перед другом не завывались сильно, плодя зависть и раздоры.

Вельяминовы ныне очень уж завысились — это не одного Дмитрия обижало и беспокоило. Отдать сейчас тысяцкое кормило Ивану — значит ещё поощрить вельяминовский запышливый разгон. Потачка такая чревата смутами в самом ближайшем великокняжеском окружении.

Видимо, Дмитрий учитывал и какие-то личные свойства своего двоюродного брата Ивана — свойства, которые, кстати, не замедлили проявиться, как лишь тот узнал, что ему в наследственном звании отказано.

Поступок великого князя был неожиданностью, почти вызывающей, и не для одного Вельяминова-сына. Дмитрий не просто отказал ему как таковому, он упразднил отныне на Москве... саму должность тысяцкого. Впечатление было, как если бы кто взял да и срыл за ночь, разобрав до основания, одну из воротных башен Кремля, а на пустом месте наспех соорудил тын из ольховых жердей.

Но впечатление впечатлением, а у Дмитрия всё, оказывается, было продумано до тонкостей. Часть полномочий городского головы переходила к вновь учреждаемому наместнику Москвы — такому же чиновнику, какие сидят по всем иным великим и малым городам Белого княжения. Другую часть правомочий тысяцкого Дмитрий оставлял за собой лично.

Необычность нововведения смутила многих и в городе и на посадах. Дело не только в привычке, которая круто ломалась. Вельяминовы — род большой: братья, сыновья покойного, куча боковой родни. Обида хоть и косвенно, а задела каждого. Задела она и всяческих доброхотов и приятелей семейства, связанных с покойником большей или меньшей корыстью. Резкость великокняжеского определения могла смутить и тех бояр, кто не кумился с Вельяминовым. Устойчивость бытовых и гражданских преимуществ, переходящих из рода в род, ценилась в этой среде очень высоко. А вдруг молодой князь, почуяв свободу от длительной дядиной опеки, начнёт ломать иные порядки, ломиться на иные дворы?

Иван Вельяминов не просто оскорбился — он оскорбился непереносимо. Чем больше его жалели, чем искренней ему сочувствовали, тем сильнее разгоралось в нём ретивое. О смирении не могло быть и речи. Он был по крови тысяцкий, он не желал быть просто одним из московских бояр. Он мог быть только первенствующим боярином Москвы, не уступающим по могуществу власти своему братану и сверстнику, которому

повезло родиться в княжеской колыбели и которому стать великим князем московским и владимирским помогал не кто иной, как Василий Васильевич Вельяминов.

А если ему, Ивану, не бывать тысяцким, то ещё поглядеть надо, останется ли Дмитрий великим князем!

II

Над Москвой истаивал сытный дух Масленой седмицы 1375 года. Минувшим летом снова были мор в людях и падёж скота, к тому же выдалось великое бездождие, хлебов недобрали. И всё-таки к празднику прикоплено пшеничной мучицы и животного масла, чтоб проводить его по-доброму, как встарь заведено.

В эти-то дни Дмитрия Ивановича расстроило известие об исчезновении Ивана Вельяминова. Самовольно и тайно отъехал из Москвы обиженный боярин. Знать бы, куда подался и с чем? В тот же час, докладывали купцы, Некомат исчез — тороватый гость-сuroжанин, то ли грек, то ли генуэзец, но уж наверняка ордынский соглядатай. Если бежали они по обоюдному сговору, то, ничего не скажешь, парочка подобралась знатная.

Не порадовало и следующее о них донесение: след беглецов оборвался у ворот Твери. Как-то поведёт себя князь Михаил Александрович?

Исход Литовщины как будто наконец уgomонил гордого тверича. С Москвою ныне мир, и сын Михаила, немало прождавший на митрополичьем дворе, пока отец соберётся его выкупить, вот уже год как вернулся под отчий кров. Но мир по нынешним временам как зыбкий сон: неведомо, что может в следующий миг померещиться. А вне русских пределов спокойно ли? Мамай, слышать, непрестанно поносит и честит Дмитрия Ивановича: обещал-де Митька дань платить справно, а едва один разок собрал по отъезде из Орды, да ещё и на Оке стоял всей силой, угрожая Мамаевым воеводам; если б не моровое поветрие прошлого года, не скудость подножных кормов, Мамай был бы уже в Москве со многими тьмами войска и отодрал бы за уши молодого обманщика... Словом, полное размирье с Мамаем, того и жди, снова кинет он ярлык тверичу.

А незадолго до бегства Вельяминова прискакал в Москву кашинский князь Василий, внук покойного Василия Михайловича. Родовой удел у него отнят, а сам принуждён жить под надзором в Твери, откуда теперь и выскользнул с великим трудом. Вельяминов жалобы кашинца сам слышал,

как слышал он и слова, которыми того в Кремле утешали и подбадривали. И вообще он знает много, чересчур даже много подробностей московской политики и мало ли что может выболтать со зла. В кои-то веки слыхано, чтоб перемётывались к тверичу московские бояре, и вот такой подарочек...

Известно, боярин — лицо вольное, разонравился ему один хозяин, может открыто уходить к другому со всем скарбом, со всей дружиной, недаром и в любом междукняжеском договоре пишется непременно: «а бояром и слугам вольным воля». Но исчезнуть втихомолку, не сняв с себя при свидетелях крестоцеловальный обет, — это уже измена низкая, повадка ползучего гада!

Измена!

Слово это, пахнущее куплей и продажей, выгодной меной, больно хлестнуло по самолюбию всех Вельяминовых, которые поспешили откреститься от предателя. Возбудились горячие толки и в прочих боярских семьях. Нет греха для честного слуги и воина постыдней измены. И что рассчитывает получить Иван за иудин свой подвиг?

Рассчитывал он на многое. В Твери — не скупясь, с размахом — уже делили Русь наново: великое Белое княжение — господину Михаилу Александровичу! Вельяминову — чины высокие, волости богатые, Некомату — открытая дорога в меховые и медвяные русские заказники... Под стать один другому подобрались сообщники. Сговорясь, киселей не разводили. Тем же Великим постом оба перебежчика подались в Орду к Мамаю с обещанием не возвращаться в Тверь без великого ярлыка. Михаил подождал немного и, как только получил весть, что его новые слуги благополучно миновали великокняжеские заставы, отбыл в Литву — к сестре и зятю. Может, напоследок пособит ему старый литовец? Случай-то верный и вряд ли такой ещё представится. Ольгерд, по обыкновению, был невозмутим, непроницаем. А впрочем, что ему скрывать? Годы его уже не те, чтобы по первому клику родича вершить ратный сбор. Да и на западе очень беспокойно. Что ни год, ломаются в Литву клятые крыжаки — ливонские да прусские рыцари. Он и с крыжаками, признаться, устал воевать, огня того нет в жилах, зябко стало жить ему, старому. Скоро, видать, придёт и его черёд погреть напоследок косточки на большом костре, по обычаю литовских отцов и дедов, да так крепко погреть, чтоб душа оторвалась от брэнного пепла и легко прянула к сонму славных предков...

Тверич не загостился в Вильно, понимал, что проку ему на сей раз от зятюшки не видать, да и распирало любопытство: Некомат поклялся быть назад к середине лета.

И не обманул купчина! 14 июля, как по писаному, его насад приткнулся к тверской пристани. Вместе с Некоматом на берег выбрался посол от Мамаёя прозвищем Ачихожа. Сердце Михаила Александровича толкнулось сильно, как давеча нос лодки об измочаленную доску. Привезли! Великий ярлык снова вернулся на свою тверскую отчизну. И отныне — навсегда! А Иван Вельяминов где же? Он пока в Орде остался — киличеем Великой Твери, доверенным лицом великого князя владимирского Михаила Александровича... Мамай обещал: помогу своему верному улуснику Михаилу против Митьки.

В тот же самый день, 14 июля, — летописцы запомнили и записали — до предела возбуждённый, ликующий Михаил отправляет в Москву посла с объявлением войны. Одновременно из Твери на стругах и насадах выходит рать, воеводам которой предписано спуститься вниз по Волге и захватить Углече Поле. Одновременно же уходит отряд вверх по Тверце, с тем чтобы посадить наместников нового великого князя владимирского в Торжке. Исполнились все сроки! Наконец-то десятилетия унижений позади. Только бы утвердиться незыблемо в своей законной наследственной власти, и вся Русь воспрянет под щедрой и милостивой рукою Твери. И колокол от золотого тверского Спаса, увезённый когда-то Калитой, вернётся на родину...

В воскресный день, 29 июля, утренней порой пошло на ущерб солнце и закрылось совсем, будто круглым татарским щитом, и видели это повсюду — на Боровицком холме и на устье Тверцы, у впадения Оки в Волгу и во владычном дворе над Волховом. Засвинцовели, потемнели реки, синяя мгла упала на деревья и на лица людей.

III

Если Дмитрий терял когда-нибудь — полностью или почти полностью — присутствие духа и приходил в отчаяние, то такое могло случиться с ним именно теперь — летом 1375 года. Ему ещё не исполнилось двадцати пяти, он прокняжил пятнадцать, и не было из них почти ни года, когда бы не накатывалось на его землю ненастье. То с востока, от суздальско-нижегородских пределов, натягивало несколько лет подряд промозглой сырью. То — лишь заголубела восточная сторона — пошли непрерывные, подгоняющие друг друга тучи с тверского и литовского северо-запада, а то и прямо с запада, через смоленские и брянские земли, заволакивала непогодь. Не успели здесь наконец расчиститься окоёмы, как затучило

рязанский берег. Прояснилась заокская даль, вздохнуть бы полной грудью, ан нет — опять резко задуло и понесло клочья хмари с тверского края. И всё это при том, что от начала до конца, ни на час не пропадая из виду, стояла по-за рязанскими лесами и весь степной юг охватывала синяя стена ордынской неминуемой грозы. Там пока лишь зарницы безмолвно полыхают да иногда доносится сдавленный громный рокот. Туда бы, на юг, только и смотреть, опасаясь пропустить сдвиг и нарастание тяжкой стены. Но попробуй угляди, если ныне надо опять в иную совсем сторону голову поворачивать — на Тверь!

Ей-ей, руки опускаются от всего этого. Или правда неугоден он, Дмитрий, своим соседушкам пуще мамынской орды? Да не отказаться ли от всего, наконец, — от владимирского того стола, заодно и от московского подстоля, от вотчин и от бояр, от хором и холопов? Ночью усадить в тележку жену с детьми и махнуть куда-нибудь за тёмные леса да за седые болота, чтоб никто и не прознал веками, куда он сгинул-то. И пусть, как хотят себе, ладят, призывают друг против друга то Литву, то Орду, пусть! Предела этому не видно. Пусть и дальше, как коростой, обрастают люди корыстью, меряются, у кого тщеславие выше вымахало. Михаил ли одолеет, тесть ли Дмитрий с Борисом? Олег ли, наконец, со своим тридесатым рязанским царством — пусть сами разбираются меж собой, вытаптывая нивы, изводя последний остаток мужичьей силы. Правды на земле не сыскать. Богу же, видно, вконец омерзела русская неразбериха. Пятнадцать лет — и всё попусту! Воинские походы, которым уже и счёт потерян, два хождения в Орду с их унижающим лицедейством, целый ворох перемирных и dokonчальных грамот, скреплённых свинцовыми либо восковыми печатями, а условия тех грамот на поверку оказывались недолговечней воска, податливей свинца... А как с каменным Кремлём старались, как тряслись над каждой полтиной, чтоб не уплыла навсегда на волжский Низ, как терпеливо приручали капризных и шалых новгородских вечников, — и всё напрасно? Выходит, напрасно. Что за цена его великокняжеской прочности, если происками всего двух человек — боярина-изменника да заморского купца — в одно лето расшатано и поколеблено московское дело!

Но уже первые недели августа должны были настроить Дмитрия на совсем иной лад. Вдруг отовсюду стали поступать в Москву свидетельства единодушного возмущения, с которым почти повсеместно встречена весть о кознях тверского князя и выворотня Вельяминова. Сколько раз уже Михаил зазывал на Русь Ольгерда с литвинами, сколько зла сотворил христианам, а ныне с Мамаем сложился! Мамай на всех нас дышит

яростью, и, если попустим Михаилу с ним сложиться, все погибнем. С такими мыслями, с такой убеждённостью приезжали в Москву люди из ближних и дальних великокняжеских вотчин. Так думали нижегородские Константиновичи. Не попускать тверичу просили посланцы Великого Новгорода. Даже Олег Рязанский, слышно, был возмущён поведением Михаила.

Эта повсеместная убеждённость в неправоте тверского князя одновременно означала, что люди стоят за Москву, что с предложенным ею путём связаны чаяния большинства. Для самого же Дмитрия это значило: отчаиваться и падать духом ему нет причины, ибо годы воинских тревог и мирного устройства земли не минули бесплодно. В него верят, и не просто как в человека, одного из князей, но как в наиболее подходящего и исправного *исполнителя* русской мысли о насущном единении земли.

Волнующую картину единения, пусть пока далеко не полного, не окончательного, он вскоре сам увидел. К Москве, а затем к Волоколамску, где решили проводить воинские сборы, отовсюду стали стекаться полки. Все горели желанием раз и навсегда уgomонить тверского гордеца. Нижегородско-суздальскую рать привёл сам Дмитрий Константинович со своим сыном Семёном — шурином московского князя. Городецкий полк прибыл во главе с Борисом Константиновичем. Впереди ростовского ополчения красовалось сразу три князя: пожилой уже Андрей Фёдорович, спутник Дмитрия по последней поездке в Орду, и два двоюродных брата московского великого князя — Василий и Александр Константиновичи — сыновья покойной княгини Марии Ивановны, дочери Калиты. Из Ярославля прискакали с дружиной тоже два брата — Роман и Василий Васильевичи. Порадовал своим появлением моложский князь Фёдор Михайлович — ближайший восточный сосед Твери, немало от неё претерпевший. Приехал и стародубский вотчич Андрей Фёдорович. Словом, здесь была налицо почти вся сила Залесской земли, цвет Междуречья русского.

Но и ещё подвалило народу, жданного и нежданного. Из дальнего Белозерского края подоспел тамошний князь Фёдор Романович. Не побоявшись, что литовцы потом накажут, привёл верных ему воинов смоленский князь Иван Васильевич. Столь же смело поступил и брянский князь Роман Михайлович. И ещё были князья, с большими и малыми ратями, а кто и вообще почти без людей, но с желанием биться за десятерых: явился Роман Семёнович Новосильский, приторочили скромные свои дружины к великому ополчению два брата — князь Семён Оболенский и хозяин Тарусы Иван — сыновья Константина Оболенского,

который ещё в первую Литовщину положил живот за Московь; и вот жаждали теперь братья отомстить за обиду дому своему.

Всех, кажется, и не записали тогда летописцы поимённо, как не записали они имён и десятков воевод. Непривычно великим было число людей, ополчившихся под Волоколамском. Все — от московского князя до последнего пешего ратника — не могли не ощущать незаурядности происходящего. Воинские сборы по размаху своему напоминали разве лишь всерусский поход Ивана Даниловича Калиты на Псков — на поимку беглого князя Александра Тверского. Но и разница была громадная! Тогда собирались подневольно, по жёсткому распоряжению Узбек-хана, и шли-то надело, несправедность которого ощущалась многими. А ныне собрались *против воли Орды*, идут, чтобы отменить прихоть Мамаю, чтобы объявить сыну Александра Михаилу: Русь не желает себе такого, как он, князя владимирского! Ныне у неё есть другой господин, ей, а не ордынцам и их подпевалам угодный.

Плечом к плечу с Дмитрием Ивановичем выступал из Волоколамска князь Владимир Андреевич. С ними ехал и Василий Кашинский, которого надлежало восстановить на уделе, бесстыдно у него отнятом. Судя по тому, что в летописном перечне князей-ополченцев отсутствует Дмитрий Михайлович Боброк, можно предположить, что ему во время тверского похода поручалась охрана южных границ великого княжения, и он оставался на окском рубеже, скорее всего, в Коломне.

Первым чужим городом на пути ополчения оказался удельный Микулин. От Волоколамска до него добирались малозаселёнными заболоченными местами московско-тверского порубежья; переходили вброд узкие притоки Ламы и Шоши; напоследок несколько вёрст шли лесом, пока не увидели на взгорке строения чужого удельного гнездовья. Ещё будучи здешним князем, Михаил отстроил в Микулине две крепости — одну против другой, на разных берегах Шоши. Без труда захватив их, войско вышло на тверскую дорогу. На четвёртый день похода великокняжеская рать вплотную придвинулась к Твери. Большую часть ополчения Дмитрий распорядился оставить на городском берегу. Здесь, на мысу, образуемом впадением в Волгу Тьмаки, стоял деревянный тверской детинец, обмазанный снаружи глиной и побелённый известью. Те из воинов, которые никогда ещё не видели Твери и недавно впервые увидели Москву, могли сравнить, какому из двух городов больше приличествует быть домом великого князя владимирского.

Дмитрий приказал строить через Волгу два моста. Один — выше города, где имелся брод, второй — ниже Тьмаки, напротив устья Тверды.

Противоположный берег Волги был на вид почти пустынен, только при устье Тверды темнели деревянные строения Отроча монастыря, но осаду нужно было сделать полной, чтоб Михаил не имел возможности сообщаться с заволжской стороной.

Ополченцы частью пожгли, а частью разобрали обезлюдевший деревянный посад — для строительства осадного острога и для возведения примётов. Когда подпалили примёты, от них затлелись местами прясла стен и башни, пламя охватило мост у Тьмацкой воротной стрельницы. Пошли было на приступ, но тверичи бились отчаянно, и волны наступающих ратников откатились за острожные укрытия. Ободрённые горожане предприняли вылазку, посекали топорами несколько метательных орудий, часть из них зажгли, в суматохе изрубили немало люду, в том числе погиб московский воевода боярин Семён Добрынский.

Так начиналась осада, которой суждено было продлиться целый месяц — по тем временам срок очень большой. Конечно, Михаил не мог надеяться только на силу своего войска. Не мог надеяться он и на достаточность припасов или на особую крепость городских стен. Вот на помощь зятя он рассчитывал, это точно. Верилось ему, что и до Мамая долетит слух о том, как самоуправствует в его улусе *Митька*, уже лишённый великокняжеского достоинства.

В надежде на Ольгерда он почти не обманулся. Старый литовец действительно отрядил рать в поддержку шурина (сам, конечно, не пошёл, научили его опасливости бесславные наезды на Москву). Но эта рать, приблизившись к тверским рубежам, благоразумно остановилась. Литовцев встревожили данные разведки о несметности войска московского князя и боязнь столкнуться с полками, накануне захватившими Зубцов. Воеводы Ольгерда решили не связываться и потихоньку, по своим же собственным следам ушли.

Тем временем к Дмитрию ещё подбавилось подкрепление, встреченное трубными гласами и радостным гомоном. Сам Великий Новгород ныне прислал своих воев! Тут были и те, кто два года назад бежал от стен Торжка, объятых огнём, и сейчас жаждал отмстить новгородскую кровь. Вечники собрались скоро, в четыре дня одолели путь, на пятый были у Твери.

Если Михаил и не знал точно, то догадывался, в какую цену ему может обойтись, уже обходится стяжание великокняжеского ярлыка. Чем дольше он будет удерживать осаду, тем большее число его городов, волостей и угодий подвергнется разорению. Несколько лет подряд вкладывал он все свои силы, чтобы вывести отчину и дедину из безвестности и нищеты. А

чего достиг? Ещё большей нищеты и вдобавок всерусского позора. Он бы перетерпел, похоже, и не такую осаду, но позор его доканывал: за стенами Твери почти в полном сборе стояла семья Рюриковичей — внуки, правнуки и праправнуки тех, кто погибал в Орде, кто мученический венец предпочитал позору предательства. Михаил видел, что тень вельяминовской измены налипла и на него. В конце концов и тверичи отвернутся от своего господина, выдадут его Дмитрию или произойдёт что-нибудь ещё, не менее постыдное, унижительное. Позор нынешний, боязнь позора завтрашнего — вот что невыносимой своей тяжестью день за днём пригнетало хребет его гордыни.

И не выдержал Михаил. Он пришёл в келью к тверскому владыке Евфимию и попросил его выйти завтра во главе челобитчиков за ворота с просьбой к осаждающим о мире и милости. Пусть скажет владыка Дмитрию, что он, Михаил, отдаётся в полную великокняжескую волю... Евфимий всего год назад был поставлен на тверскую епископию митрополитом Алексеем. Сам он не был достаточно силен, чтобы обуздывать честолюбие хозяина Твери. Но тем более порадовало его ныне истинно христианское смирение князя Михаила. Да, конечно, он берётся возглавить посольство и постарается, чтобы великий князь московский не отверг предложение мира.

За последние годы они несколько раз мирились и целовали крест, лежащий на подписанных грамотах. Дмитрий не желал больше повторений. Они были бы губительны для той и другой стороны, для всей Руси. Можно ли до конца доверять нынешнему раскаянию Михаила? Скорей всего, нельзя. Поэтому новое мирное докончание должно связать Михаила условиями и обязательствами, гораздо более жёсткими, чем старые грамоты.

Прежде всего Михаил отныне должен будет считать себя по отношению к Дмитрию «братом младшим». Как в своё время в грамоте с Ольгердом, великое княжение Владимирское и Великий Новгород объявляются *вотчиной* «старейшего брата» Дмитрия Ивановича, которую Михаил обязан «блюсти, а не обидети».

«А вотчины ти нашии Москвы, и всего великого княжения, — затверживалось в грамоте, — и Новагорода Великого, под нами не искати, и до живота, и твоим детем, и твоим братаничем». По этому условию не только сам Михаил, но и его прямое и боковое потомство отказывались отныне от притязаний на великокняжеский стол.

«А если нас начнут сваживать татарове, — уточнял Дмитрий, — и станут давать тебе нашу вотчину, великое княжение, то тебе не брать до

самой смерти. А станут они нам давать твою вотчину Тверь, и нам также не брать до самой смерти».

Далее Дмитрий потребовал от тверского князя предоставления полной самостоятельности Кашину. Пусть кашинским уделом ведает, как и прежде, вотчич Василий. И дань ордынскую с князь-Василия Михаилу впредь не требовать, это дело великого князя. «А имешь его обидети, мне его от тебе боронити».

Дань данью, но что подлинно должно было удивить Михаила, так это великокняжеское условие относительно возможного прихода ордынской рати. Дмитрий без обиняков потребовал: «А пойдут на нас татарове или на тебе, битися нам и тебе с единого всем противу их. Или мы пойдём на них, и тебе с нами с одного поити на них». Да, меняются времена! Ещё недавно о подобном говорили разве лишь шёпотом, без свидетелей. И дед Михаила, Михаил Ярославич, и дед Дмитрия, Иван Данилович, уж на что были мужи сильные, посчитали бы безумием вписывать такое вот условие в свои грамоты. А молодой москвич говорит сегодня об этом как о чём-то привычном, заурядном. И вместе с тем каждым своим словом отрезает Михаилу путь к отступлению. Попробуй теперь, согласившись на союзные действия против Орды, сунуться за сочувствием к тому же Мамаю!

Следующее требование великого князя московского ещё большей связывало Михаила по рукам и ногам. «А пойдут на нас литва или на смоленского на князя на великого, — настаивал Дмитрий, — или на кого на нашу братью на князей, нам ся их боронити, а тебе с нами всим с единого. Или пойдут на тебе, и нам тако же по тебе помагати и боронитися всем с единого».

С чего бы пойти Ольгерду на Тверь? А вот на смоленских да на брянских князей, которые теперь у тверских стен стоят, литовец наверняка пойдёт. И, значит, Михаил обязан выступить тогда против своего зятя, столько раз ему помогавшего? Не сладко. Но пришлось сейчас и с этим условием согласиться.

«А с Новым ти городом и с Торжком жити в старине и в миру», — следовало предложение за предложением, и каждое почти начиналось с этого московского твёрдого акающего «а»...

«А боярам и слугам вольным воля». Дмитрий потребовал только, чтобы правило боярской воли не распространялось на Ивана Вельяминова, потому что он не перешёл открыто со службы на службу, а исподтишка изменил своему хозяину, да и Михаилу, как совершенно очевидно, принёс одни лишь несчастья. Все земли беглеца Вельяминова изымаются в пользу великого князя.

Случится какой спор о земле или о людях, московские и тверские бояре пусть съедутся на рубеже для судебной расправы. Если же сами не сговорятся, то пусть призовут третейским судьёй великого князя рязанского Олега Ивановича.

Известно, что Олег не участвовал в походе русских князей на Тверь. Но назначение третейским судьёй в возможных спорах между Дмитрием и Михаилом не могло, конечно, состояться без его собственного согласия. Из этого можно заключить, что ко времени похода 1375 года в отношениях между Москвой и Рязанью наметились благотворные перемены. Называя своего южного соседа в качестве судьи-посредника, Дмитрий тем самым умно и необходимо выводил его из рязанского закута, привлекал к общерусскому делу.

Веские, бесприкословные, будто в металле отлитые требования dokonчальной грамоты отражали твёрдую уверенность, обрётённую Дмитрием к исходу лета 1375 года. Сейчас, пожалуй, было переломное время всей его жизни. Голос молодого князя окреп, приобрёл мужественное звучание. Этот голос стал слышен на всю Русь. Отныне к нему вынуждены будут прислушиваться и за её пределами.

IV

Как и следовало ожидать, наказание Твери разгневало и Мамаю, и Ольгерда. Но тот и другой могли сейчас себе позволить лишь небольшие карательные набеги на окраины великого Владимирского княжения. Ордынская рать повоевала сёла возле Нижнего Новгорода. Литовцы подступили к Смоленску, но тоже отличились лишь грабежом крестьянских дворов и малых городков. Якобы мстили за обиду, нанесённую тверичу: «Почто ходили ратью на князя Михаила Тверского?» Видимо, ополченцы к этому времени ещё не вернулись в свои города и сёла, и сопротивления карателям оказано не было.

Иван Вельяминов безвылазно сидел в Орде — а куда ему, выходило, податься? Он громко именовал себя тысяцким Владимира клязьминского — великокняжеской столицы (этот чин был обещан ему Михаилом, когда в Твери сговаривались). Но велик чином, а в треухе овчинном. Михаилу теперь не до Владимира первопрестольного, рад небось, что и в Твери-то оставлен. И на Москве беглого боярина никто не вспомнит, даже родня отвернулась от него.

Всё озлобляло изменника. И то, что братья его и дядья служат честно

Дмитрию (выслуживаются!). И то, что великий в мечтах Михаил присмирел (тряпка!). И то, что Мамай столько понаставил сетей неудобным ему чингисхановичам, что и сам уже по забывчивости стал попадать то в одну, то в другую (тоже тряпка — от халата Узбек-хана!). Но только за эту-то восточную тряпку и мог теперь цепляться Вельяминов.

Он ждал год, другой, третий. Развязка наступила лишь в 1378 году. В день победы войск Дмитрия Ивановича над ордынцами у реки Вожи (рассказ об этом сражении впереди) московские ратники поймали на поле боя какого-то бородача в облачении священника. Стали выяснять, почему он оказался в обозе мурзы Бегича. Обнаружили у попа мешок с сушёными корнями и травами, непохожими на корни и травы, какими пользуют больных русские ведуны и знахари. Поп оказался слабодушен и скоро признал под пыткой, что послан Иваном Вельяминовым, а тот сидит в Орде, и там у них великие нестроения.

А вскоре объявился на Руси и сам Вельяминов. Схватили его в Серпухове и срочно доставили в Москву. В «Истории Российской» Татищев сообщает подробности поимки предателя, в летописях не сохранившиеся. Вельяминова удалось схватить благодаря какой-то хитрости, придуманной князем Владимиром Андреевичем, который прознал, что изменник распространяет о нём в Орде клеветнические слухи. Видимо, несостоявшийся тысяцкий не брезговал никакими средствами, науськивая Мамай на московского великого князя и на его двоюродного брата. Заодно клеветой можно было бы подточить завидно прочные отношения дружбы и согласия, отличавшие до сих пор двух внуков Ивана Калиты. Или надеялся Вельяминов, черня Владимира, выслужиться перед Дмитрием, вымолить у него прощение?

Когда-то, по преданию, на месте Москвы стоял двор боярина Кучки. Кучковичи, его сыновья, запятнали свой род участием в злодейском убийстве князя Андрея Боголюбского. Напоминанием о тех событиях осталось на Москве урочище Кучково поле. Оно находилось за великим посадом, на водоразделе Москвы-реки и Неглинной, обочь старой Владимирской дороги. Здесь, на Кучковом поле, великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович повелел казнить боярина Ивана Васильевича Вельяминова, своего двоюродного брата, изменника, подстрекателя и клеветника.

Объявление о предстоящей казни взволновало всю Москву. Многие не ожидали столь беспощадного приговора. Кажется, это была первая гражданская казнь на Москве за всю её историю. По крайней мере, в летописях ни о чём подобном не поминалось ни разу. Но и измены,

подобной вельяминовской, Москва ещё не знавала на своём веку!

Н. М. Карамзин, живописуя событие на Кучковом поле, пишет, что московский народ «с горестью смотрел на казнь несчастного сего сына, прекрасного лицом, благородного видом». Мы не знаем ничего о том, каков был собою Иван Вельяминов. Похоже, что, изображая его внешность, историк дал в себе волю писателю. Впрочем, тут, возможно, заключена и особая прозорливость, знание тайн людского естества: изменники почему-то нередко обладают именно прекрасной наружностью. Не потому ли им и удаётся подчас очень многое, что они соблазняют людей своим «благородным зраком»? Политическое распутство иным незрелым душам может даже показаться занятием увлекательным: измену все обсуждают, имя изменника — у всех на устах, в любой толпе сыщутся у переметчика сочувствующие и воздыхатели.

Казнь Вельяминова явилась соблазном для многих. И, как следствие этого, она оказалась исключительным испытанием для Дмитрия. Но он не имел права думать только о сегодняшнем дне — о плаче и стенаниях на боярском дворе Вельяминовых. Он обязан был помнить день вчерашний: плач, вопли и гибель сотен русских людей — страшные последствия единичного предательства. Он обязан был думать и о дне завтрашнем — о соблазнительности «прекрасного» облика измены, не пресечённой со всей строгостью.

Видимо, об этом же и так же думал летописец, сохранивший для потомков не только день, но и час наказания.

«Месяца августа в 30 день во вторник до обеда в 4 часа дни казнен бысть мечем тысяцкий оный Иван Васильевич на Кучкове поле у града Москвы повелением великого князя Дмитрея Ивановича».

Глава девятая

Домостроительство

I

Ложиться старались пораньше и вставать пораньше, равняясь на солнце, на убывание и прибывание света. Так было и в княжеских ложницах, и во всякой малой деревнишке, где хоромишек всего-то «избенцо, да клетишко, да хлевишко». Пред светом жизни все были в равности, несмотря на свою очевидную разность, и князь великий московский поднимался для трудов в тот же час, что и любой его челядин. Зарево мягко румянило алтарные лбы кремлёвских соборов, а в хоромах, на сениях, в поварнях и конюшнях, в сушилах и погребах уже пошумливали, ежась от холодка, с последней стонущей зевотой выдыхая сонную одурь.

Дворские, получив дневные наряды, распоряжали холопов по работам и местам; повара, истопники, хлебники, ключники и подключники, конюхи, коровники, плотники, садовники, псары, рыболовы, портные и серебряных дел мастера, мельники, огородники, судомои и мукосеи, колесники, водовозы, дворовые и конюшенные сторожа, сокольники, утятники, пономари, звонари, дьяки и подьячие — всяк знал свой угол и притул.

Дворы Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича стояли по соседству. Лицом деревянные хоромы выходили на реку, на юг, на праздничный сбег Боровицкого холма. После ранней обедни, отстоянной в одном из соборов, после утреннего застолья, по будням самого тесного — только с женою и детьми, — великий князь, если не было других, более неотложных дел, призывал к себе дьяка. При живом отце и в первые годы своего княжения Дмитрий только видел и слышал работу с дьяками, смысл же её был для него тёмн. Но теперь он сам, не прося помощи ни от кого из бояр и к митрополиту не ходя за растолкованиями, знал, что в том или ином случае надобно ему сказать, а дьяку записать и прочитать потом вслух, проверяя перед князем верность записанного. Вот надлежало ему, к примеру, пожаловать кормленной грамотой нужного и полезного заморского гостя Андрея Фрязина, дядя которого, Матвей Фрязин, в своё время также был в кормленщиках у московских князей, предшественников Дмитрия. И он говорил дьяку веско и неспешно, а тот сеял из-под руки рядками, будто

чёрные твёрдые семена, угловатые буквицы писчего полуустава.

«Се яз, князь велики Дмитриеи Ивановичь, — уверенно звучал его голос, — пожаловал есмь Ондreja Фрязина Печорою, как было за его дядею за Матфеем за Фрязином; а в Перми емлет подводы; так было и доселе. А вы, печеряне, слушайте его и чтите, а он все блюдет, а ходит по пошине, как было при моем деде при князи при великом при Иване, и при моем дяде при князи при великом при Семене, и при моем отци при князи при великом при Иване, так и при мне».

Дьяк зачитал написанное. Всё как будто на месте, ни одного ненужного слова, ни одного повода для превратных толкований, а в повторениях, касающихся деда, дяди и отца, есть особая убедительность: так было, так есть, так будет. И даже это мелькающее то и дело «при» не выглядит ненужным, потому что ещё и ещё раз прислоняет мнение Дмитрия к нерушимой стене родового предания.

Громадная область, простирающаяся по течению Печоры, которая отдаётся в кормление почти обрусевшему гостю, ещё дедом Иваном прикуплена у Великого Новгорода. Смелый купец, не боящийся печорских морозов и комаров, умеющий и с ушкуйниками договориться, промышляет на севере меха и соколов, особо ценящихся не только в Орде, но и в королевских домах Европы.

За это кормление поступают от него в великокняжескую казну большие пошлины. Да и вообще нелишне иметь во фрязах людей, всем почти своим добытком обязанных Москве. Иной раз купец, в Орду заглянув мимоездом, такую ухватит там новость для великого князя, что, кажется, во всю жизнь за неё не отплатил бы сполна ни мехами, ни серебром, ни татарской, ни собственной монетой.

Да, да, и собственной тоже. Был в жизни Дмитрия день особенный, прочнее многих других врезавшийся в память: это когда серебряного дела мастера принесли ему на пробу пригоршню сверкающих, тоненьких и неровно-округлых, будто сазанья чешуя, монеток. Одна к одной, ещё не тронутые тусклым налётом от рыночного хождения, ещё и не деньги как будто, а произведение бескорыстного художества. На одном боку монетки змеятся привычные взгляду и непонятные уму арабские слова: имя какого-нибудь из ханов и здравица о продлении его жизни. Но на другом... Волнуясь, он различал родную угловатость славянского письма: ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕЛИКОГО ДМИТРИЯ. Тут же было поясное изображение воина с мечом в одной руке и секирою в другой.

Его волнения кто бы не понял: своя монета появилась на Москве впервые. Со времён нашествия Русь вообще не имела денег собственного

чекана. Ни в Твери, ни в Новгороде, ни в Рязани — нигде ещё не смели и думать о таком. Редко у кого из русских князей водился сейчас на дне заветного ларя и жалкий наскрёбыш прапрадедова достатка — большие и веские монеты времён Владимира Киевского и Ярослава Мудрого. На тех монетах можно было разглядеть изображение великого князя, царственно восседающего на седалище; наряжен он в плащ, застёгнутый на груди запоной; на голове шапка, увенчанная крестом. Среди безмолвных тех свидетелей стародавней мощи попадались не только серебряники, но и золотые монеты, нисколько не потускневшие от времени, всё так же жарко горящие на свету.

Конечно, в соседстве с ними московские монетки Дмитрия выглядели не так ослепительно: и потоньше они, и помельче, и чекан поглубей. Но всё равно, всё равно, пусть и с ханскими именами на одной стороне, они будут разносить во все концы света весть о Москве и её князе.

Без арабской надписи никак не обойтись, она — пропуск для новых русских денег на восточные базары. Заезжие купцы удивляются, качают головами, разглядывая славянскую надпись и изображение воина, но берут монетку охотно. Пусть привыкают потихоньку к дерзкому виду ратника, вооружённого мечом и секирой. Мал значок, а на всяк зрачок. Кто-нибудь из своих, в неволе живущих, в Булгарии или в Сарае, увидит случайно московскую денежку — и заходит у него сердце ходуном. Любое добро отдаст за неё и везде, где лишь соберутся двое-трое соотечественников, станет показывать её: смотрите, наши-то живы... И не деньга это уже для него, не базарная потаскушка, а почти святыня.

Мастерам-резчикам заказывал Дмитрий изготовление великокняжеских печатей — для себя лично и для своих наместников, сидящих в городах Белого княжения. Всякая грамота — духовная, договорная, перемирная или жалованная, как и эта, что даёт он ныне добытчику-фрязину, недействительна, если не скреплена подвесной печатью, позолоченной ли, восковой. Остановит чернявого купца где-нибудь в глухомани княжеская стража: кто таков будешь? кажи грамотцу! И видят: грамота исправная, печать при ней неподдельная, московская. На одной стороне святой воин стоит, похоже, сам Димитрий Солунский, с копьём, со щитом. На обороте же надпись:

ВЕЛИКО
ГОКНЯЗЯ
ДМИТРИ
ЯИВАНО

ВИЧА

Ну что же, поезжай, купчик, дале, твоё счастье. Да смотри не теряй печать княжу, а то шубу с плеч, самого под меч.

Как ни скромно жили на своих дворах Дмитрий и его двоюродный брат, как ни берегли всякую полушку, как ни сковывала подчас их волю постоянная опасность новых опустошительных пожаров, а всё-таки забота о посильном украшении жилья не оставляла обоих. Нарядя свои дома, украшали тем самым чело Кремля, всю Москву. Говорят, уже в те времена терем великокняжеского дворца был златоверхим, со слюдяными окнами, с двухъярусным крыльцом на резных колонках, и светлица княгини, из которой она обычно провожала взглядом мужа, отъезжающего в очередной поход, помещалась над главным входом во дворец. Слюда в окошках искрилась на полуденном свету, дрожащим своим вспыхом дивила людей, особенно когда издали, из-за реки, глядел кто на Кремль. Если сам князь возвращался домой через Заречье, то и его в ясную погоду уже версты за две, за три веселили смеющиеся искорки высоких оконеч.

Слюду добывали на севере, раслаивали на тонкие пластины, подбирали по цвету: есть слюда сиреневатого отлива, есть будто со слабым румянцем, есть золотистая, вохряная, есть и голубовато-льdistые листы, для каждой рамы — свой тон. Яркий солнечный свет, пройдя сквозь слюду, делается мягок, бархатист, дымчат — оттого в хоромы и в жаркий летний день не столь душно, и полнятся они обволакивающим тело, приглушающим шаги и голоса уютным задумчивым светом.

В светлице великой княгини свободные часы посвящались шитью драгоценных плащаниц, пелен, воздухов. Вышивали на привозных венецейских камках, на тафте и атласе, стараясь подбирать ткани звонких, праздничных цветов — малиновые, брусничные, черевчатые, маковые, лазоревые. Нити тоже были покупные — китайский и персидский шёлк, золотое и серебряное прядиво. Поверх плотного нитяного покрова ликов и головных уборов примётывали нанизь нимбов-подковок, подобранных из молочных капель индийского или же своего, печорского, жемчуга. Работа кропотливая, требующая терпения, усидчивости, проворства пальцев и чистоты взгляда, нераздражённого сердца и общего согласия — иную вещь хозяйка с помощницами готовила месяцами. О чём ни наговорятся, о ком ни наплачутся, да и намолчатся тоже всласть. На целый женский век хватает малого клубочка нитяного. То наматывается ниточка, то разматывается, день отлетает за днём, год отзывается году, бесконечна алая нить жизни.

В московской своей светёлке не раз уж полнела в стане великая княгиня Евдокия, делалась мягко-округлой — сама что тот клубочек. В такие месяцы особой уютной теплынью напивались, кажется, и хоромные стены. Мягким кошачьим шажком выступала теперь Евдокия, осторожней усаживалась за пядь, чаще в глазах рябило, мутнели на ладони жемчужные зёрнышки, мурка играла на полу клубком, рассеянно соскользнувшим с колен, по-птичьи пощёлкивали дрова в печной утробе, в углах жилья копились, набухали, пенились серебряные сумерки.

В сентябре 1376 года Дмитрий и Евдокия пережили первое родительское горе — умер их старший, шестилетний Данила. Осталось двое мальчиков. Вася, четырёх лет от роду, и Юрий — этому ещё и двух не исполнилось. Беременная женщина не смела отдаться сполна своему горю, боясь за жизнь, что носила под сердцем. Как и каждая русская женщина её поколения, Евдокия не столько родильных мук страшилась, сколько трепетала за неясное будущее своих чад. Дай только думам волю, чего-чего не напридумается на их головки: и войны лютые, и моры беспощадные, и сотни иных болезней, известных и неизвестных. А случаи нелепые и непредвиденные, поджидающие человека на каждом шагу, во всякий час и миг?.. А зверь лютый в лесу, а гром небесный в открытом поле?.. А если, овзрослев благополучно, жить станут кое-как, друг против друга злобясь, на клочья раздирая отцов прибыток, — велика ли невидаль, далеко ли за примерами ходить?.. И в горький свой, безутешный час будет какой-нибудь из них проклинать родителей своих за то, что зачали его на муку жизненную, кинули в юдоль зла.

О, как страшно думать об этом, в ночной бессонной пучине холодея, сдерживая в себе вопль отчаяния! Тут-то напоследок и призовёшь Её, потому что кто же ещё услышит и к кому ещё воззвать? Из бездны отчаяния устремится жаркая просьба в бездну милосердия, и не об этом ли сказано: бездна бездну призывает? Можно принять любую родильную муку, лишь бы детки не знали мучений, потому что хватит уже на наш век, не вынесет сердце материнское нового повторения земных страстей. Да и не одну только родильную, а всякую муку примет на себя мать, за всех своих отстрадает, за всех умрёт, за всех испьёт чашу отчаяния, лишь бы прервалась безысходная череда повторений.

Четвёртого сына (если от новопреставленного Данилы считать) Евдокия родила накануне Андрея Первозванного, почему и назвали мальчика Андреем.

Ещё один сын! В княжеском доме такое событие всегда считается особо значительным. Сын — прибыток мужества; говоря о младенце

Андрее, разумели, что недаром и имя его по-гречески значит «мужественный». И вовсе не беда, что помельче придётся делить меж сынами отцову вотчину. Это ещё поглядеть надо, мельче ли; земель-то прирастает, прикупается понемножку, потуже становится дедова калита.

Василий, Юрий и Андрей... Мальчишек у Дмитрия уже больше, чем у покойного отца было, но молодому отцу желалось ещё и ещё детей, у него вовсе не было предчувствия, что они рождаются не вовремя. Напротив, самое время вновь заводить на Руси большие семьи, вить заново Великое Гнездо. Крепких рук нужно множество и душ горящих тоже. Трудов край непочатый.

И Евдокиюшка, Авдотьюшка безотказная, будет ему рожать и рожать: за Андреем родит Семёна (этот недолго, правда, поживёт), потом Петра и Ивана, потом, наконец, Константина...

И четырёх дочерей принесёт — тоже народец нужный! — Софью, Анну, Настасью и младшую Марию (снова это имя, столь любимое на московский слух).

Всего двенадцать детей породил великий князь Дмитрий Иванович за двадцать три неполных года супружеской жизни! Бесстрашное по тем временам чадолюбие. Далеко не в каждой княжеской семье на Руси тогда так много рожали. У Михаила Тверского, к примеру, было шестеро сыновей, но и это уже очень много, сравнительно с другими княжескими домами. Как многочадный родитель Дмитрий Иванович может быть всерьёз сопоставлен только со своими отдалёнными предками — князьями Киевской и Владимиро-Суздальской Руси. Так, Владимир Святославич имел (хотя и от разных жён) двенадцать сыновей, Ярослав Мудрый — семь, Владимир Мономах — восемь, Юрий Долгорукий — одиннадцать, Всеволод Большое Гнездо — восемь, его сын Ярослав Всеволодович — девять. Но это был уже самый канун нашествия. В следующем колене наиболее чадородным оказался Александр Невский, но у него родилось только четверо сыновей. Младший из них, Даниил Александрович, породил пятерых мальчиков, Иван Калита — четверых, Иван Красный, как помним, всего двоих. Ордынское иго длилось уже вторую сотню лет, и его цепенящая, сковывающая власть сказывалась и здесь: большие семьи стали редкостью; многие князья вообще умирали (или погибали) бесчадно; всегдашнее человеческое стремление увековечить память о себе в обильном потомстве шло на убыль, истаивало.

И вдруг — такой всплеск рождаемости в московском дому! (Владимир Андреевич тоже равнялся на старшего, двоюродного. Елена Ольгердовна принесла ему шестерых мальчиков.) Всё это говорило о резкой перемене в

мироощущении. Бытийное самочувствие сделалось иным. В родительской щедрости Дмитрия и Евдокии проще всего было бы увидеть бездумное следование велениям естества. Нет, это чадолюбие было именно поступком, сполна осознанным стремлением противостоять ненавистой гибели Русской земли. Людей, людей и людей — просила земля, и Дмитрий в числе первых отвечал на её зов и другим подавал пример.

II

Люди, люди и ещё люди нужны были великому князю московскому и владимирскому.

Лес и луг сами себя обиходят. Деревья сами схоронят хилый подрост или ветхих своих старцев. Луг сам, без человеческого надзора, засеет себя новым семенем, не даст укорениться сорной траве. Но полю, взоранной, растревоженной сохою земле без людской постоянной заботы не жизнь. Следит за полем хозяин, не жалеет доброго семени, и оно возвращает ему сторицей. Но оставь он борозду всего на год, на два — и над беззащитной нивой вымахает стена бурьяна. А потом от ближних перелесков нанесёт сюда ветром всякой шелухи, укрепитя в старых бороздах сорный березняк, и через несколько лет уже не продрастья сквозь подлесок; не сыскать, где золотилась нива, где торчал двор. Только, может, глинобитное печище не до конца ещё развалилось и укажет на место, в котором люди ютились, грелись у огня.

Какая тоска! Надрывался человек от зари до зари, валил деревья, отволакивал их, подрубал корни у пней, отёсывал хлысты на избу, на сени, на овин, подбирал жерди для тына, прочая мелочь шла в огонь. Вспахивал обгорелое огнище, горькое на дух, то и дело трещащее корнями. Распушал горбатые борозды бороной в одну сторону, а потом и поперёк. Холодной ранью, пока ещё галки и вороны не проснулись, выходил сеять. И это, казалось бы, самое лёгкое и простое — чего там! — бери из торбы полную пригоршню и сыпь со всего замаху — оказывалось самым трудным. Иной мужик вроде бывалый и пахарь двужильный, а рука его в сееве подводит, напрягается чересчур, рвёт воздух, семя летит комками — там густо, там пусто, — а рассып нужен ровный, мягкий, повсеместный, во всякую пядь чтобы легло зерно. Не зря же зовут мужика не только пахарем, но и сеятелем. А сколько иных ему нужно умений, чтобы обжить по-настоящему новый свой надел! И дом сложи, и лавку вытеши, и стол тем же топором огладь, и печь вылепи... Да не зазевайся, чтоб трава в лугах не перестояла,

а скошенная не перележала, не сгорела и в зародах не протекла сверху донизу. И к тому же не всё подряд коси-то, что и обкашивай, а не знаешь что, у коровы спроси, сладка ли ей полынь, мягок ли зверобой, вкусна ли пижма-трава. Да снова не зазевайся: зерно, глянь, потекло; в свой час его сожни, на гумно свежи, цепом оббей и себя по спине не огрей; на ветерке от половы обвей, да в мех, да наверх. Глянь, а у тебя ещё и крыша не крыта! Вот тут-то и соломка сгодится, подбери её ровненькими пучками, чтобы один к одному, и укладывай их потесней, ряд за рядом. Хорош уклад — сух чердак, сух чердак — бела мука. Про свою жизнь и назавтра ничего не ведаешь, но избенцо, коли не тронет его огонь, под соломенной шапкой полвека простоит, и шапка эта — трава, кажись травой! — лишь сверху потемнеет, а снизу не истлеет.

Но где тот мужик, и как его имя, и что его труд?..

Люди, люди нужны были Москве. Со времён Дмитриева прадеда, а особенно деда, московская земля много полюднела, её князья умели позвать к себе чужого насторожённого мужика, сбежавшего «из зарубежья» — от нищего князя-соседа, от злого его боярина. Но и по сей день велика была нужда в крестьянстве. Сколько ведь земли пустошится там и сям, особенно на расстоянии от дорог и рек!

Крестьяне-старожилы, сидящие на великокняжеских чёрных землях, тянут своё обычное тягло. Княжеским и боярским волостелям, старостам, соцким строго-настрого наказано своих, московских крестьян друг у друга не переманивать. Но приходят и сегодня люди издалека, безлошадные, бессошные, и их надо устроить при земле так, чтоб захотели тут остаться навечно.

Для крестьян-пришлецов и приберегал Дмитрий Иванович запустошенные земли и во временный себе убыток, сажал их здесь «на свободы». Слободские жители, в отличие от чёрного тяглового большинства, платящего в казну оброк или несущего иные повинности, освобождались и от оброка, и от всевозможных налогов и повинностей на срок, который оговаривала княжеская жалованная грамота. Сроки были разные: от трёх лет до десяти, а то и больше — в зависимости от степени запущенности земли, богатства или бедности почв, близлежащих угодий, да и от возможностей крестьянской семьи, сажающейся «на свободу». Получал пришлец и ссуду на обзаведение семенным зерном, скотом, упряжью и утварью. Со своей стороны он обязывался завести прочное хозяйство — «поставить двор», то есть избу с сенями, баней и овином, и двор этот «заметом огородит», распахать пустошь под хлеб, под овощ и как следует «огноити» огород, унавозить землю.

Так возникала новая деревня, в один, два, редко в три двора, и несколько подобных деревень образовывали *слободу*. Чаще всего население деревни составляла одна-единственная семья.

Новосёл укоренялся, обсматривался, примеривался к соседям-слободчикам, к хозяину-князю, к окрестным угодьям; земля рожала и так и сяк, но всё же потом своим он её орошал, кажется, не зря. Укреплялся пахарь духом, дети подрастали, бегали уже за сохой: он заводил трёхполье: на одном клину — озимое, на другом — ярь, третий — чёрный пар гуляет под озимь; налаживал колею к ближним и дальним — вёрст за десять — пожням; огораживал поля, пажити и стога от чужого беспастушного скота, да и от своей раздобревшей скотинки, также ходившей самопасом.

И смекал наконец, и свикался с мыслью, что когда кончится срок слободской вольготы и придёт ему пора входить в круг черносошной общины и платить, как и все, оброк, то ничего, потянет. Дело известное: одна сорока не знает оброка. И самого Адама из рая выгнали за грехи, велено ему трудиться в поте лица своего. Весь крестьянский мир из года в год тянет тягло, и вместе, миром-то, общиной, куда легче тянуть, чем самому. В черносошной княжеской общине и староста и соцкие не назначаются сверху, от князя, но выбираются на сельском сходе. Община старается не дать в обиду ни старожитного крестьянина, ни новичка, пришедшего со слободы. При спорах с соседями — будь то боярское или монастырское хозяйство — община обязана постоять за себя, за свою землю.

А иных пришлецов князь сажал не на землю, но определял при каком-нибудь угодье, промысле: соль варить, дёготь жечь, муку на одноколёсной мельнице молоть, снимать мёд в бортном лесу, промыслять бобров на плотинах, рыбу вялить, ловить куницу-черницу. Тут работали целыми дружинами с главным слободчиком, его же князь, как правило, знал не только по имени, но и в лицо. Приглядывался к человеку, прежде чем отрядить на работы: надёжен ли, не буян ли, чист ли на руку? Ведь слободчик будет своим людям большую часть года вместо судьи и волостеля, вместо самого князя. Не распугал бы, не растерял бы своих подручников.

Было кому внушить великому князю, да и сам он с годами уразумевал всё более, как ценен и нужен ему всяк человек, «честно и грозно» носящий его, княжью правду. Счастлив господин, окружённый умными боярами, совестливыми судьями, находчивыми наместниками, самостоятельными воеводами, смышлёными волостелями. Лишь бы не завелись между ними склоки, наговоры, воровство, обиды чернолюдству. Не завёлся бы обычай

бегать к князю жаловаться друг на друга, а друг меж другом и князя охаивать. Вот и нужен ему глаз твёрдый, взглядчивый, умение быстро и наверняка выбирать людей, мирить их, когда ссорятся, поклёпам не потакать, не унижать подозрительностью, но и не пренебрегать проверкой, пылких остужать, а вялых подхлёстывать, правого не перехвалить и от виноватого не отмахнуться, награждать по усердию, а не по родовитости, принимать всяк совет, но не действовать ни по чьей указке, гнев свой угнетать, а в радушии знать меру, с мудрыми быть простым, с простыми мудрым. И ещё: не радоваться слишком, когда вокруг все радуются, и не впадать в уныние, когда другие впадают, ибо то и другое чрезмерно. Всегда ожидать неожиданного и этим ожиданием умерять, уравнивать и свою радость, и своё горе. Мера — вот начало и конец его науки. Мера в искренности и в хитрости, в говорении и молчании, в решительности и в осмотрительности, в терпении и нетерпении, во всём, во всём... Стоит чуть-чуть выйти из меры, в самой, казалось бы, малости, а на другом конце земли целые моря выходят из берегов.

И всё это ему нужно было иметь при себе на всяк день и час жизни: и когда домашних покидает для дел великого княжения, и когда от трудов властвования возвращается к семейному очагу. Он обязан быть и в дому своём властелином, и во княжестве отцом. Если не умеет утихомирить собственных детей, то и с норовистыми боярами не управится. Если не расслышит тихую жалобу жены, то донесётся ли когда до ушей его плач сотен вдовиц? Домостроительство семейное для князя — только заглавная буква в домостроительстве всей земли. Первое во втором как семечко в медленно зреющем плоде. Но плода не дожидаться ни ему, ни его потомкам, если он не привыкнет на всю землю смотреть как на продолжение своего московского двора, а на каждую живую душу, её населяющую, как на своего родича, семьянина. Не научится он, не научатся дети его — и задичает тогда Москва, забудет её земля, как многих и многое на своём веку забыла.

III

Кроме строительства слобод и слободок имелся у великого князя Дмитрия ещё один надёжный способ привлечения трудящегося люда на заброшенные или неосвоенные земли. Льготы выдавались не только отдельным крестьянам, но и монастырским братствам. Чтобы нагляднее представить себе эту немаловажную сторону тогдашнего хозяйствования,

стоит внимательней присмотреться к разнообразной деятельности всё того же троицкого игумена.

В «Житии» Сергия Радонежского его первый жизнеописатель Елифаний Премудрый рассказывает — со свойственной ему обстоятельностью и любовью к бытовым подробностям — о некоем «новом поселянине», издалека пришедшем посмотреть на славного мужа, блистающего духовными подвигами. Знакомство с живым Сергием страшно разочаровывает пришельца. Войдя в монастырь, он сразу же просит указать, где находится игумен.

— В огороде копает землю, — отвечают ему иноки, — погоди, пока выйдет.

Но ему невмочь ждать, он идёт к огороду и видит в «скважню» какого-то согбенного смерда в худой ризе. Думая, что монахи над ним подшутили, поселянин присаживается в сторонке и ждёт, когда же покажется настоящий игумен. Иноки окликают его, указывая на Сергия, бредущего с огорода. Но он по-прежнему подозревает обман и отворачивается:

— Я пророка пришёл видеть, вы же на простого человека, на сироту мне указываете... Ни чести в нём, ни славы, ни величества, ни красных риз, ни отроков предстоящих и прислуживающих... всё худостно, всё нищетно.

Монахи предлагают игумену прогнать невежду, но Сергей запрещает им:

— Нет, чадца мои, нельзя. Он один истинствует, а все другие соблазняются.

Во время трапезы игумен просит усадить поселянина возле себя.

— Чадо, не скорби, — утешает его Сергей, поскольку тот всё ещё чувствует себя обманутым, — кого ищешь, вскоре явится тебе.

Со двора доносится шум, голоса многих людей. Оказывается, в монастырь прибыл князь, а с ним бояре, отроки, воины. Князь, ещё издали увидев Сергия, падает на колени и кланяется до земли. Старец благословляет его крестным знаменiem, они целуются троекратно и садятся для беседы; все остальные почтительно стоят вокруг. Слуги хватают замешкавшегося поселянина за плечи и грубо вытаскивают из-за стола, толкают в сторону. Вот тебе и раз! Только что сидел за столом, а теперь ему ничего не видно. Он задирает голову, становится на цыпочки, спрашивает шёпотом:

— Кто же это сидит одесную князя?

— Разве не знаешь преподобного игумена Сергия? — удивляются ему воины.

Поняв наконец свою ошибку, поселянин ужасается: что будет ему за

такую непочтительность? Когда князь с дружиной покидают монастырь, он, не подходя близко, падает перед Сергием на колени и просит прощения. Старец ласково призывает его к себе, расспрашивает о нуждах, заставивших прийти в такую даль...

Епифаний не сообщил имени князя, прибывшего в монастырь. Возможно, это был сам Дмитрий Иванович. Возможно, Владимир Андреевич, которому принадлежал Радонеж с окрестностями. Рассказ о недоверчивом поселянине прозрачен в житейской своей незамысловатости и одновременно многозначителен, как всякая притча. Какую истину уловил игумен в упрямом нежелании крестьянина признать в нём «пророка»? Может быть, это событие явилось для Сергия ещё одним уроком смирения? Право, ну что он за «пророк»? И не соблазнились ли его чадца-иноки, когда предложили изгнать ворчуна? Насильно мил не будешь. Нельзя заставить человека верить в кого-то или во что-то.

Но Сергей и поселянину преподает урок. В его монастыре не следует искать «красных риз» и благолепия. Здесь так же точно трудятся, как и везде на земле. По крайней мере, он, Сергей, и его собраты стремятся быть для всех приходящих образцом трудящихся. В монастыре действует общежитийский устав, то есть каждый кормится от общего труда, несёт своё посильное послушание: кто в поварне, кто в поле и на лугу, кто на лесосеке, кто в писании книг. Устав запрещает заводить собственное имущество: «ни своим что звать, но вся обще имети». В тех монастырях, где не признают общежитийского, по-гречески, киновийного устава, встречаются и богатые, неработающие монахи и монахи-слуги. Но на горе Маковец ни тунеядцев, ни холопов не держат.

Еще в XIII веке, вскоре после нашествия, Русская Церковь вынуждена была принять на себя особую и — по понятиям многих — неблагодарную, двусмысленную обязанность: молиться за ханский род. В каждом ярлыке, который широковещательно давали ханы русским митрополитам, это условие оговаривалось в первых же строках: как сядет митрополит во Владимире, пусть «Богу молится за нас и за племя наше молитву творит...». Страшное, неудобноносимое ярмо, многих вводившее в соблазн! Как молиться за тех, кто распинает твою землю? Как полюбить ненавидящих тебя, ищущих твоей гибели? И всё же молились о здравии и благоденствии своих супостатов.

Такой ценой церковь обеспечивала себе право не платить в Орду никаких даней и не собирать в её пользу никаких пошлин с духовенства и монастырских крестьян. Ханы запрещали своим подданным захватывать церковные владения и уголья: «домы, земли, воды, огороды, винограды,

мельницы...». Запрещали также становиться на постой в церковных домах или ломать их. Беззаконно отнятое у священнослужителей подлежало возврату.

Известно, что два подобных ярлыка в разные годы получил в Орде митрополит Алексей. Послабления, оговорённые в них, конечно, далеко не всегда строго исполнялись ордынцами. Но в любом случае выгода для Русской Церкви в такого рода послаблениях была явная, и ею надо было уметь пользоваться. На веку великого князя Дмитрия Ивановича пользоваться ею научились.

Красноречивое свидетельство перемен, происходящих с появлением в лесных пустынных краях новых хозяев, — два отрывка всё из того же епифаниевого «Жития». Вот картина местности, какую застал её молодой подвижник: «Не бе бо окрест пустыня тоя близ тогда ни сел, ни дворов, ни людей, живущих в них, ни пути людскаго ниоткуда же, и не бе мимоходящего, ни посещающего, но округ места того все страны, все лес, все пустыня».

Но проходит несколько десятилетий, и к Троицкому монастырю «начаша приходить христиане и обходить сквозе вся лесы оны и возлюбаша жити ту. И множество людей восхотевше, начаша с обаполы (со всех сторон) места того садитися».

Сергий, как известно, этим не ограничился и основал несколько монастырьков в окрестностях Маковца. Некоторые места выбирал сам, например, на реке Киржач. Другие подбирались им по совету с московскими князьями. Целый ряд хозяйств — и в ближних, и в отдалённых урочищах — основали, по договорённости с Сергием, его ученики и последователи. Так, Мефодий облюбывал место на речке Пешноше, к западу от Дмитрова. Ещё два ученика — Фёдор и Павел — zaloжили Борисоглебский монастырь в глухом лесу к северо-западу от Ростова. Амвросий отправился за Кострому и основал общежитие на Чухломском озере. Пустынь на реке Письме построил инок Макарий. Его сподвижник Павел обосновался затем на Обноре. Здесь же, в костромских лесах, при речке Тебзе черноризец Иаков из рода бояр Амосовых положил основание Железоборовскому монастырю. Из Москвы ушли далеко на север, в Белозерье, Кирилл и Ферапонт. Дмитрий Прилуцкий, который вначале подвизался в обители у Плещеева озера, потом тоже ушёл в Заволжье и построил монастырь в окрестностях Вологды...

Всё это происходило в разные годы и даже десятилетия, иногда уже и после смерти князя Дмитрия и игумена Сергия. Но происходило по их воле и по ответному рвению людей, несших их волю как собственную. В глухие

лесные края шли пока одиночки, но вновь заводимые монастырьки постепенно обрастали хозяйством, позднее обзавелись каменным строением, а то и могучими крепостными сооружениями. Посланцы Москвы приносили сюда не только книжную культуру, но и культуру хозяйствования, опыт ухода за землёй, малознакомый лесным и речным добытчикам.

Так же, как и слободские крестьяне, монастырские освобождались от подворной дани, от обязанности нести ямскую службу, кормить мимоезжих чиновников, от всевозможных иных поборов, податей и пошлин в пользу князя. Это, конечно, не значило, что отныне они могут работать каждый только на себя. С исходом льготного срока монастырские крестьяне поступали в распоряжение эконома, и он назначал их на различные общественные работы и службы годового круга. Кроме собственной они распахивали и засеивали монастырскую землю — «игумнов жеребей»; обкашивали в пользу обители десятую долю луговых угодий; в их обязанность входило также «сады оплетать, на невод ходити, пруды прудить, на бобры в осенине поити», «церковь наряжати, монастырь и двор тынити, хоромы ставить». И иных было много обязанностей, помельче.

Пошлины с монастырских крестьян шли частью на благоустройство обители, а частью — через игумена — в казну.

IV

Нередко можно прочесть или услышать, что во времена князя Дмитрия Ивановича русские монастыри были одновременно и военными крепостями, всякий монах — ратником и что у стен этих обителей с утра до ночи, перебивая звон колоколов, звучали кузни, где ковалось оружие для будущих сражений.

Первые мощные крепости-монастыри появились на Руси два — два с половиной века спустя. А тогда, при Дмитрии Ивановиче, о долговременной и выгодной с военной точки зрения защите того или иного монастыря не могло быть и речи. В лучшем случае несколько десятков человек имели возможность укрыться внутри маленькой каменной церкви (если она ещё была в монастыре, каменная-то) и продержаться тут час-другой в ожидании подмоги из близлежащего города. И всё.

Иное дело, что обитель, расположенная при дороге или при реке в окрестностях города, могла нести дополнительную, мирскую службу в качестве сторожа, дозорного, вестника, первым оповещающего о грядущей

опасности. Этой службой и ограничивалось, пожалуй, всё военное значение наших монастырей в XIV веке.

Но уже и тогда научились их строить с заглядом далеко вперёд. И уже тогда, в эпоху Куликовской битвы, появились у нас — по свидетельству археологов и отчасти летописцев — первые каменные соборы в пригородных монастырях.

О возведении Высоцкого монастыря под Серпуховом летописи сообщают достаточно подробно. В 1374 году князь Владимир Андреевич заложил в своей вотчине при устье реки Нары «град дубов». Военное строительство в Серпухове было связано не только с общим укреплением окского оборонного рубежа. Двоюродный брат Дмитрия Ивановича, до сих пор живший постоянно в Москве, по соседству со двором великого князя, собрался теперь обосноваться более прочно в собственной удельной столице. Он хотел превратить Серпухов из волостного городка (который до сих пор в духовных грамотах упоминался в числе его владений далеко не на первом месте) в город многонаселённый, с внушительным внешним обликом. Крепость из дубовых срубов ставилась на крутобоком холме над Нарой, верстах в двух от впадения её в Оку. Но в это время в Занарье, ближе к устью, уже возвышались строения владычного монастыря с каменным собором, заложенным по воле митрополита Алексея.

И вот на городском берегу, как раз напротив Владычного, князь Владимир и прибывший в Серпухов по его просьбе игумен Сергей облюбовывают славное место для второго монастыря. Отсюда, с крутой горы, как на ладони видны и крепость с посадом, и заречная обитель, и место впадения Нары в Оку. Отсюда далеко проглядываются и заокские, поросшие лесами дали. Здесь, на Высокой, Сергей и заложил первые плиты известняка в основание алтарной стены. Два монастыря станут южными воротами в город. Конечно, и тот и другой пока не крепости. Но, по крайней мере, они дозируют за окской речною дорогой. Их нарядный вид привлекает в град Серпухов народ мимоезжий, да и с рязанской стороны многие, пожалуй, притекут сюда, ища лучшей доли.

Несколькими годами позже с просьбой «да даст от ученик своих единого на строение монастыря» обратился к Сергию великий князь Дмитрий Иванович. Новую обитель решено было ставить в окрестностях Коломны, «на месте именем Голутвине», у впадения Москвы-реки в Оку.

Это место по-своему, пожалуй, не менее живописно, чем подобранное для Высоцкого монастыря в Серпухове. Мыс при устье Москвы-реки приземист, плосок, остронос, но столько тут водного, земного и небесного раздолья, что монастырские строения глядятся на ровном и открытом

пространстве крупно, они будто торжествуют над окрестностями, над южными речными вратами Московского княжества. Торжествуют и придают восклицательную выразительность русской «речной мысли», досказанной здесь до точки.

...Как-то, ознакомившись с сочинением маститого историка XIX века, Лев Толстой записал для себя: «...читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и что разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил чёрных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня?..»

Ответ подразумевается. Толстого возмущало то, как мало места в исторических описаниях уделяется делам созидания, самым разнообразным видам человеческого труда, поистине общенародным усилиям, постоянно, из века в век обеспечивающим новый запас жизнестойкости национальной и государственной.

Слова Толстого целиком могут быть отнесены и к русскому XIV веку.

Энергия созидания распространяется вовне, но вновь и вновь заряжает самого созидателя. Щедро отданная, она отражённо приходит назад, к своему источнику. И тогда дух начинает прирастать быстро, хотя и незримо, гораздо быстрее, чем строятся стены и чем происходит приращение вещей.

В семидесятые годы XIV века исходящая от Москвы энергия домостроительства стала получать мощный духовный отклик из самых разных пределов Русской земли. Особое творческое рвение проявило тогда Нижегородско-Суздальское княжество.

И это понятно. Тут было много от ревности, от соревновательного пыла, усилиями обеих сторон счастливо переключённого из области политического соперничества в круг нравственно-хозяйственных забот. Почин положил сам митрополит Алексей ещё в 1370 году, когда он посетил Нижний Новгород и основал здесь новый, Благовещенский монастырь.

Место было выбрано со значением — на узкой площадке обрывистого берега Оки, недалеко от её впадения в Волгу. Тут как бы кончалось ещё одно предложение русской «речной мысли»; очертив рубежи всего Междуречья, две великие реки встречались, наконец, чтобы превратиться в одно целое. Обитель освящала их встречу, символизирующую единство

московской и суздальско-нижегородской земель. Путники, которые прибывали в Нижний из Москвы водным путём, видели — прежде чем узреть сам город — митрополичью новостройку, а потом уже, от устья Оки, открывался их взгляду откос, увенчанный крепостью, и посад у его подножия.

Прошёл год, и здесь, на нижнем посаде, возле маленькой речки Почайны, тесть московского великого князя повелел ставить каменную церковь во имя Николы, считавшегося покровителем путешественников, гостей, и место было как раз подходящее — над пристанями, при торгу.

И ещё год прошёл. Младший брат Дмитрия Константиновича, Борис Городецкий, с большим числом людей сплыл по Волге мимо Нижнего до реки Суры. Пограничному деревянному городу, который срубили на Суре его плотники, дали имя Курмыш.

В то же лето, свидетельствует Троицкая летопись, Дмитрий Константинович решил возобновить строительство каменного кремля в Нижнем, которое было впопыхах и неудачно затеяно Борисом почти десять лет назад. Одним из первых сооружений возобновляемой стройки стала воротная башня напольной стены, названная Дмитривской.

В 1374 году на состоявшемся в Москве соборе митрополит Алексей поставил епископом суздальско-нижегородским и городецким монаха Дионисия. Существует мнение, что монашествовать он начал в киевском Печерском монастыре и именно поэтому, поселившись в Нижнем, подыскал и тут место для пещерного монастырька, где и поселился. Вскоре Дионисий вдохновил своих нижегородских сподвижников на дело, которому суждено было стать великой вехой в истории отечественной культуры.

Видимо, по согласованию с князем Дмитрием Константиновичем, владыка задумал составить новое летописание, в котором были бы помещены все известные письменные свидетельства по истории Русской земли, начиная с «Повести временных лет». Для этой цели в книгохранилищах Нижнего был изыскан подходящий летописный свод, составленный уже более семидесяти лет назад и сильно пообветшавший. Хотя погодные записи в нём обрывались 1305 годом, свод выгодно отличался богатством содержания. Именно его было поручено переписывать трём грамотным монахам во главе с иноком Печерского монастыря Лаврентием. Работу начали 14 января 1377 года и завершили в предельно короткий срок — к 20 марта того же года. Для того чтобы переписывать одновременно, монахи расшили ветхую книгу на отдельные тетради и с них — также в отдельные тетради, которые потом сошьют в

книгу новую, — переносили строку за строкой. Иногда попадались места совсем неудобочитаемые, а сверить было не с чем: второго такого же полного, исчерпывающего летописания в Нижнем не существовало. Как знать, может, и по всей Руси теперь не сыщется такого же! Счастье ещё, что этот свод чудом уберёгся от огня, от воды, от вострых крысиных зубов. Зимний день короток: с утра пронзительно синеют сугробы по-над близкой Волгой, будто груды белья, выполосканного в синьке; и ввечеру окрестные снега снова загустевают в морозной синеве; а между тем и другим часом тщедушный свет серенького дня едва просачивается за монастырский порог. Хорошо ещё, что налущено и насушено про запас соснового смолья. И под робкий трескоток плавящейся смолки пишут Лаврентий и его друзья про высокие годы, про славу старого Киева и бесславно сгинувших обрвов, тоже ведь несметными полчищами подступали, а где они нынче?.. Пишут про великия и малыя, про чудеса и стыдеса, про неизжитые болезни русского духа, множат долгий перечень строенного, разрушенного, восстановленного.

Как будто про эти дни и годы писал потом А. С. Пушкин: «Духовенство, пощаждённое удивительной сметливостию татар, одно — в течение двух мрачных столетий — питало бледные искры византийской образованности. В безмолвии монастырей иноки вели свою непрерывную летопись. Архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадёжности».

Зима и весна 1377 года вошли в историю древнерусской культуры навсегда, потому что список, составленный Лаврентием со товарищи, оказался одной из двух (!) русских летописей, которым посчастливилось уцелеть от всего XIV века. Речь, конечно, идёт не о содержании, известном по многим поздним спискам, но о самих подлинниках. Более того, всё, что в разные столетия было написано рукою русских летописцев до Лаврентьевского свода, погибло.

Понятно, ни сам Лаврентий, ни его заказчики не могли предположить, что время сделает такой именно выбор. Из того, что создавалось тогда в Нижнем, были вещи вроде бы и попрочней. Те же каменные башни и стены кремля. Те же белокаменные соборы на посаде, в Благовещенском монастыре. Те же настенные росписи кисти Феофана Грека.

Но нижегородский белокаменный кремль не уцелел. Исчезли с лица земли и каменные церкви, построенные здесь во второй половине XIV века, а с ними и фрески великого византийца. Только книге Лаврентия суждено было остаться, чтобы самым чудом своей нетронутости ещё наглядней поведать о крошечном погибельном мраке и о духовных дерзаниях тех

дней.

V

Где-то посреди безбрежных зырянско-пермских лесов кучка местных жителей с благоговейным любопытством разглядывала в только что срубленной деревянной церкви яркое, поблескивающее свежей олифой изображение: трое юношей восседают за белым столом; они крылаты, подобно птицам, их обнажённые кудри окружены золотыми сияниями; хорошая картина, в лесах такой ещё никогда не видали. Русский человек по имени Степан, который живёт среди лесных охотников уже не одну зиму и не одно лето, называет картину образом, а солнцеликих юношей ангелами.

Раньше зыряне приносили жертвы идолам, не знали, что слова, которые они говорят друг другу, можно, оказывается, начертить на бересте или на доске, или на очищенной от жира овечьей коже в виде значков, и для каждого звука есть свой значок, и если их все запомнить и потом читать один за другим, то получатся *слова*, получится письмо, и такие письма можно пересылать другим зырянам и пермякам за много-много вёрст, и они там, если тоже знают уже благодаря Степану эту грамоту, прочитают письмо и напишут в ответ своё, расскажут о собственном житье, о том, кто в племени родился и кто умер, сколько убили медведей и лосей, соболей и куниц... И на иконе, привезённой Степаном, тоже есть письмо, не русское, потому что у русских свои знаки, свои буквы, а зырянское, его тоже можно прочитать. И таким письмом у Степана написана целая книга, да не одна, и из них он им читает и поет, и некоторые зыряне, помогая ему, сами уже читают и поют. Сначала Степана боялись. Откуда он знает так хорошо все зырянские слова, от кого у русского человека смелость такая? Пришёл один, без воинов, без шлема и меча в чужую землю, подсекал топором деревянных идолов, при всём народе срамил зырянских шаманов. Но к боязни постепенно примешивалось почитание, оно росло и вытесняло боязнь. Степан ничего не выпрашивал для себя — ни меховых шкурок, ни закамского серебра, ни камней, светящихся алыми, синими и зелёными лучами. Он лечил людей и учил их зырянскому письму, и рассказывал о том, как живут русские, как бедствуют они от степных племён, но как, несмотря на бедствия, ежегодно засевают землю зерном, и книг у них великое множество, и из тех книг можно узнать о других землях, племенах и царствах, о громадных зверях и дивных чудищах, о людях с чёрной кожей, у которых никогда не бывает снега, но всё время продолжается

лето...

Для пермяков-охотников русский пришелец был существом небывалым, почти всеведущим, почти под стать солнцеликим ангелам. А для русских своих современников, которые знали его как Стефана, епископа пермского, создателя азбуки для зырян, переводчика книг на их язык, он был просветителем, живым подобием Кирилла и Мефодия.

Елифаний Премудрый, друживший со Стефаном, написавший и его «Житие», говорит о нём, что Стефан «яко плугом, проповедию взорал» Пермскую землю. Восхищённый подвижничеством своего друга, жизнеописатель стремится найти слова, которые хотя бы отчасти передали и это его восхищение, и многогранность дарований Стефана. И, пожалуй, самым выразительным из всех возможных оказывается слово «един» — один. Как много лет ушло у множества философов эллинских, не без умысла вспоминает и сравнивает Елифаний, на то, чтобы «мнозemi труды и многими времена» составить грамоту греческую. А вот пермскую грамоту «един чернец сложил, един составил, един сочинил...».

Конечно, это вовсе не значило, что Стефан проповедовал среди зырян-пермяков самочинно и единолично, на свой страх и риск. О подвижнической деятельности этого человека был хорошо осведомлён великий князь московский Дмитрий Иванович. Просвещение лесных язычников являлось в такой же степени частью русского государственного домостроительства, в какой оно являлось частью церковной политики. Если Стефан и действовал «един», то лишь на первых порах, позднее у него должны были появиться помощники и среди русских, и среди пермяков.

Иное дело, что сами суровые обстоятельства той эпохи требовали от человека умения мыслить и поступать, соображаясь в первую очередь с собственным опытом, решительно и без оглядки. Скреплённые общей идеей, люди могли действовать единодушно и находясь вдали друг от друга, не сговариваясь и не советуясь по любому поводу, не ища сочувствия и сострадания для всякой своей царапины и ссадины, но твёрдо уверенные, что сочувствие и поддержка, и единомыслие будут в главном. Могли не видаться и не знать ничего друг о друге годами, а встретясь, заговорить, как бы продолжая прерванную вчера беседу. Могли и на расстоянии мысленно беседовать, чувствовать думу другого о себе, как будто он стоит пред очами.

Стефан вырос в суровом северном краю, в Двинской земле. За свою жизнь он преодолел громадные расстояния: учился в Ростове Великом, неоднократно навещал Москву, исходил вдоль и поперёк пермские леса,

добирался до самого Каменного Пояса, бывал по делам в Новгороде Великом. Уроженец Устюга, «земли полунощной», он отличался подвижностью и неугомонностью южанина. Но не в крови суть. Не у себя ведь на родине прославился византиец Феофан Грек, а среди оснеженных равнин Руси, где, казалось бы, его художническая воля так легко могла привянуть, истощиться. Случилось обратное: Феофан выполнял заказ за заказом, работал в храмах Нижнего Новгорода, в Новгороде Великом расписал вдохновенно стены Спаса на Ильине улице, жил и творил в Москве. Он привёз на Русь тончайшие познания о превечных энергиях, доступных человеческому естеству. Но источник творческой энергии дала ему именно Русь, та среда незауряднейших личностей, в которой он оказался, хотя и не со всеми, возможно, был знаком.

Стефан Пермский и Епифаний Премудрый, Сергей Радонежский и митрополит Алексей, инок Лаврентий и великий творец «Троицы» Андрей Рублев, Дмитрий Иванович Московский и Владимир Андреевич Серпуховской, чеканщики монет и печатей, вышивальщицы пелен и плащаниц, безымянные слобожане и крестьянство черносोшных общин — все они вместе и каждый сам по себе жили заботой о домостроительстве, думой о малой и великой русской семье, тревогой о том страшном судном часе, который, предчувствовали они, выпал на долю их поколения и уже недалёк.

Глава десятая

На окском рубеже

I

Предчувствие чего-то неминуемого, томящегося в тени дней, напрягающего жилы для рывка, беспокоило в те годы многих. Но и предчувствовали по-разному. У кого преобладала боязнь: московское молодчество не останется безнаказанным; нельзя так дразняще много строить, так вызывающе нарушать свои же слова об урочной выплате царского «выхода», так упорно не ездить на поклон, не просить соизволения на тот или иной шаг во внутренней русской политике; наконец, нельзя так самоуверенно ошетиживать каждое лето копьями окский берег. Восточный зверь только по видимости сыт и дрябл; глупо самоуспокаиваться, тешить себя двумя-тремя примерами ордынской якобы беспомощности...

Иные в предчувствиях исходили злорадством: достанется и Москве, как до неё Твери досталось, обломают басурмане рог и этим гордецам.

Но и в Москве прекрасно понимали, что «великая ордынская замятия» вовсе не предсмертная судорога, а скорее кровавое сновидение несытого зверя, и пробудиться он может мгновенно. Предчувствовали здесь, однако, и нечто совсем новое — близость страшной беспощадной схватки, неслыханного поединка с чудовищем, которое ещё недавно одним лишь рыком, одним лишь гадким духом из пасти обращало смельчаков вспять.

А что до московского молодчества, то по нынешним временам есть молодцы и поудалей — те же новгородские ушкуйники хотя бы. Вот уж кто живёт без всяких предчувствий, не веря ни в сон, ни в чох, ни в братнюю молитву, а одному лишь зелену вину кланяясь до земли.

В последний раз «прославились» волховские сорвиголовы в то самое лето 1375 года, когда всерусское ополчение, включавшее в себя и рать из Новгорода, стояло у стен Твери. Ватага ушкуйников сбилась вокруг двух вожakov-воевод; одного звали Прокофием, кличка другого была Смолнянин. Летописец подсчитал, что «новгородцкиа разбойницы» разместились на семидесяти ушкуях, а всего их было две тысячи человек (из чего легко вывести, что каждый ушкуй вмещал от 25 до 30 человек).

Поскольку великий московский князь на ту пору перегородил Волгу у Твери двумя мостами, а встреча с Дмитрием ничего доброго волховским проказникам не сулила, они дали большого крюка: по Белозерскому водному пути спустились в Сухону и оттуда волоком пробрались в верховья реки Костромы, притока Волги. Здесь, на костромском устье, у стен одноимённого города, и началась цепь бесчинств, приведших в итоге всю новгородскую ватагу к позорной гибели. Вздумали свой же русский город приступом брать, а когда навстречу им высыпало более пяти тысяч народу, разделились и половину ватаги услали в тыл костромичам. Московский наместник оказался слабодушен; фамилия его была Плещеев, и летописцы потом покачивали головами, обыгрывали её: «Плещеев, подав плечи, побежа», то есть показал противнику спину.

Вломившись в город, ушкуйники распоясались совершенно, такого даже и за ними прежде не водилось: грабёж пошёл сплошной, а то, что в руки не давалось, поджигали. Побуйствовав неделю в Костроме и нагрузив в ушкуи живого полону, витязи Прокопия и Смолнянина подались, куда Волга вынесет.

В Нижнем Новгороде, хозяин которого отсутствовал — Дмитрий Константинович, как мы помним, ушёл вместе с братом Борисом под Тверь подсоблять зятю-москвичу, — ушкуйники опять выскочили на берег, пожгли часть посада, прихватили и здесь пленников, чтоб было кем торговать на Низу. Выгодно продав живой товар в Булгарии, и на этом не успокоились забубённые головы, безнаказанность подстрекала их ко всё более рискованным поступкам.

Никогда ещё ушкуйники не заходили так далеко — и в переносном и в прямом смысле слова. Их лодки вдруг объявились в самом устье Ахтубы. Ордынцы не были сильны на воде и не смогли выставить здесь никакого заслона. Правда, налётчики всё же не решились идти на Сарай и выбрали волжское русло. Впереди была Асторокань.

Местный князь принял их с почестями, не жалел лестных слов и вина. В ватаге началась свирепая гульба, собиравшая толпы зевак; диву давались, глядя на то, сколь много может вместить в себя русское чрево. А потом по приказу своего князя перерезали упившихся новгородцев. Все напотчевались вдоволь на том пиру, перемешалась кровь с вином, и виночерпии шатались, перешагивая через тела.

Русь всколыхнуло известие о постыдной гибели новгородского отряда. Какою мерой мерили, такой же им возмнилось, возмущались одни. Другие дивились удалству ватажников: надо же, в самую серёдку Орды ворвались! Значит, совсем прогнал Улус Джучи, только ткни пальцем — и

рассыплется?! Но были и те, кто жалел и сокрушался: какая силища потрачена напрасно на грабёж среди своих, на пустое бахвальство перед чужаками! Ох тебе, волюшка новгородская, неуправная, бестолковая...

Следующим летом великий князь московский вывел заслонные полки на уже притоптанные стоянки вдоль окского берега. Пребывали в ожидании новых карательных действий Мамаёв против княжеств — участников похода на Тверь. В прошлом году один такой карательный отряд прошёл по волостям Нижегородского княжества, поэтому Дмитрия Ивановича ныне заботила охрана не одних только московских границ. Нижегородцы также приведены были в боевую готовность, чтобы в случае опасности действовать согласованно с великокняжескими полками.

Летописи молчат, но не исключено, что в сторожевом стоянии участвовали и рязанские силы, и мещерские заставы, и — худо-бедно — под присмотром находилось, таким образом, всё срединное и нижнее течение Оки.

Год на год не походил. Сейчас каждый следующий год обязан был давать прибавку в поступательности. Не впустить ордынца внутрь Междуречья — так можно было бы обозначить малую задачу 1376 года. Вторая, более трудоёмкая, откладывалась на его конец, на зиму. К ней можно было приступить лишь по выполнении первой, истекавшей с наступлением холодов, потому что знали: по снегу Мамай не пустит своих всадников на Русь изгоном, а утяжелять набег малоподвижным обозом с фуражом тоже не в его привычке.

Наконец дождались зимы, и теперь пора было использовать большую часть заслонных полков для осуществления второй задачи.

Всё-таки многократные ушкуйнические самовольства на Волге и её притоках, как отрицательно ни относился Дмитрий Иванович к разбойничьему пошибу новгородской вольницы, оказались бесполезны хотя бы тем, что давали возможность наблюдательному уму приглядеться к слабым местам золотоордынских окраин.

Одним из таких слабых мест, безусловно, являлась сейчас Волжская Булгария. Её связь с Сараем весьма порасшаталась за времена «великой замятии». Это не означало, что Булгарский улус совсем откололся от Орды; князьями тут по-прежнему сидели то ставленники сарайских ханов, то исполнители воли Мамаёв. Но неразбериха, царившая на Низу, вносила разлад и в жизнь окраины, ещё во времена Узбек-хана переживавшей пору расцвета. Русские люди помнили, однако, и времена более отдалённые, до нашествия, когда волжский сосед внимательно прислушивался к голосу великокняжеского Владимира. Дмитрий Иванович считал, что настала пора

напомнить о тех временах во всеуслышание. И в этом с ним полностью сходилась его тесть-нижегородец. Он-то и возглавил поход на Булгарию.

Летописи о зимнем походе 1376 года сообщают вкратце и совсем ничего не говорят о его политической и военной подоплёке. А ведь как-никак готовился первый чисто наступательный шаг русских сил в направлении Орды, первый за все времена ига. Можно догадываться: в этом рискованном предприятии была продумана каждая подробность. Начать хотя бы с назначения предводителем великокняжеского войска Дмитрия Константиновича Нижегородского. Тем самым походу как бы придавался смысл поступка частного и местного: тесть великого князя московского выступает, чтобы несколько осадить своего восточного соседа, не более того. В случае возможных осложнений с Ордой Дмитрию Ивановичу нетрудно будет доказать свою непричастность к происшедшему. Но и Дмитрия Константиновича такой расчёт устраивал. Поход обещал быть успешным, поскольку зять придал ему в помощь полк во главе с таким надёжным воеводой, как князь Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец. Нижегородцу выпадала честь вписать первое слово в открывающуюся ныне новую страницу русского противостояния Орде.

Очень точно было выбрано и время. Готовились всю зиму, а к Булгару подошли по последнему льду 16 марта, в самую неподходящую для воинских передвижений и потому самую неожиданную пору.

Булгар встретил русских раскатами грома, невольно поражавшими в это время года: вроде бы рановато для первой весенней грозы! Выяснилось, что грохот производился пушечной пальбой: защитники столицы «гром пущающе з града, страшаще Русское воинство». Видимо, болгары недавно завели у себя пушки, эту новинку европейской военной техники, и рассчитывали ошеломить противника чудовищным рыком, клубами дыма и языками пламени из орудийных жерл — о толковом прицельном огне вряд ли тогда могла идти речь. Одновременно они устроили основательную вылазку, и тут также имелся у них в запасе свой «конёк», состоявший в том, что часть всадников выехала верхом на верблюдах. Зрелище змееголовых и двугорбых существ, по их замыслу, должно было переполошить лошадей противника и внести дополнительную сумятицу в его ряды.

Однако ни пушки, ни верблюды не произвели должного впечатления на русских. Если они пока и не имели в своих городах пушек (впрочем, существует мнение, что всё же имели), то, по крайней мере, немало слышали об этих метательных снарядах, действующих с помощью легковоспламеняющегося зелья. От тех же псковичей и новгородцев слышали, на которых немец уже хаживал с неповоротливо-смешными

чугунными громобоями. Испугать мог первый, второй, ну третий выстрел, а там и скучно делалось: эка невидаль, иная гроза летом до печёнки проймёт, хоть ложись да помирай; а тут жди, пока они её зарядят, да пока примерятся, да огонь раздуют, и летит тот камень всё по одной и той же дуге, и шлёпается в снег да в грязь, что твоя жаба. Всего и отличья от обычных камнемётов, что летит пушечный снаряд подальше да поборзей. Как рыкнула железная глотка, тут уж, напоследок, держи ухо востро, чтоб не оторвало его вместе с головой.

Достаточно нелепыми показались русским в бою и верблюды. Не хватило, знать, лошадок у болгарцев. Как начали подпихивать вылазку к городским стенам, эта их горбатая конница наделала хлопот собственному воинству — там и сям возникли заторы.

Ещё от прадедовых времён сбереглось предание, что болгары в поле несильны, но города свои держат крепко. До осады, однако, не дошло. Стольные князья Асан и Мамат-Салтан поспешили выслать челобитчиков, и последние вели себя робко и согласительно. Русские князья, посоветовавшись, выставили самые крутые требования: откуп был запрошен в пять тысяч рублей! Число, что и говорить, громадное! Пять тысяч вся Русь, бывало, платила в Орду в качестве очередного «выхода». Но попытка не пытка, пусть Асан с Маматом, за спинами которых стоит трусливая купеческая верхушка города, пощупают как следует своих купцов.

Именно так те, должно быть, и поступили. Откуп распределён был между победителями следующим образом: великому князю московскому Дмитрию Ивановичу — одну тысячу, великому князю Дмитрию Константиновичу — тоже тысячу, три тысячи — воеводам и воинству.

Кроме того, по условиям мира побеждённые обязались принять к себе в столицу великокняжеских даругу (посла) и таможенника.

Дмитрий Иванович мог только порадоваться столь успешным итогам болгарского похода. Обошлось почти без потерь в живой силе. Впечатлял своими размерами привезённый на Русь откуп. Но куда ценнее откупа была сама победная весть, она разнесётся теперь эхом по всем княжествам, вдохновит друзей Москвы, заставит крепко задуматься её недоброжелателей. Тем же, кто знает по книгам и преданиям домонгольскую старину, — знак особой важности. Ведь, пожалуй, сам Всеволод Большое Гнездо, не раз побеждавший болгар, был бы доволен таким походом. Хорошо, наконец, и то, что столь решительная победа смывает досадную память о недавнем волжском кутеже ушкуйников, вырезанных в Асторокани.

Москва показывает: вот как можно повести дело против Орды и её улусников, если браться за него с умом.

II

Между тем из Вильно передали: умер Ольгерд.

Дмитрий Иванович вскоре мог услышать и подробный рассказ о том, как хоронили литовского первокнязя. Ольгерд завещал, чтобы тело его, по языческому обряду, было предано огню. Вместе с князем, убранным в любимые им одежды, положили его рыцарские доспехи — саблю, копье, сагайдак, заодно было сожжено и восемнадцать боевых коней. Когда занялся пламенем сруб, сложенный из отборных смоляных сосен, под плач всех присутствующих стали, по обычаю предков, метать в огонь охотничьи трофеи — рысьи и медвежьи лапы.

В Москве, в великокняжеском совете, когда получено было подтверждение несомненности случившегося, стали прикидывать: сколько же детей мужеска пола осталось от старика? Оказалось, не так уж и мало: от первой жены пятеро да от второй семеро. Самый старший, Андрей, сидит в Полоцке, москвичи его знают добре, во всех Литовщинах участвовал, не одного из них в стычках пометил шрамами. Следующий, Дмитрий, княжит теперь совсем поблизости, в Брянске. Этого тоже не раз видали в лицо и в спину, только вот не уноровили достать копьем либо сулицей. За ними — Константин, Владимир, что на киевский стол отцом посажен, Фёдор.

Все сыны от Ульяны тверской носят литовские языческие имена: Корибут, Скиригайло, Ягайло, или, как ещё прозывают его, Лягайло, он же Агайло, затем Свидригайло, он же Свистригайло, Коригайло, Минигайло, Лугвений... Как-то разберутся они нынче между собой, да ещё при живом дяде Кейстуте, у коего тоже великовозрастных ребят немало, тот же Витовт хотя бы?

По русским обычаям великое княжение от родителя (при отсутствии у него родных братьев) переходит к первенцу, остальным сыновьям достаются уделы. Но у литовцев свои правила престолонаследия, вернее, никаких правил, кроме воли отца. Кто же у Ольгерда был любимейшим из двенадцати? Сердце старика, оказывается, повернулось к выводу здравствующей жены-тверитянки и избрало... Ягайлу.

К подобному волеизъявлению, похоже, никто не был готов ни в самой Литве, ни в её соседях. Старшие сыновья, естественно, разобиделись. Не

порадовался решению старшего брата и старый Кейстут с сыновьями. И тех и других оскорбляло, что в столь важное государственное дело вмешалась женщина; но и возмущаться было поздно — вмешалась она давно, когда всякую малую трещинку в отношениях Ольгерда со старшими детьми можно было ещё замазать глиной, она же те трещинки лелеяла и холила исподволь, пока не расщепилась земля вглубь — поперёк всего литовского рода.

Не успели ещё у людей просохнуть слёзы по Ольгерду, как один из его сыновей от второго брака, Скиригайло, он же Скорагайло — и правда, скор оказался на руку, — ввёл дружину в Киев, повязал единокровного своего брата Владимира, выслал его под стражей из города, а сам сел княжить на здешнем столе.

В Москве с напряжённым вниманием ожидали новых вестей из Литвы. Доходили смутные слухи о других неладах, едва ли не мятежах между княжеских. Похоже, что Ягайлу не так-то просто было усесться на отцов стол, несмотря на дружную поддержку единоутробных братьев. Поговаривали об особой решительности противодействующих ему Кейстута и Андрея Полоцкого. Но у последних вроде бы не имелось таких многочисленных связей с виленской военной верхушкой, какая была у Ульяны и её чад.

И вдруг, как снежный ком на заговор, обвалилась весть: убит великий князь Кейстут Гедиминович, перебиты его бояре и слуги, а Витовт Кейстутевич бежал из Литвы к немцам. В Вильно возмущение, неразбериха, но как будто осиливают сторонники Ягайлы и его матери.

Как ни насолили москвичам Кейстут и Витовт в пору Литовщины, но гибель одного и бегство другого совсем не вызвали радости в Кремле. Дмитрию Ивановичу нужна Литва дружеская или хотя бы мирная, какую её отчасти видели в последние годы правления Ольгерда, а не буйствующая, мятежная, сама себя поедающая. Распад Ольгердова монолита чреват осложнениями на московско-литовском порубежье, и, значит, опять придётся поглядывать в оба — и на юго-восток, и на запад.

Впрочем, политик и в самом малоприятном осложнении обязан видеть не одну лишь его хлопотную для себя сторону, но и прозревать возможность положительных последствий. Одно из таких последствий литовской замятии вскоре обнаружилось. Из Пскова сообщили в Москву, что туда с просьбой об убежище прибыл Андрей Ольгердович, князь полоцкий. Псковичи, по своей неискоренимой привычке покровительствовать всякому попавшему в нужду князю, приняли беглеца и, как засвидетельствовал местный летописец, «посадиша его на

княжение».

Событие было знаменательное. Бояре-старики из окружения Дмитрия Ивановича хорошо помнили, что первенец Ольгерда когда-то был посажен на псковский стол ещё в полудетском возрасте, тридцать пять лет назад (сейчас ему под пятьдесят). Быстро соскучась по своей Литве, он вскоре уехал и насылал лишь наместников, что, понятно, обижало псковичей. Потерпев так несколько лет, они насовсем отказали Андрею в столе, и он, вымещая злобу, стал пограблывать псковских купцов, на что псковичи ответили несколькими набегами на полоцкие волости.

Нынче же, забыв прошедшие которы, великодушный Псков опять вводит старшего Ольгердовича под своды Троицы и препоясывает его Довмонтовым мечом.

Так-то так, но и Дмитрий Иванович должен был выразить своё великокняжеское согласие (или несогласие) с действиями псковичей. Полоцкий князь покинул берега Великой и отправился в Москву.

Встретили его если и не совсем радушно, то далеко не равнодушно. Всё-таки тоже родственник. Вон Елена Ольгердовна, сестра его, до сих пор нет-нет да и всплакнёт по родителю. Что и говорить, не простого был нрава покойник — старших своих сыновей, Андрея и Дмитрия, невзлюбил он давно, с тех пор как приняли крещение по православному обряду.

Видать, правды в Вильно Андрей уже не добьётся, а если и добьётся, то не тотчас же. Хочет он пожить и послужить по русской правде, пожалуйста! Дмитрий Иванович согласен отдать ему в кормление Псков, благо сами псковичи не против. Но уж коли служить, так честно и грозно. Андрей Ольгердович — воин знаменитый; хотелось бы верить, что если случится какая тревога с ордынской стороны, то и он в тени не отсидится; равно и немцу не даст потачки, когда тот сунется на Псков или Новгород.

Как и положено, скрепили согласие своё договорной грамотой и на ней крест взаимно целовали.

Сама та грамота не сбереглась. Но ещё в XVII веке московские дьяки и подьячие видели её и поместили сообщение о ней в перечне древних великокняжеских грамот, известном в науке как Опись 1626 года. Эта Опись упоминает «...грамоту докончальную великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимера Ондреевича с великим князем Ондреем Олгердовичем...».

Замечательная подробность! Полоцкий князь по чину никогда не был «великим». Называя его так, московская грамота тем самым подтверждала его законное право на великий литовский стол. Дмитрий Иванович открыто отдавал своему новому союзнику предпочтение перед Ягайлом и его

братьями. Москва защищала потерпевшую сторону, рискуя навлечь на себя неудовольствие стороны победившей.

III

В том же 1377 году, когда умер Ольгерд и «прибеже князь Ондрей Олгердович во Псков», на окском рубеже произошли события, весьма печальные для Москвы и Нижнего Новгорода.

Победный поход русских ратников на болгар вызвал вполне понятное неудовольствие в ставке Мамае. На ту пору к могущественному темнику как раз перебежал из-за Волги, из Синей Орды, некий царевич-чингисид, которого русские летописи называют Арапшей (возможно, Араб-шах). Был он «свиреп зело, и ратник велий, и мужествен, и крепок, возрастом же телесным... мал зело...». (Карамзин, усиливая это выражение летописца, говорит, что Арапша «был карла станом, но великан мужеством».)

Царевич горел желанием прославиться, и Мамай предложил ему пойти изгоном на Русь, чтобы в первую очередь наказать хорошенько нижегородского князя.

Слух об опасности опередил появление Арапши. Дмитрий Константинович быстро сослался с зятем, великий князь московский немедленно собрал войско, сам повёл его к устью Оки на соединение с полками тестя.

Пока шли, от разведки то и дело поступали донесения, не содержавшие, впрочем, ни звука хоть о каком-нибудь воинском продвижении из пределов Мамаевой Орды. Это несколько расхолодило Дмитрия Ивановича. Может быть, нижегородские лазутчики ошиблись? Или поверили ложному слуху, намеренно пущенному из ставки Мамае?

Разведка по-прежнему не сообщала ничего нового, и, пробыв некоторое время в Нижнем, московский князь решил вернуться домой. (Возможно, ему как раз донесли о смерти Ольгерда и волнениях в Литве.) Не исключено, что этим своим решением Дмитрий Иванович избавил себя от смертельной опасности. Но вряд ли ему было потом легче оттого, что всё произошло в его отсутствие.

Сборное войско, в которое входили владимирская, юрьевская, ярославская, переславльская и муромская рати, перевезлось через Оку и, соединившись с нижегородцами, направилось в мордовские земли, к реке Пьяне. Во главе русских полков стоял средний сын Дмитрия Константиновича, Иван. Дорога к Пьяне была ему хорошо известна. Ровно

десять лет тому назад вместе с отцом, дядей Борисом и старшим братом Василием Кирдяпой Иван уже проходил здесь в челе суздальско-нижегородской рати, которая преследовала болгарского князя Булат-Темира, пограбившего окраинные волости Константиновичей. Славный то был поход! Как сокол, настигающий ворона, несколько раз трепала русская рать хвост вражеского отряда. Выскочив на берег Пьяны, воины Булат-Темира замешкались — не было ни бродов, ни готовых переправ. Погоня буквально спихнула их в воду, многие тогда утонули, сам Булат-Темир едва спасся и с малым остатком отряда ускакал на Сарай.

Нынче же шли ещё большей силой, только вот не с кем ею помериться. Где он, пресловутый Арапша? Ни слуху ни духу о нём, будто и не водится такого на свете. Рать перебралась за Пьяну. Про Арапшу и тут не было слышно. Где-то совсем далеко, говорят, ходит царевич. Да и попробовал бы сунуться на такую-то силищу!

Стояли июльские жары, над лугами стлалась дурманная духота. Люди томились от вынужденного безделья, изопревали в тяжёлых доспехах, в калимых солнцем шеломах. Кое-кто начал разболокаться, снимать с себя кольчуги, поручи, железные шишаки. Укладывали ратное своё добро в сумы на телеги, туда же и копьё со щитами наваливали, рогатины и прочее оружие. Кое у кого ещё и наверхие копьё не было на древко насажено, так и не вытащил из сумы: чего, мол, там, всё равно скоро по домам. Запахло над обозами пивом да мёдом, у окрестной мордвы напромышляли этого добра вдоволь. Собрались-то к бою, а попали к винопою. Тут и посваталось безделье к похмелью. Кто охотой увлёкся, кто отсыпался за все свои ночи недосланные. Люди «ездеша, — вспоминал современник, — порты своя с плеч спущающе, а петли разстегавше, аки в бане распревше...». Об ордынцах говорили снисходительно: «Может един от нас на сто татаринехати, поистинне никто не может противу нас стати».

Между тем мордовские князья, в земле которых находилось сейчас бездействующее русское войско, тайными путями провели полки ордынцев к Пьяне. Разведка проглядела их, потому что, как и все остальные, боевые сторожа погрязли в беспечности.

Отрезвление было ужасным. Второго августа пополудни в русские обозные тылы вонзилось пять клиньев ордынской конницы. Ни один из воевод не оказался в состоянии наладить сопротивление. То, что происходило, нельзя было назвать сражением, это была кровавая бойня. Люди очумело метались: кто разыскивал коня, кто пытался натянуть кольчугу, кто искал древко для наконечника сулицы, кто окликал воеводу или сотника; большинство кинулось наутёк. Князь Иван во главе бегущих

понёсся верхом прямо к берегу Пьяны. Сверзившись с конём в воду, он тут же начал тонуть. И ещё многие, многие захлебнулись в помутневших её струях. А кто спасся от погони, хлебнул потом позора вдоволь. А кто и до Пьяны не добежал, оказался в плену, и полон тот был «безчислен».

Враг не удовольствовался разгромом русского войска и кинулся, возбуждённый даровой победой, на Нижний Новгород. Расстояние от Пьяны до усть-Оки конники покрыли за три дня и утром пятого августа ворвались в нижегородский нагорный посад. Недостроенный ещё полукаменный-полудеревянный кремль защищать было некому. Дмитрий Константинович накануне с небольшим числом слуг ускорил в Суздаль, «все бо воинство его избиено быша». Впрочем, горожан своевременно оповестили о невозможности обороны, и ордынцы узрели почти полностью обезлюдившие дворы. Большинство жителей ушло на судах вверх по Волге, в Городец.

Ордынцы шарили в Нижнем два дня, пожгли крепость, более трёх десятков деревянных церквей и затем подались пустошить окрестные волости.

Спустя две недели Дмитрий Константинович, по-прежнему остававшийся в Суздале, отправил старшего сына Василия Кирдяпу разыскивать тело утонувшего Ивана. Колоду с останками привезли в Нижний.

Слёзы не живая вода, никого ещё никогда не воскрешали, слёзы — только живым утеха в их горе. Плач стоял тогда и в Нижнем, и в Суздале, и в Москве, где по родному брату взголосила великая княгиня Евдокия Дмитриевна. Некому было утешить переславльских, владимирских, муромских, ярославльских вдов.

Сокрушался о происшедшем и великий князь московский. Сколько перебито и угнано в полон лучших его воинов! Однако лучших ли? Кто повинен в случившемся? Только ли беспечный молоденький князь и бахвалы воеводы? А дозорные куда глядели? А пешцы, которые даже не удосужились насадить железные жала на свои рогатины?.. Все распоясались под стать друг другу, с каждого положен бы спрос за хвастовство, за ротозейство, за одурь пьяную. Да разве лишь на том свете и спросится, на этом уже не с кого... В старых летописях поминают слова, якобы князем Владимиром Святославичем сказанные: «Веселие Руси есть пити...» Как знать, может, когда и веселие было, ныне же одно постылое, постыдное похмелье. Вдоволь напоялись у Пьяны-реки, ничего не скажешь! Даже ушкуйников перещеголяли, астороканский их кутёж.

Возмуцало Дмитрия Ивановича и подлое поведение мордовских

князьков. Мало того, что навели врага на русское войско, ещё и сами по его следам занялись грабежом в нижегородских сёлах — в тех, куда ордынцы впопыхах не наведались. Молодцом городецкий князь Борис! Сделал то, что и должно, на первых хотя бы порах: с малой дружиной решительно кинулся вдогон мордовским ватагам. И не дивно ли, что опять на берегу Пьяны столкнулись? Одних Борис избил, прижав к воде, другие потонули, переправляясь на тот берег, только счастливики спаслись. В иной бы раз порадоваться ратной удаче, да уж какая ныне радость; к тому же мордва не Орда, такие же данники хановы, победой над ними славы не наживёшь, да и позора недавнего пьянского не искупишь.

Впрочем, мордовские племенные князьки и после того, как проучил их Борис, не уgomонились. Наверное, распалял в них жажду лёгкой поживы царевич Арапша, который осенью наведалься к окскому рубежу с рязанского бока. Как только Арапша, подгоняемый первыми снегопадами, ушёл в степь, великий князь московский стал совместно с Дмитрием Константиновичем готовить рать в землю мордовскую.

Необходимо было наказать заокских соседей за новые грабежи, а главное — острастить их на будущее. Что это вдруг записались они в полные холопы к Мамаю? Времена переменчивы, а ордынцы не вечны: пришли в свой час без спросу и уйдут когда-нибудь, никого из холопов не предупредив. Стыдно тогда станет перед Русью тем, кто прислуживал её врагам по дням, когда те отдыхали.

Рать снова возглавил Борис Константинович. Нижегородский полк повёл младший сын Дмитрия-Фомы Семён. Великий князь московский отрядил им в придачу отряд и воеводою поставил одного из молодых бояр своего совета, Фёдора Андреевича Свибла, того самого Федю Свибла, с которым вместе подрастали и который потом при строительстве каменного Кремля отвечал за возведение угловой, Свибловой башни.

Не проповеди читать соседям отправились ратники и по законам войны вели себя немилосердно. Когда вернулись в Нижний, то на виду у всего города, ещё черневшего островами обгорелых дворов, вытолкали толпу пленников на лёд и затравили собаками. Страшное, кровь холодящее позорище! Не подобную ли кару стали с тех пор называть «собачьей смертью»? Но с тех именно пор летописцы никогда больше не поминали о мордовских грабежах в нижегородских волостях.

Морозы стояли в ту зиму лютые. Много по деревням замёрзло людей и скота. В реках и озёрах лёд дорастал до дна и околевали рыбы. Деревья стреляли в лесах, дикое зверьё жалось к жилищам.

В такую-то пору умирал в Москве престарелый, восьмидесяти пяти лет от роду, митрополит Алексей. Кровь в его высохшем теле устало брела по жилам, не согревая ни ног, ни рук, испятнанных земляной ржавью старческих веснушек. Под бровями, будто инеем запорошёнными, синели полудуги глубоко запавших глазниц.

В последние времена он часто недомогал, и за состоянием его здоровья следили многие, очень даже многие. В 1374 году, выехав по церковным делам в Тверь — это был один из последних его выездов за пределы Москвы, — митрополит познакомился с патриаршим послом по имени Киприан. То ли серб, то ли болгарин родом, Киприан оказался начитанным богословом, последователем учения исихастов, он был неплохо знаком с трудами византийского мыслителя Григория Паламы, коего книги на Руси также читали и почитали. Но цареградский посол, как показали беседы с ним, не худо разбирался и в мирских делах; он до этого прожил несколько лет в Литве, горел мыслью о духовном преображении этой земли, о присоединении её клону православной ойкумены, у которой ныне столько врагов и на западе, и на востоке. Кажется, он понимал и то, что подобное присоединение Литвы — дело нелёгкое, поскольку её князья-язычники непременно условием своего крещения выставляют учреждение для Литвы особой, отдельной от Москвы митрополии, а Москве это вовсе не желательно; недаром Алексей в своё время так настойчиво добивался в Царьграде, чтобы не посылали в Литву митрополитом Романа.

Из Твери Алексей держал путь на Переславль, где тогда находился Дмитрий Иванович с семьёй. Киприан вызвался сопровождать митрополита. Во время этой поездки посол познакомился с Сергием Радонежским, а в Переславле не мог не быть представлен великому князю московскому и владимирскому. Надо полагать, Дмитрий Иванович уделил столь высокому гостю все знаки внимания, поскольку тогда на Руси о Киприане ещё не поговаривали как о «втором Романе».

Но из московской земли посол снова отбыл в Литву, и о нём вскоре именно в таком смысле начали поговаривать — как о «втором Романе».

Позже выяснилось, что Киприан вёл неоднократные подготовительные беседы с литовскими князьями (ещё и Ольгерд был жив). Да если бы только беседы? Выехав из Вильно в Царьград, он повёз с собой письмо-жалобу литовцев на митрополита московского, которую сам помог им

сочинить. «И вот шлётся от них грамота с просьбою поставить его в митрополиты и с угрозой, что если он не будет поставлен, то они возьмут другого от латинской церкви, — грамота, которой он сам был не только составителем, но и подателем», — такая оценка привезённого Киприаном письма и его поступка была дана в патриаршей канцелярии в 1380 году. Более того, он по этой оценке именовался сочинителем «ябеда, наполненной множеством обвинительных пунктов» против митрополита Алексея.

Странная получалась картина: выставя себя перед митрополитом поборником церковного единовластия на Руси, Киприан на деле добивался расчленения единой митрополии надвое; уговаривая Алексея не утруждать себя поездками в западные области, он же научил литовцев жаловаться как раз на то, что московский старец к ним не ездит.

Пусть Дмитрий Иванович видел эту картину ещё не во всех подробностях, но о главном он догадывался. К тому же, как ни скрытно действовал Киприан, рано или поздно главное его побуждение должно было выйти наружу.

Это произошло летом 1376 года, когда он вдруг объявился в Киеве в качестве... митрополита.

«Князь же велики Дмитрей Ивановичь, — читаем в Никоновской летописи, — не прия его, рек ему сице: „Есть у нас митрополит Алексей, а ты почто ставишися на живаго митрополита?“».

Из другой летописи, Рогожской, известно, что константинопольский патриарх Филофей в том же 1376 году направил в Москву двух своих сановников с поручением разъяснить митрополиту и великому князю правоту его, патриарха, воли относительно Киприана: он вовсе не желает делить Русь на две митрополии, но поскольку Алексей стар и в продолжение многих лет оставлял без внимания западные епархии, то на них временно, дабы «не предать весь народ на погибель», ставится митрополитом Киприан, с тем чтобы «после смерти кир Алексея кир Киприан получил всю Русь и был одним митрополитом всея Руси».

Но неужели в Царьграде не ведают, отчего Алексей перестал ездить в Литву? Да Ольгерд просто не желал видеть его у себя в Литве, а когда митрополит на свой страх и риск прибыл всё же в Киев, его кинули в темницу, едва-едва выскользнул из лап смерти. Может, и Романа поставляли в литовские митрополиты временно? Нет, Литва желала, чтобы он стал постоянным и единственным и гнул бы на всю Русь их линию. Так и Киприан, дай ему власть, будет гнуть линию Литвы, и в Москве сидючи.

Да и мог ли стерпеть Дмитрий Иванович такое оскорбление своего

митрополита?! С детских лет этот человек был ему вместо отца. Что было бы сейчас с ним, Дмитрием, со всей Москвой, с целой Русью, с тою же Литвой, не находишь среди них и *над ними* этот благородный старец? В какую бы темень забрели они без такого пастыря? И его, ещё живого, пусть и недужного, в Константинополе не стесняются заменить?

Наконец, он *кровно* русский митрополит, и неужели это маловажно? Неужели это допустимо лишь в порядке исключения? Алексей и сам желает, чтобы его преемником был свой, соотечественник.

Так, совсем недавно — и Дмитрий тому свидетель — старец, почувствовав себя особенно плохо, послал людей за троицким игуменом.

Смутился Сергей, когда услышал от митрополита, что тот захотел бы видеть его своим преемником. Изучивший людскую натуру до самых невнятных её закоулков, Алексей видел, что это не то смущение, которым стараются скрыть внутреннюю радость от услышанного. И не потому сказал Сергей своё твёрдое «нет», что так положено по обычаю: отказаться для начала, а там и согласиться. Сергей отказывался, при всегдашней его кротости, почти с протестующим видом. Нет, нет и нет! Он не родился для того, чтобы взойти на ступень такого высокого сана, дело это выше его меры, об этом не следует больше и говорить.

Огорчил Алексея безоговорочный отказ троицкого игумена. Искренне огорчён был и князь. Сергия поддержали бы все епископы, его и в Царьграде давно чтут, кто бы сказал против него хоть слово? Конечно, можно понять тихого игумена. То, что легко давалось Алексею, горожанину, всю жизнь проводшему на людях, почти в миру, смело и решительно вступавшему во всякое житейское коловращение, равно невозмутимому в княжьем совете, в ставке хана и в приёмной патриарха, — всё это, пожалуй, совсем не с руки будет Сергию. Попробуй оторвать дерево от земли, крестьянина — от его нивы. Сергия с его загорелым, обветренным лицом, с его руками, почерневшими от мужичьей работы, действительно невозможно представить в ослепительных митрополичьих ризах, окружённого сонмом священнослужителей.

Но кто же всё-таки заменит незаменимого Алексея?

Двадцать восемь лет прожил Дмитрий под его духовным призором, и не было ему в чём упрекнуть своего митрополита. В том лишь разве, что не оставлял теперь по себе достойного наследника...

И опять, в который раз, ворвались изгоном конники Мамаевой Орды в нижегородскую землю. Должно быть, учуяли, что князь Дмитрий Константинович в Нижнем отсутствует, а без него не окажут им должного отпора. Горожане на лодках и ладьях, на стругах, насадах и учанах, на всём, что стояло тогда на привязи у пристаней, кинулись к противоположному берегу Волги и оттуда наблюдали за муравьиным мельтешением грабежа. Кто-то погрёб в Городец звать в подмогу князь-Бориса. Тот вскоре объявился, но с малым числом ратных, недостаточным для боя. Сгрудившись на берегу, люди в оцепенении смотрели как на нелепый, часто повторяющийся сон: городская сторона завлакивается дымом, сквозь пелену его прорезываются столбы пламени, головни взлетают высоко вверх и сыплются с шипом в воду, и их относит по течению, и долго ещё чадят...

Невыносимая, оскорбительная череда повторений! И внукам и правнукам их будут сниться эти пожары.

Развеялся наконец дым на том берегу. Ордынцев тоже как будто ветром сдуло. По обычному своему правилу ушли они не той дорогой, какую на Нижний нагрянули, чтоб и на обратном пути было где пожить. Теперь, говорят, от усть-Оки подались на Берёзовое поле.

Год 1378-й ещё раз показал нижегородцам, как непросто жить на передовом мысу и как обременительна честь зачинщиков. Несколько лет, отданных почти непрерывной борьбе с ордынцами-налётчиками, с Волжской Булгарией и мордовскими князьками, основательно обескровили Нижегородское княжество. В итоге враг ни разу не проник здесь на земли Междуречья, но многие задумывались: не слишком ли дорогой ценой это далось? После поражения русских войск при Пьяне и бесчинств, учинённых Арапшей в самом Нижнем, Дмитрий Константинович предпочитал жить в старой столице своего княжества — в тихом, удалённом от воинских смерчей Суздале.

Впрочем, 1378 год только начинался, и основные его ратные события были впереди.

Во второй половине июля к Дмитрию Ивановичу всё чаще стали поступать тревожные сведения от заокской дальней разведки, отмечавшей передвижение значительных сил противника к южным окраинам рязанской земли. По предварительным наблюдениям, рать, вышедшая из степей Мамаевой Орды, была гораздо многочисленней обычных отрядов, что в последние годы тревожили русский юг.

Среди множества наших малых речек есть такое негромкое имя: Вожа. Петляющая в полях и перелесках Заочья, она впадает в Оку немного севернее Рязани. В 1378 году это имя, ничем до того не приметное, впервые

было занесено на страницы летописей.

В самом начале августа великокняжеская рать, предводительствуемая Дмитрием Ивановичем, перевезлась через Оку напротив Коломны и стала медленно, выдерживая все меры предосторожности, спускаться в южном направлении.

Это, пожалуй, напоминало прошлогоднее продвижение к Пьяне: снова решили упредить возможный удар неприятеля вглубь Междуречья, встретив его на дальних подступах к окскому рубежу. Но сходство было лишь внешним, по рисунку поведения, не по его сути. Слишком жива ещё была и огорчительна память о Пьяне, чтобы позволить себе сейчас хоть малую толику небрежности, несобранности. Шли во всеоружии, несмотря на страдный жар августовского солнца, в поблекших от пыли доспехах, с грязными потёками пота на запыхлённых лицах.

Передали Дмитрию Ивановичу: с юга приближается на соединение с москвичами отряд прончан, подгоняемых опасностью неравного столкновения со степняками, ведёт их князь Данило Пронский. И подбадривало это: всё же какая-никакая, а подмога. И нагнетало тревогу: велико, знать, ныне числом Мамаево сборище. Пронск за нас, но хотелось знать: а что сам великий князь рязанский, где он, Олег Иванович? Отсутствие вроде извинительное: прошлым летом, после Пьяны, татары напали на его столицу, на Переславль Рязанский, застигли Олега врасплох, в потасовке даже пленили было князя, но раненому Олегу чудом удалось вырваться, утечь.

Говорили ещё: ордынские тьмы ведёт некий мурза по имени то ли Бегич, то ли Бигич. Не слышно что-то раньше было про такого полководца. Как из бездонного мешка, каждый год извлекает Мамай новых и новых военачальников, неведомо лишь, в какую прорву исчезают предыдущие.

Вот и Вожа-река. Если Бегич, идучи от Пронска, не завернёт на Рязань, то как раз сюда, к Воже, и должен бы выглянуть. Надо думать, и у степняков разведка не дремлет, чуют уже, где ждёт их московская сила.

По многочисленности сторожевых разъездов, по обилию копытных следов, оставленных чужими разведчиками, по участвовавшим случаям мелких стычек наиболее ретивых всадников и та и другая стороны могли догадываться, что счёт противника нужно вести не просто на тысячи, но на десятки тысяч. Это обстоятельство заставляло и тех и других держаться крайне опасно. Между ними была река, и очень многое зависело от того, кто решится первым её перейти. Войско, переходящее или только что перешедшее реку, может оказаться в наиболее уязвимом положении, поскольку оно ещё не выстроено в боевые порядки. Сильным налётом

конницы его легко снова вогнать в воду, в месиво, в толчею. Чтобы с уверенностью преодолевать речной рубеж, нужно твёрдо знать, что противник находится достаточно далеко, так далеко, чтобы не успел ударить по ещё не выстроенным войскам.

Вот почему и русские и степняки сейчас ждали. Ждали день, другой и третий. Ждали, зная, что сражение неминуемо, но надеясь, что противник первым погорячится, сделает оплошный шаг, и тогда всё решит один стремительный удар застоявшейся конницы.

Пехоты не было ни в том, ни в другом войске. Но Дмитрий Иванович уже знал, что у Бегича очень велик обоз, не в пример русскому. С таким обозом не ходят в лёгкий набег по пригородам и волостным сёлам. Такой обоз рассчитан на проникновение в глубь чужой, враждебно настроенной страны. Очевидно, Бегич предполагает не просто прощупать сторожевые стоянки на Оке, но надеется и Междуречья вкусить; он, может быть, и до самой Москвы не прочь пустить тысячу-другую всадников, чтобы напомнить русским о временах ордынской вездесущности.

Но сражение ему будет дано здесь, на Воже. Надо лишь вынудить его перейти наконец реку. А для этого надо показать его разведке, что русские избегают сражения, что они первыми не выдержали напряжённости стояния и отходят. Несколько вёрст пустого пространства, ископыченного, со следами костров, — чем не надёжная приманка?

11 августа, в послеполуденное время, ближе к вечеру ордынцы преодолели Вожу и «скочиша на грунах, кличюще гласы своими на князя великого Дмитрея Ивановича». Скакать *на грунах* означает ехать малой рысью, не переходящей в рысь полную. Смысл летописной фразы можно понимать двояко: или воины Бегича увидели вдаль великокняжеские полки и стали их выкликать, медленно идя на сближение; или они ещё не видели русских и, предполагая, что те отходят без боя, озорно и насмешливо кричали, заодно и себя приободряя.

Но русские отозвались быстро. Накануне Дмитрий Иванович разделил свою рать на три полка. Теперь полк правой руки, который вёл родной дядя великого князя Тимофей Вельяминов, на всём скаку заходил в бок ордынским построениям; полк левой руки с Даниилом Пронским во главе накатывался с другого бока. Главный полк, руководимый самим великим князем, «ударил в лице» противнику.

Таково было самое начало боя в изображении Рогожского летописца, который, несмотря на предельную краткость своего рассказа, подробно остановился на расстановке русских полков, уточнил характер действий каждого из них.

Уточнение весьма важное, оно убеждает в том, что, отдав приказ переходить Вожу, Бегич, видимо, всё же не был готов к немедленному сражению и не успел развести свои полки достаточно широко и тем самым обезопасить себя от возможных боковых ударов. Такой просчёт тем более был непростителен с его стороны, что именно ордынцы всегда славились умением брать противника в охапку, быстро охватывая и стискивая его конными отрядами левого и правого крыла.

А тут с воем, рёвом, улюлюканьем, ржаньем и визгом три громадных, плотно сбитых кома людей и лошадей, подобно трём горным обвалам, ударили в опешившие тьмы ордынцев. Звуки нарастали в своей ярости, ошарашивали тех, кто бездействовал в срединной толще Бегичева войска, всадников кренило то в один, то в другой бок. Передние уже повернули, но места для отступления не было, и они начали топтать своих. Задние же, свирепо ругаясь, не давали им пути; а с тылу, от реки, тоже подпирали те, кто ещё только выбирался на берег. Большинство не могло понять, что происходит и почему, если столкнулись с русскими, не дадут им настоящего боя. Крики начальников только прибавляли неразберихи. Стеснённая до предела середина потеряла управление и начала понемногу пятиться. В этой стеснённости, несвободе действия была оскорбительная для степняков похожесть на табун, загнанный в загородки; но вот раздаётся страшный треск, будто лопаются сухие жерди под напором обезумевшей силы, и всё неумоимо валит куда-то, и большинство бездумно устремляется туда же, не чуя, что там ждёт — спасение или гибель? — лишь бы не топтаться дольше на месте.

Скоротечность сражения подчёркивалась стремительным шествием августовских сумерек. В это время года в среднерусских широтах темнеет уже к девяти вечера: на глазах западает за тучи и леса последнее зарево; взбухают над водами дышащие клубы тумана; всё зыбится, мерещится и слонится.

По русским полкам полетело распоряжение: преследовать врага только до Вожи, сбить в реку, в дальнейшую погоню не ввязываться, поздно уже.

Часть ордынского войска, отсечённая от реки боковыми ударами русских полков, была уничтожена полностью; не меньшую часть повалили наземь при погоне, настигнув копьём, сулицей либо мечом. Река клокотала, выйдя из берегов.

...Белая стена, постепенно оцепенявшая берега и воду, глушила звуки. Словно безмолвный седой сон исходил от трав, от кустов, от слезящихся камней. Стоны раненых становились всё нечленораздельней, будто сама земля изнемогала и бредила.

Ждали продолжить с утра битву, но утро не наступало. Вернее, оно по всем приметам уже обязано было наступить, а белёная мгла никак не расточалась, не было на неё ни ветра, ни дуновения. Почти до полудня простоял туманный полог над берегами. Когда он наконец исчез, открылось странное зрелище за Вожей: «И обретоша в поле двory их повержены, и шатры их, и вежы их, и юртовища, олачюги их, и телеги их, а в них товара безчисленно много...»

Они бежали сразу же, с вечера, оставив весь обоз. Им важно было за ночь уйти как можно дальше, исключив возможность погони. На поле боя они оставили тела своих знатных мурз, которых пленные определили в лицо и назвали по именам: Хазибей, Ковергуй, Карабулак, Кострук и Бегичка.

Потери в великокняжеском войске оказались незначительными. Из воевод в вечернем бою погибли белозерский боярин Дмитрий Монастырёв и Назар Данилович Кусаков.

Если попытаться представить себе то состояние духа, которое царило в русском стане после полудня 12 августа, то это была, наверное, смесь некоторой растерянности с той ликующей освобождённой, какая бывает в теле и на душе после скинутого с плеч тяжкого груза. Откровенно говоря, не ожидали, что Бегич будет потрясён до такой степени и кинется прочь без оглядки. Но происшедшее вовсе не было каким-то недоразумением, победа вовсе не далась даром. Несколько дней изнурительного выжидания, противоборства выдержек чего-то да стоили. Великий князь московский и его соратники оказались много хладнокровнее и дождались наконец того самого часа, той самой минуты, отгадали её среди иных.

Растерянность же была оттого, что впервые побеждали в открытом поле самих ордынцев, да ещё так впечатляюще, так крупно и бесспорно. За многие десятилетия притерпелись бежать и рассыпаться при виде своего старинного врага, но осиливать его, да ещё и бежать за ним вдогон оказалось внове, к этому тоже требовалась привычка, навык.

Так вот и вчера, может, не стоило спешить с приказом о прекращении погони? Теперь же, с разрывом во времени в полсуток, затевать преследование Бегича неразумно с военной точки зрения.

Конечно, на будущее надо и это иметь в виду — что ордынцы при поражении так же приходят в ужас и так же безостановочно бегут, как и прочие смертные. А в остальном, в главном, на Воже победили по всем правилам! Победили, навязав свою волю, место и время сражения, сумев извлечь все выгоды из толковой расстановки полков и стремительности одновременного трёхстороннего удара.

При виде потрёпанных, обещенных остатков своего войска Мамай должен был наконец осознать всю нешуточность намерений московского улусника. Дело заходило слишком далеко. Хорошо было бы наказать Москву немедленно, да лето на исходе, и силы, хотя бы равной Бегичевой рати, сразу не набрать. Наступил сентябрь, и великий темник, чтобы хоть чем-то ответить на оглушительную оплеуху, полученную при Воже, сколотил легкоконный отряд и выслал его изгоном всё на ту же Рязань.

Князь Олег Иванович о близости карателей проведал слишком поздно. Он не поспевал ни собрать достаточной рати, ни попросить помощи у москвичей, отошедших за Оку. Опять, в который уже раз, получалось, что ордынцы вымещают зло на нём, на его людях и городах именно потому, что он с краю. Он уклонился от сражения на Воже, но вынужден расплачиваться за успех Дмитрия. От чужой славы на спине соль. Перебравшись с малой дружиной за Оку, Олег по привычке скрылся в лесах, и горечь от сознания собственного бессилия снова исподволь начала производить в нём разрушительную работу.

Но и на московской стороне также не ожидали столь скорого ордынского ответа. Совсем недавно ратники великого князя и прончане защитили Рязань от воинов Бегича, и их ли вина была сейчас, если Олег не подал заблаговременно никакого знака тревоги.

Впрочем, степняки не так уж много корысти извлекли из набега на самое бедное русское княжество. Если Мамай в чём и преуспел отчасти, то лишь в том, что косвенно осложнил отношения между Москвой и Рязанью. Но это последствие ордынской изгоны всплывёт наружу не сразу, а лишь летом — осенью 1380 года.

Никоновский летописец, повествуя о битве на Воже, говорит, что полк правой руки возглавлял князь Андрей Полоцкий, Рогожская летопись, как помним, называет воеводой этого полка окольного Тимофея Вельяминова. В том, что старший сын Ольгерда мог быть тогда одним из воевод русской рати, нет ничего невероятного. Вспомним: Андрей Ольгердович как раз в первой половине 1378 года бежал из Литвы в Псков и оттуда приехал в Москву. Участие в походе за Оку могло стать для знаменитого воина первым испытанием на верность русскому оружию.

А меньше чем через полгода предстояло ему ещё испытание, на сей раз более трудное. 9 декабря большое великокняжеское войско — вести его Дмитрий Иванович поручил двоюродному брату — двинулось воевать

Брянское княжество, подпавшее Литве. Рядом с серпуховским князем шли в качестве воевод Дмитрий Михайлович Боброк и первенец Ольгерда. Мало того что воевать против литовцев отправились два князя — выходцы из этой самой Литвы. Андрей Полоцкий выступал к тому же и против своего родного брата Дмитрия Ольгердовича, который ещё при жизни отца посажен был на брянский стол, отнятый у смоленских князей. Москва хотела воспользоваться внутренними противоречиями в литовском княжеском доме и, кажется, не очень пока уверенным самочувствием Ягайлы, чтобы на брянском направлении значительно отодвинуть на запад литовский рубеж. С выполнением такой задачи ощутимо укрепились бы и окская оборона, поскольку Брянское и прилегающие к нему малые удельные княжества — Трубчевское и Стародубское — выступали на юг глубоким мысом и как бы подпирали собою с запада верховья Оки.

Дмитрий Иванович не случайно выбрал для наступления зиму: с приходом тёплых месяцев коломенский и серпуховской полки в первую очередь могут понадобиться ему для стражи на окской линии. Вряд ли Мамай чувствует себя сполна отмщённым и не захочет новой крови.

Возглавляемое князем Владимиром Андреевичем войско действовало более чем удачно. Были взяты Трубчевск и Стародуб, повоєваны многие волости. К великой радости Андрея Полоцкого, его брат Дмитрий, оказавшийся в Трубчевске, «не стал на бой, не поднял руки против великого князя, но со многым смирением изыде из града, и со княгинею своею, и з детми своими, и з бояры, и прииде на Москву в ряд к великому князю Дмитрею Ивановичю...».

Это волеизъявление ещё одного Ольгердовича было, пожалуй, подороже иной воинской победы. Оно укрепляло надежду на то, что раздорному русско-литовскому сосѣдству удастся со временем придать черты устойчивого, скреплённого духовной общностью содружества. Пока же в освобождённые города были посланы великокняжеские наместники, а Дмитрий Ольгердович получил в виде кормления старый и богатый Переславль «со всеми пошлинами». Щедростью своей великий князь московский хотел подчеркнуть, как дорог для него добровольный приход этого бывалого военачальника.

Наступившее лето 1379 года, помимо ожиданий, оказалось спокойным. По крайней мере, если и были какие-либо воинские брожения вблизи окского рубежа, то настолько незначительные, что летописцы не сочли нужным их отметить.

Москву видимое бездействие Мамай должно было, однако, месяц от месяца настораживать. Так настораживает тишина предгрозя, когда солнце

светит ещё ярко и из-за лесных вершин пока не видно вздыбленной иссиня-чёрной стены, но воздух уже оцепенел, перестали петь птицы и трещать кузнечики, и в отражённом сверкании листьев и трав появилась какая-то блеклая зловещинка.

Глава одиннадцатая

За други своя

I

Вроде бы тихо начиналось и следующее лето, от года нашествия 143-е. Но в первых числах июня потряслась земля кремлёвского холма в Коломне: рухнула верхняя часть каменной соборной церкви, уже почти достроенной.

Нечасто падали каменные храмы — в летописях случаи наперечёт. По силе впечатления такое подобно было трусу земному либо полной убыли солнца средь бела дня, если не страшнее того. Собор строился по личной воле Дмитрия Ивановича и был весьма велик, больше любого из храмов Московского Кремля; за образец зодчие взяли главную святыню Междуречья — владимирский Успенский собор.

Как только Дмитрию стали известны подлинные размеры обвала, он дополнительно отрядил людей для скорейшей его разборки и возобновления строительства.

Зазвучали снова молотки да тёсла в Коломне — эхом отдался им в Серпухове звяк плотницких секир. Там тоже стройка велась немалая и уже заканчивалась: Владимир Андреевич в кромнике своём над Нарой воздвиг дубовый Троицкий собор. В дружной и общей работе легко забывалась, будто выходила с потом наружу, всякая смута дурных предчувствий.

Хлеба выкинули зелёный колос, пересохли соловьиные вражки, и кукушка — лесная гадалка — онемела. Лето почти уже преполовинилось, когда наконец исподволь стала приоткрываться причина затянувшегося ордынского молчания.

Мамай потому не прислал новых карателей ни прошлым летом, ни нынешним, что он собирался *сам*, и именно оттого собирался так долго и скрытно.

Русские летописцы, рассказавшие потом о приготовлениях Мамай, кажется, неплохо поняли внутреннее состояние выдающегося временщика, испытываемые им тревожнения. Вот уже более четверти века он властвовал в Улусе Джучи почти так, как хотел: сменял неугодных ханов, назначал и смещал военачальников, дружил с самыми богатыми торговцами Евразии и сам был готов помериться богатством с любым из них. Правда, при нём

Улус Джучи раскололся надвое, но та часть, которой правил Мамай, была гораздо богаче, многочисленней, носила его имя и неизменно расширялась. Так, совсем недавно он подчинил себе весь Северный Кавказ и после этого овладел ещё и Астороканьским улусом, где до того правил непослушный ему Хаджи-Черкес. А в тот самый год, когда были разбиты русские у Пьяны, другие полководцы Мамаю отняли наконец у венецианцев город Тану, стоящий на устье Дона, и над его крышами вместо венецианских флагов со львом, скинутых наземь, гордо взметнулись ордынские знамёна с полумесяцем.

И вот его, такого могущественного, Дмитрий Московский уже который год не ставит ни во что. Мамаю не радовало по-настоящему ни Пьянское побоище, ни сожжение кремля и посадов в Нижнем, ни лёгкость, с которой доставалась в последние годы добыча в Рязанском княжестве. Ока-река сделалась какой-то заколдованной чертой, которую не удалось переступить ни Арапше, ни опозорившему род свой Бегичу. Всё это наконец не на шутку тревожило Мамаю. Он тоже, между прочим, подумывал о бессмертной славе своего имени и вовсе не желал, чтобы о нём вспоминали как о властителе, при котором Русь, порвав ордынскую узду, вышла из повиновения. Он обязан вернуть Орде славу Батыева века!

Летопись подтверждает, что когда Мамаю пришло на ум сравнение с внуком Чингиса и он «хотяше второй царь Батый быти и всю Русскую землю пленити», то дело вовсе не ограничилось пожеланием, высокопарным мечтательством. Нет, Мамай решил внимательно и подробно *изучить* ордынское предание, он «нача испытovati от старых историй, како царь Батый пленил Русскую землю и всеми князи владел, яко-же хотел». Это испытывание «старых историй», исследование военного и политического опыта Батыева неминусом должно было настроить прилежного ученика на следующую мысль: для нового пленения Руси нужен поход поистине *великий*, тут не обойтись какими-то тычками и щипками с помощью изгонов, стремительно-вороватых набегов. Тут даже с воинством наподобие рати Бегича делать нечего. Тут нужна поистине *тьмища* людей: не только конников, но и пеших, не только тех, что имеются под рукой, но и наёмников; воинов должно быть столько, чтобы, войдя в Междуречье, можно было одновременно кинуть их в разных направлениях — на одно, на другое, третье княжество.

Но где Мамаю было набрать столько воинов? У Батыева не водилось таких врагов, как у него. Батыева не подпирали с востока, карауля каждый его неверный шаг. А у Мамаю за Волгой Синяя Орда, а в ней ныне Тохтамыш — выкормыш и правая рука Тимура, Железного Хромца. Про жестокость

Тимура говорят вещи неслыханные, сам бессмертный Чингисхан не позволял себе подобных расправ над пленными и мирным населением покорённых земель. Пока Тохтамыш по указке Тимура безуспешно воевал с ханами Синей Орды, сидевшими в Сарае-Берке, Мамай поглядывал на него как на союзника. Но сегодня Тохтамыш наконец-то сам уселся в Сарае и стал хозяином Синей Орды и, значит, врагом Мамаю. Судя по тому, как долго и вяло бился он за ханское место в Сарае, Тохтамыш — вояка некрепкий. По крайней мере, сразу он не сунется за Волгу, в Подонье, и у Мамаю вполне есть время подумать сейчас о Дмитрии.

Да и деньги есть. Денег у него больше, чем воинов, и потому советники уговаривают его не скупиться на дорогие дары, лишь бы нанять побольше ратников в окрестных языках — у тех же фрягов, сидящих в Крыму, у тех же ясов, армян и черкесов.

Как ни могуч был Батый, но и он не в один год справился с князьями русскими. Нынче Мамаю тем более нет нужды загребать чересчур широко. Русь, самое её ядро, сжалась в маленьком междуречье Волги и Оки. В Киеве сидят литовцы, и они вовсе не помощники Дмитрию. Более того, с Литвою он, Мамай, вполне против Дмитрия может договориться. Особенно с молодым и пылким Ягайлом, который ещё ничем, кроме придворной резни, не отличился, а как бы пристало ему отличиться на поле боя против Москвы.

О том, что Мамай уже ведёт переговоры с Ягайлом, в великокняжеском совете кое-какое представление имели и не очень-то этому удивлялись. Гораздо хуже было другое: ходили упорные слухи, что Ягайла науськивает против Москвы не только Мамай, но и... Олег Иванович, соседка дорогой. И что якобы оба они — Мамай и Олег — также друг с другом общаются устно и письменно. Слух слуху, конечно, рознь. Слух не зрит, чьё ухо дыряво, чья губа гугнява. Всякой молве верить — лучше не жить. А всё же и копоть — не дураками подмечено — без огня не заводится.

Меньше всего хотелось сейчас Дмитрию Ивановичу плохо думать о своём заокском соседе. Тем более что они не находились в розмирье. Но всё же опыт их отношений в прежние годы — опыт, к сожалению, самый разнообразный — подсказывал: на всякий случай где-то на краешке сознания придётся и этот слух держать до поры, когда толком он проверится. Как знать, может, кто-то нарочно запустил грязную молву в надежде, что мигом воспламенится московский князь, порвёт во гнев договоры с Олегом и тут же ввяжется с ним в драку.

То-то славный выйдет подарок Мамаю, и, как никогда, вовремя!

Нет, московскому князю сейчас надо было поглядывать дальше — туда, где кончались южные рязанские окраины. Следить денно и ночью, что там на ветру шевелится: трава ковыль, метёлки камышей или бунчуки ордынских стягов, цветные перья-еловцы на вражьих шлемах?

Во второй половине июня Дмитрий Иванович знал уже совершенно точно: из степей Мамаевой Орды снялась и медленно продвигается к верховьям Дона несметная ратная сила, сопровождаемая скрипом тысяч телег, ржанием табунов, бляением овечьих отар. Продвигается, стравливая и вытаптывая дикие приречные луга. Самым верхним местом, где обнаружили чужое войско, было устье реки Воронеж. Поистине что-то холодящее душу содержалось в этих подробностях продвижения врага: помнили ведь, что Батый тоже когда-то пришёл на Русь именно этим путём — берегом Дона, мимо устья Воронежа...

Впервые ордынцев вёл на Русь сам Мамай.

II

Воссоздав внутреннюю настроенность, в которой пребывал накануне этих событий Мамай, летописцы ещё более подробно и тщательно описывают то длительное и устойчивое настроение великого князя московского, каким оно отразилось в его действиях и поступках лета и осени 1380 года.

Может быть, раскраска его поведения, изложенного, допустим, в позднем рассказе Никоновского летописца, даже несколько избыточна в подробностях. Но как бы далеко во времени ни отстоял рассказчик от своего героя, оба они были людьми Древней Руси, и летописец в сопереживании князю оставался в рамках всё того же средневекового мирозерцания. Нам сегодня может показаться, что он иногда изображает Дмитрия чересчур сомневающимся, неуверенным в себе, слабым. Но эта *слабость* Дмитрия сознательно противопоставлена *гордости* Мамаю. А кроме того, в слабости, в духовной немощи и нищете, самосознаваемой, конечно, видели — по законам того же мирозерцания — залог силы. Ибо только слабые обращаются за помощью, самонадеянные же полагаются во всём на себя.

Именно таким, слёзно молящим о помощи, застаём мы Дмитрия Ивановича однажды утром в его ложнице, то есть спальне, где он стоит на коленях «пред иконою Господня образа», висящей в углу, в изголовье его кровати, и произносит покаянно и самоуничижающе: «...вем бо, Господи,

яко мене ради хоцещи всю землю погубити; аз бо согреших пред Тобою паче всех человек, но сотвори ми, Господи, слез моих ради милость!»

Это вовсе не то самоуничужение, которое хуже гордости. Великий князь московский кается не потому, что так принято «по писаному», но потому, что искренне переживает многие свои вины. Какие? А вынужденная необходимость воинских распрей с другими русскими князьями? Разве одного этого не достаточно? Разве не «паче всех человек» согрешает тот, кто стоит выше других в своей земле? Среди иных просьб коленопреклонённого Дмитрия звучит одна, с особым смыслом: «Господи, не сотвори нам, якоже на прадеды наши навел еси злаго Батыа...»

Великий князь догадывается, что земле его угрожает повторение страшного погрома 1237–1240 годов. И это знание («прадеды» в отличие от него ничего не предвидели) ещё более давит ему на сердце, заставляет вновь и вновь взывать к милосердию той силы, которую Дмитрий исповедует как сын своей земли. Скорбящего и молящегося Дмитрия мы видим в эти дни и месяцы не только в его ложнице, но и в церквах, среди множества других людей, настроенных так же или почти так же, как их господин.

Дмитрия невозможно понять, не учитывая этого его постоянного настроения. Как невозможно понять и всего, что произошло на Куликовом поле с ним и его соотечественниками, потому что с таким же, как у великого князя, настроением шли туда все или почти все его соратники.

Но в те же самые дни и недели великого кануна Дмитрий столь же естественно жил и другим настроением, совсем не противоречащим первому. Он рассылал гонцов, разведчиков, вёл переговоры с князьями-соседями, подбадривал растерявшихся, пристыжал тех, кто пытался отсидеться в стороне... Он *действовал*. Он был как бы сосудом энергии — той самой, что незримо заполняла его существо в минуты скорби и слабости, — а сейчас он нёс её легко и выплёскивал избыток на ходу, и она преображала всех, кто находился вокруг него.

Поскольку он не знал пока, с какой скоростью Мамай будет продвигаться дальше, то, выслав глубокую разведку к притоку Дона — реке Тихой Сосне, одновременно отправил гонцов с грамотами по городам великого Владимирского княжения: ратникам назначается общий сбор в Коломне к 31 июля. Великое дело — преодолеть себя и назвать день и событие, от которого можно будет вести отсчёт всему остальному. Он решил назвать день ещё и потому, что накануне в Москву внезапно явились послы от Мамаея и завели с ним разговор об очередной выплате в Орду, о «выходе татарском». Понятно, они не хотели унижить себя

требованием простого возобновления выплат в размерах, оговоренных докончанием 1371 года, когда Дмитрий в Орду ездил. Они затребовали «выхода» старинного, какой платила Русь Улусу Джучи при Узбек-хане и при Джанибеке. Князь великий решил немного уступить: он согласен снова платить Мамаю, как урядились девять лет назад; но нет у него таких денег, чтобы платить, как при Узбеке... Послы отбыли ни с чем. Может, вопрос о данях был лишь поводом для их появления, а на самом деле хотели прознать, насколько трусил князь московский? Расчуял ли уже, что ему готовится? Принимает ли какие меры? Но князь был непонятен: то ли беспечен, то ли непроницаем?..

А меры он принимал. Послал в Тверь к князю Михаилу Александровичу просьбу о воинской помощи — по докончанию 1375 года Москва имела основание на такую помощь рассчитывать. Вызвал из Боровска двоюродного брата: Владимир Андреевич в последние годы нередко туда наезжал, заботясь об укреплении своих западных вотчин.

Вестей от разведки, снаряжённой на Тихую Сосну, всё не поступало, и, забеспокоившись, Дмитрий Иванович отправил ей вдогон вторую сторожу. По пути воины встретили Василия Тупика, одного из воевод ранее посланного дозора. Василий вёз великому князю «языка», которого знатоки бесерменского наречия уже допросили и выведали у него: да, Мамай, без всякого сомнения, идёт на Русь; да, он сговорился с рязанским князем и литовским, однако «еще не спешит царь, но ждет осени, да совокупится с Литвою».

Это сообщение совпадало с тем, которое Дмитрий получил несколько раньше ещё от одного разведчика, прибывшего прямо из ставки Мамаю. То был известный на Москве Захарий Тютчев. Он ездил в ставку совершенно открыто, ибо был послан с дарами Мамаю от великого князя московского. Это был хитро задуманный способ вызнать побольше да поточнее. Подарки, понятно, сердце Мамаю не растопят. Но смышлёный Захарий в ставке всё же побывает, и за это не жаль заплатить как следует. Ставка не двор великокняжеский, откуда несолоно хлебавши подались наемни Мамаевы послы. Ставка — воинский лагерь, а считать Захарий умеет не только деньги.

В Москве ещё раз расспросили «языка», доставленного Василием Тупиком, и Дмитрий Иванович распорядился отодвинуть число сборов в Коломне на полмесяца. То, что Ягайло задерживается с приходом до осени, а Мамай до тех пор ничего наступательного предпринимать не будет, свидетельствовало как будто о нерешительности великого темника. Впрочем, обольщаться таким предположением ни к чему. Просто надо

использовать время для более тщательных приготовлений.

По Владимирской дороге уже прибывали в Москву полки из городов и удельных княжеств Междуречья. В числе первых успел друг и всегдашний сочувственник Дмитрия, в два почти раза старший его годами князь ростовский Андрей Фёдорович. Последний раз они воинствовали плечом к плечу у стен Твери пять лет назад. Но и нынче Андрей Фёдорович сидел в седле прочно, выглядел молодцом. Порадовал старый слуга молодого господина, до слёз порадовал!

И другой Андрей Фёдорович, стародубский князь, как раз подоспел. С этим тоже на Тверь хожено, дыма тверского нюхано, из чаши победной пито. Спасибо и ему за верность и за службу. Как в 75-м году не подвели, так и сейчас отозвались на родственный зов ярославские братаны Дмитрия, князья Василий и Роман Васильевичи. И ещё одного участника похода на Михаила Тверского обнял и расцеловал Дмитрий — Фёдора Михайловича, князя моложского. Видно, глубоко им всем запал в сердце тот поход, так глубоко, что теперь у каждого оно востребовалось при первом же клике Москвы.

А князь оболенский Семён Константинович разве не стоял у Тверцы и Тьмаки? Стоял! И на приступ ходил, и победу со всеми праздновал, вот и нынче не желает отставать от соратников.

Не отстали и самые далеко живущие — белозерцы, князь Фёдор Романович с сыном Иваном. И Фёдора Романовича Дмитрий хорошо помнил по походу 75-го года. Поклон белозерцам: притомили коней, притомились сами, зато поспели в срок...

Но что же до сих пор от Новгорода ни слуху ни духу? А впрочем, вот и слух — и до чего ж скверный! Доносят, что Ягайло уговорился с вечниками: он, мол, с их воли, посадит своих наместников в новгородские порубежные крепости, либо им будет держать союз с Литвой — с нею, а не с Москвой, вместе против немца ходили и ходят; а теперь-де и рыцари на Новгород не сунутся, потому как Ягайло с ними мир подписал... А что на уме у Михаила Александровича? Неужели опять своей выгоды ищет и на Литву поглядывает? Так и будет уклоняться до конца от участия в походе? А где тесть, где Борис Константинович, где шурия нижегородские?

Окрестности Москвы превратились в пёстрое воинское становище. Но сборы сборами, а надо было и самому Дмитрию Ивановичу с духом как следует собраться. Уже и Успенье отпраздновали в Москве, а хотели ведь к 15 августа у Коломны стоять. Подходили и подходили ратники, но возбуждение от встреч, чисто телесная, пьянящая радость от ощущения громадности людского соприсутствия вдруг исчезали в душе, вытесняемые

новым приступом тревоги и слабости. Многие ли из этих людей возвратятся к своим семьям? Может быть, каким-то чудом ещё удастся предотвратить неминуемое? Может, Мамай, проведав о величине собираемой на него рати, всё же не рискнёт идти на Русь? Но он-то, Дмитрий, знал, что решительный разговор с Ордой неизбежен и все сроки вышли. Он и сам, кажется, делал и делает всё, чтобы открыто повести такой разговор. И вот теперь, когда час приблизился, ему ли искать каких-то отсрочек? Уже после Вожи стало ясно, что началось. И что одним лишь сторожевым стоянием на Оке не обойтись. Но всё-таки имеет ли он право кинуть в пропасть войны столько людей сразу? С кем посоветоваться? К чьей руке прижать разгорячённый лоб? Он стоял на коленях у гробницы митрополита Алексея, и все чувствилища его души были напряжены в ожидании облегчающего слова...

На второй день по Успенью с малым числом воинов он выехал из Кремля. Владимирская дорога, по которой скакали, была, как никогда, разбита, исхлёстана колеями, изнавожена. Навстречу им то и дело попадались кучки ратников, пеших, конных, и те, кто знал его в лицо, удивлялись: по его ведь приказу торопятся к Москве, а сам-то господин куда?

Миновали Яузское Мытище, Клязьму и лежащее близ Учи волостное село боярина Григория Пушки. Сколько раз ездил Дмитрий старой этой дорогой, знал всяк её поворот, каждую старуху ветлу за обочиной; новым было лишь сильнейшее волнение, испытываемое им во все последние дни.

Из-за этого его волнения едва не скомкалась и встреча, ради которой он скакал. На следующее утро он со своими спутниками отстоял обедню в деревянной церкви Троицкого монастыря, и тут как раз подоспел на Маковец скоровестник и доложил о новом продвижении Мамай вверх по Дону.

Далее летопись повествует: великий князь стал было прощаться с Сергием, но тот умолил его не торопиться, а потрапезовать вместе с братией.

В простоте, обыденности и одновременно странности этой просьбы был весь Сергей: как будто не желая вникать в заботы великого князя, он просил его *помедлить* в самое неподходящее для этого время.

Но за трапезой, как бы невзначай, он сказал Дмитрию слова, смысл которых превосходил всё, что надеялся и предполагал услышать здесь сегодня московский князь.

— При сей победе тебе ещё не носить венца мученического, — тихо сказал игумен, — но многим без числа готовятся венцы с вечной памятью.

Сергий говорил о победе как о чём-то, видном ему с такою же отчетливостью, с какою он видел сейчас перед собой великого князя. О победе говорил монах, не умеющий ударить кого-либо рукой, не то что мечом; не знающий или почти не знающий всей исключительности воинских приготовлений нынешнего лета; о бесчисленности жертв предупреждал лесной скрытник, который не мог себе даже представить, сколько народу уже собрано и ждёт приказа выступать. Но тем большая убедительность заключалась для Дмитрия в том, что он только что услышал.

Потом, как бы раздумывая вслух, Сергей произнёс:

— Попробуй ещё почтить Мамая дарами и честью, и, может быть, Господь, видя твоё смирение, низложит его неукротимую ярость и гордость?

— Отче, всё это я делал уже, — ответил Дмитрий, — но он с ещё большей гордостью возносится.

Игумен помолчал и, нахмурясь, проговорил твёрдо:

— Если так, то ждёт его конечное погубление.

И ещё раз в душе усовестился Дмитрий: как мог он уехать отсюда, не услышав этих вот слов? Сергей разрешает ему брать меч в руку и тем самым *разрешает* его от тяжких уз ответственности за предстоящие жертвы.

Но только ли это сейчас для Дмитрия важно? Разрешается, казалось бы, неразрешимое: должно дерзать, должно смело вершить предначертанное. Тяжкие путы неуверенности, десятилетиями оплетавшие русский дух, ныне на глазах спадают. И кого слышит сейчас Дмитрий — Сергия ли, голос ли самой земли Русской или слитный глас тысяч и тысяч своих единоплеменников — живущих и погибших, бывших и будущих?

Славный, страшный, волнующий час!

Ещё за трапезой Дмитрий обратил внимание на двух иноков могучего телосложения; он вспомнил этих великанов: несколько лет назад они были известны в миру как бесстрашные витязи и, кажется, происходили из брянских бояр.

Растроганный всем, что он услышал сейчас, и заранее чувствуя, что ему не будет отказано, Дмитрий вдруг попросил старца:

— Отче, дай мне с собою двух иноков из твоего чернеческого полка; двух братьев — Пересвета и Ослябю.

Когда монахов призвали и они услышали о просьбе великого князя, оба с достоинством поклонились своему игумену и Дмитрию. Были вынесены две схимы, сшитые из тёмно-синей крашенины. Налагая на

братьев островерхие одеяния с вышитыми на них грубой белой нитью голгофами, игумен сказал им:

— Понесите крест свой, как подобает добрым воинам Христовым, ибо время купли вашей настало.

И всем присутствующим был ясен величественный смысл этих простых слов. Ведь не о том, что продаётся и покупается среди людей на торжищах, вёл речь игумен. Он говорил о «выкупе» из мёртвых, потому что гибель воина за землю свою делает его бессмертным. Ценою этой гибели выкуплена будет свобода Руси. Старец видел это наперёд и имел в виду не только двух стоящих перед ним иноков-ратоборцев.

Так, при самом малом числе участников и свидетелей, произошло событие, о котором из века в век будут потомки передавать устные и письменные предания, которому будут посвящены песнопения и полотна художников, благодарная память старых и восторженное вдохновение молодых.

...На следующий день, 19 августа, Дмитрий и его спутники возвратились в Москву и великий князь велел объявить по войскам: завтра утром всем быть готовыми к выступлению в Коломну.

III

Не в правилах воинов надолго растягивать проводы: всякая задержка — лишние слёзы жён, матерей и деток, а слеза, дай ей волю, и кольчугу разъест. День проводов лучше начать затемно, до света, — тогда и уход ранний, и разгон большой, и остающимся легче растворить свою печаль в привычных заботах длинного трудового дня.

Но на сей раз просто невозможно было выйти рано.

20 августа служились молебны в Кремле. Ратников скопилось на Боровицком холме столько, что, когда полки выходили, понадобилось распахнуть ворота по всей напольной стене — в Никольской, Фроловской и Тимофеевской стрельницах. И возле каждого ворот стояли священники и дьяконы, «да всяк воин благословится и священной водою окропится».

Как всегда перед тем, как покинуть Москву надолго, Дмитрий зашёл попрощаться к родителям своим — к отцу, деду и прадеду. В той части собора, где лежали они под белыми плитами, оставалось место и для него, и для двоюродного брата Владимира, и для их сыновей... Войдёт ли он сюда ещё раз сам? Или его внесут под эти своды, бесчувственного, бездыханного? А может и так случиться, что лежать его обезображенному

до неузнаваемости телу где-нибудь в степи, и никто никогда не найдёт, не опознает, не отвезёт останки на погляд родным... Но почему Сергей сказал ему, что для него венец ещё не готов?

Прощание с давно почившими умиротворяет, но сколько надрыва, как возмущается душа расставанию с живыми! Жену и детей, охрану Кремля и всей Москвы он поручил боярину Фёдору Андреевичу Свиблу. Тремя живыми реками, через трое ворот, на три разные дороги — на одной никак не уместиться — текут его полки из Кремля. Пора и ему на коня и, не оглядываясь на плачущих, на бегущих или ковыляющих вдогон, содвинув брови к переносью и окаменев лицом, покинуть свой дом. Пора!

Он повёл один из трёх потоков, другой возглавил Владимир Андреевич, а третий — белозерские князья.

Как обычно, резкий переход от семейной, городской жизни к жизни походной — вольной и воинской — возбуждал всё существо, встряхивал его до основания. Резкость же перехода объяснялась малостью Москвы со всеми её посадами, огородами и околицами. Верста-полторы от Кремля — и уже въезжали в поля. Справа и слева золотились стернёй нивы, редко у кого не успели сжать. А там и перелески замелькали, болотца с чёрными пиками и бурыми метёлками камыша, пожухлые кусты пижмы; вдали проступали леса; над всем этим набирало высоту солнце; и «кроткий и тихий ветер веяше и дыхаше».

Воздух уже был напитан предосенней терпкостью. Чистый и свежий, он легко вдыхался, хотелось ещё и ещё пить его или же вкушать как необыкновенно сытный небесный хлеб, чтобы вдоволь было — на всю оставшуюся жизнь.

Омытые ветром лица воинов светились возбуждением, казалось, каждый понимал про себя, что это утро делало его причастным к чему-то ещё небывалому в его жизни, в судьбе его земли.

Но проходит и это возбуждение первого часа, пыль ложится на одежду, на конские гривы, на обозную поклажу, на тележные оси. Она равнодушно скрадывает праздничную пестроту нарядов, серым налётом усталости покрывает лица; и теперь предстоящий путь и то, что будет в конце его, видятся как извечная мужичья работа, которой не миновать, как не миновать пахоты, косьбы и жатвы. Вот они проходят сейчас перед Дмитрием, работники ратного поля, и редко на ком он не видит грубых следов воинской страды. Тот без глаза остался, у другого глубокий шрам во всю щёку, иной шеи повернуть не может, у этого вот губа рассечена надвое и зубов при улыбке великий недобор; а сколько беспалых, безухих, кривоносых, безъязыких, клеймённых сарайскими и прочими клеймами! А

разденысь они сейчас все догола — как страшно обезображена ранами, давними и свежими, зажившими и сочащимися, всякими-всякими, грешная и многотерпеливая человеческая плоть! Кого ордынец наградил сзади косым ударом вдоль спины, кого литвин зацепил копьём под ребро — да спасибо, что неглубоко, — а кого и свой единоплеменник под горячую руку черкнул по затылку топором. На иного глядя, только подивись: как ещё ходит, руками машет и рогатину держит в ладони! Весь он изувечен, издырявлен что решето, почти насквозь просвечивает; обезображенное лицо разопрело от пота, а никак не желает от других отставать, вышагивает бойко и на чью-нибудь незамысловатую шутку скалится добродушно, как невинное дитя... Отчего она у нас сырая-то, мать земля Русская? От слёз, от слёз, родимые. И режут её, и секут, и топчут, и на куски раздирают, уже почти и привыкла, что так ей положено; но нет, не привыкай, милая, ни у кого ты не в долгу, ни на запад глядя, ни на восток; и не твоя вина, что гости твои незваные загостились без меры и выпроваживать их придётся не подобию, не поздорову. В подъярёмных скотах числят они крестьянскую силу, окликают надменно и насмешливо: «Гой еси, добрый молодец!...» Но кто их звал в пастухи? И что им земля эта столь сладка? Или, может, сами научатся её пахать? Скорей солнце побежит обратно. Завиден им и непонятен, и страшен всяк живущий при земле своей, а не носящийся перекаати-полем по свету, и хотели бы искоренить его до конца, да ведь чувствуют, что без него и сами не выживут.

Проезжали сейчас и проходили ополченцы мимо подмосковных житниц, наследственных вотчин великого князя. Как всегда в эту пору, радовала глаз чистота прибранных нив; лишь кое-где ещё пестрели в поле малыми шевелящимися снопами женщины и дети. Разогнувшись в стане, оправив одежду, женщины тревожно всматривались из-под ладоней, а детишки со всегдашней доверчивостью истово махали руками вслед проходящим воинам, и редко у кого из мужчин не першило тогда в горле. Неистребима всё же эта детская доверчивость в жизни! Вот когда малые дети перестанут здороваться, встречаясь на деревенской улице с незнакомым взрослым человеком, или махать с пригорка усталым путникам, тогда, пожалуй, и придут последние времена.

Малолюдство на полях и в сёлах объяснялось не только концом жатвы, но и тем, что взрослые, здоровые жнецы по зову сотников, старост и волостелей уже подались кто в московский, а кто в коломенский полк.

Война готовила житницы свои.

При устье речки Сиверки, впадающей в Москву-реку в семи верстах выше Коломны, Дмитрия Ивановича и ведомое им воинство встретили

воеводы ратей и отрядов, заранее прибывших к месту сбора. Принаряженные, возбуждённые своей старательностью, они торопились сообщить каждый о своих людях. И в этом деловитом упреждении, в маленьком торжестве промежуточной встречи тоже приоткрывалась на миг добрая примета: свои уже тут и ждут, и их как будто нисколько не меньше, чем тех, что поспешают к Коломне.

А в самом городе, в крепостных воротах встречал их епископ коломенский Герасим при стечении всех горожан, с тревогой и надеждой глядящих на своего великого князя.

Смотр назначили на следующее утро. А пока первым делом Дмитрий Иванович захотел посетить собор, почти достроенный после июньского несчастья. Как и всякое большое новое строение, он ещё казался непривычен на этом своём месте, чересчур ослепителен и велик. А ведь не начини его тогда, в июне, сразу восстанавливать, может быть, и теперь не собрались бы сюда так решительно. Минутной растерянности только дай волю.

В Коломне великого князя ожидали и свежие донесения от разведки. Из разноречивых наблюдений последней недели не так-то просто было составить цельное понятие о том, что творилось сейчас за Окой. То, что Мамай от усть-Воронежа продвигается вверх по Дону, а не посылает, как обычно, рать на разграбление Рязани или её уделов, вроде бы нагляднее всего свидетельствовало о существовании сговора между ордынцами и Олегом. Но Дмитрий не мог не доверять, хотя бы отчасти, обещаниям рязанского князя, клявшегося, что он-де ни за что не выступит на стороне Мамай, хотя и от прямой воинской помощи великому князю вынужден воздержаться, опасаясь ордынского возмездия.

Одно из сообщений заокской сторожи особенно обеспокоило Дмитрия. Якобы Мамай на Семён-день, то есть 1 сентября, собирается выйти к Оке и, соединившись на рязанском берегу с Олегом и Ягайлом, переправляться на московскую сторону. Причём, судя по всему, встреча эта назначена не напротив Коломны, где сейчас сосредоточилась большая часть великокняжеского войска, и не напротив Серпухова, а где-то между ними, с тем чтобы ратникам Дмитрия не удалось воспрепятствовать громоздкому и не на один час рассчитанному перевозу ордынцев через Оку.

Конечно, переправы ни в коем случае нельзя было допустить. Более того, надо было, как и два года назад, когда шли против Бегича, постараться самым спокойно, без помех переправиться через Оку и встретить Мамай на достаточном удалении от границы московской земли.

Если всё же ордынцы успеют — или уже успели — достичь верховьев

Дона, то, скорее всего, и дальше они будут двигаться всё в том же направлении, не забирая далеко ни влево, от Олега, ни вправо, от Ягайлы, с намерением выйти к Оке где-нибудь между устьями впадающих в неё Каширки и Лопасни, то есть в самом на сегодняшний день слабозащищённом месте московского рубежа.

Значит, как раз туда и надо идти от Коломны, и идти как можно быстрее, чтобы на несколько дней упредить появление в тех местах Мамаё и распорядиться этими запасными днями для встречного выхода к донскому Верху.

Удастся сделать так — и намного уменьшится вероятность соединения ордынцев с их возможными союзниками. Своим выходом в Заочье великокняжеская рать решительно отсечёт Рязанское княжество и от Мамаё, и от Ягайлы, последний же, не имея поддержки в лице рязанцев, пожалуй, тоже несколько поостынет в своих намерениях.

Конечно, в противовес этому общему расчёту можно было бы выставить и несколько других оспаривающих его расчётов, начинающихся с «а вдруг?..», «а если?..». И даже перетолковать в их пользу большинство донесений разведки. Но сейчас было не до толкований. Сейчас спасительной была уверенность одного, нескольких человек, увлекающая за собою всех.

Благодаря опыту летних сторожевых стояний на Оке и опыту битвы на Воже Дмитрий и его соратники оказались сейчас гораздо свободней, прозорливей в своих пространственно-временных расчётах, чем противная сторона. Иными словами, за две недели до битвы и за многие десятки вёрст до её места Дмитрий в отличие от Мамаё знал, где примерно и когда примерно они должны будут встретиться.

Но что их уравнивало, так это то, что ни Дмитрий, ни Мамаё не знали, с каким всё же числом ратников выйдут они друг против друга.

IV

Дмитрий не знал пока точного числа потому, что войска всё прибывали и обещали прибывать. Совершенно очевидно, что сейчас он располагал ратью гораздо большей, чем при битве на Воже. Но была ли она больше, чем та, что стояла пять лет назад под стенами Твери? Нескольких стягов он недосчитывал. Нету нынче среди его городских полков новгородской рати. И вряд ли уже дождутся её. Видно, льстивое слово литовского соседа крепко подействовало на вечников, напрочь забыли свои договорные

обязательства перед Москвой. Отсутствовали (и, видимо, уже не появятся) братья Константиновичи с сыновьями. Дмитрий-Фома отрядил под руку зятя только суздальский полк. Не пришли кашинцы со своим князь-Василием.

Но зато полк тарусского князя Ивана Константиновича, осаждавшего Тверь, и в этот раз явился на зов Москвы. Было много и совсем новых людей: ратники из Мурома, из Городца Мещерского... Был весь цвет Залесской земли — звенигородцы, дмитровцы, владимирцы, ярославцы, ростовцы, суздальцы, юрьевцы, переславльцы, стародубцы, угличане; были костромичи, белозерцы и вологжане. Были верные князья и доблестные воеводы, именитые бояре из старых родов, служивших ещё Александру Ярославичу Невскому, и новички, ищущие чести; были конные и пешие... Правда, число пещцев казалось Дмитрию Ивановичу недостаточным. Из сообщений заокской сторожи он знал, что в войске Мамаея, против обыкновения, пехоты много, в том числе из наёмников. Это значило, что при решающей встрече ордынцы главный упор могут сделать не на привычном сшибе конных тысяч, а на длительном, с борьбой за каждую пядь земли, столкновении малоподвижных, но и малоуступчивых, устойчивых пехотных стен. Чем меньше при таком столкновении окажется у русской стороны пещцев, тем больше всадников придётся ввязать в противостояние пехоте врага и, следовательно, тем свободнее станет в своих действиях конница Мамаея.

Необходимые поручения относительно добора пешей рати даны, и, может быть, — это покажут ближайшие дни — тут что-то ещё удастся подправить. А сейчас, в утро смотра войск на Девичьем поле, надо решить самые неотложные задачи, и первойшая из них — уряжение воевод.

Удельные князья и их воеводы, естественно, остаются при своих ратях. Но есть полки городские, великокняжеские, тот же юрьевский, или костромской, или коломенский. Каждому из этих полков и нужно урядить московского воеводу.

К коломенцам Дмитрий Иванович назначил своего двоюродного брата Микулу Васильевича Вельяминова, сына покойного тысяцкого. Почётным этим назначением — всё-таки второй после столичного полк в московском воинстве — великий князь ещё раз подчеркивал: недавняя казнь предателя Ивана Вельяминова ни в коем случае не ложится тёмным пятном на остальных отпрысков старого рода. Надо выделить Микулу среди других, приободрить его, дать ему возможность восстановить пошатнувшуюся было честь семьи.

В сводный владимирский и юрьевский полк уряжен воеводой боярин

Тимофей Васильевич, по прозвищу Волуй Окатьевич. Отец его служил князю Семёну Гордому, при кончине его стоял у изголовья княжеского честным послухом и свидетелем. А дед воеводы, Окатий, Ивану Даниловичу был верным рабом, за что и отметил его Калита милостями многими: в одном только Московском уезде не менее дюжины деревень Окатьевых да Акатовых. Встали бы ныне из праха дед с отцом, полюбовались бы на внука Тимоху Волуя, важно именуемого всеми Тимофеем Васильевичем, порадовались бы: не в обиде их род, не в запустении.

Боярину великокняжеского совета Ивану Родионовичу Квашне достался костромской полк. «Вернейший паче всех», как отличали его летописцы, Квашня действительно был одним из любимцев Дмитрия Ивановича. Недаром ещё в 1371 году, когда перед отправлением в Орду князь московский на всякий случай составил духовную грамоту-завещание, Квашне в числе избранных послухов было доверено присутствовать при скреплении грамоты печатью. Он происходил из семьи именитого киевлянина Родиона Нестеровича; тот, рассказывали, пришёл на службу к Калите почти с двухтысячной дружиной.

Наследственную службу при московском столе нёс и воевода Андрей Иванович Серкизов. Великий князь доверил ему сейчас переславльский полк, и доверие это было совсем особого рода, потому что в жилах воеводы текла — пусть и малой уже долей — кровь Чингисхана: Андрей Иванович был сыном того самого царевича Серкиза, или Черкиза, который при начале «великой замятии» ушёл из Орды, принял православие и целовал крест на верность Москве. Казалось бы, на таких, как Андрей Серкизов, должны были поглядывать с опаской, не вполне им доверять и уж, по крайней мере, не предоставлять больших полномочий в делах воинских. Но не он был первый, не он, по всему видать, и последний. Замечалось за выходцами из Орды, что новой своей родине они верны беззаветно, и не страха ради перед родиной прежней. В их отношении к Руси была какая-то глубокая, внушающая уважение влюблённость. Дмитрий Иванович, назначая Андрея Серкизова к переславльцам, знал: можно быть спокойным как за воеводу, так и за его ратников — их это назначение не обидит, не смутит. Напротив, на то, что в рядах русских воинов идёт против Мамаю и дальний потомок Чингисхана, смотрели как на своего рода знамение — свидетельство ордынской неправды.

Наконец, и в головной полк были уряжены воеводы. Ими стали два брата из боярского рода Всеволожей, Дмитрий и Владимир Александровичи.

Русское войско в боевом построении как бы уподоблялось человеческому телу, не случайны поэтому и телесные названия его частей: головной, или великий, полк, полк правой руки, полк левой руки. На Девичьем поле была произведена прикидка: кто, где и под чьим началом будет находиться в предстоящем сражении. Но именно лишь прикидка. Многое ещё могло поменяться и, как увидим, поменялось или дополнилось. А сейчас важно было хотя бы начерно закрепить военачальников за их полками, чтобы люди пригляделись к ним заранее.

На смотр собрались затемно, нужно поскорее всё закончить и в тот же день продолжить поход. В два неполных дня рассчитывали поспеть к устью Лопасне. Там назначалась встреча с князем Владимиром Андреевичем, шедшим из Серпухова, и «великим воеводой» Тимофеем Васильевичем Вельяминовым. Этот должен был подвести с собой от Москвы остаток ополченцев, по разным причинам задержавшихся.

Коломна истаяла за спиной, великокняжеские полки опять двигались в походном порядке, от Оки старались держаться на расстоянии, чтобы перемещение такой громадной воинской силы не было заметно с рязанской стороны. Как знать, что у неё на уме, у той стороны? Если Мамаю донесут, что Дмитрий спешно оставил Коломну и движется вверх по Оке, не изменит ли ордынец своих дальнейших намерений? Но, впрочем, донести ему смогут через два дня на третий, никак не раньше. А к тому времени русская рать уже будет переправляться через Оку.

Жители Лопасни обязаны загодя обеспечить быстроту переправы: наладить лавы, сколотить плоты, лодок подогнать побольше к московскому берегу. Не зря всё же так упорно держались за Лопасню, не уступили её в конце концов Олегу. Вот она как теперь понадобилась! Всё сообщение с заокской сторожей осуществляется нынче летом через Лопасню. Маленькая крепость, уцепившаяся за рязанский берег, стала необходимейшим звеном между Москвой и далеко на юг ушедшими отрядами разведки.

Как и загадали, 25 августа, ровно за неделю до намеченного Мамаем выхода к Оке, Дмитрий стал на лопасненском перевозе, и его воины освежили изнурённые лица водою большой реки. В тот же день к назначенному месту встречи подошли ратники из волостей князя Владимира Андреевича. Дмитриев дядя, окольничий Тимофей Васильевич, также успел вовремя с добором московских ополченцев, в том числе пеших воинов, а заодно с поклоном великому князю от супруги и деток.

И тогда же Дмитрий отдал воеводам приказ перевозить полки.

Уже и потому надо было делать это немедленно, что слишком тесно было им всем сейчас на московском берегу. Теснота невиданного воинского

многолюдства радовала, но она же и утомляла, грозя перерасти в неразбериху, толчею. Огромному телу русской рати нужен был простор, чтобы распрямить плечи, вдохнуть полной грудью.

Сам Дмитрий Иванович решил переправляться напоследок. Его по-прежнему беспокоило соотношение конницы и пехоты, невыгодное для последней. Именно поэтому он попросил Тимофея Вельяминова остаться здесь ещё на денёк-другой на случай, если вдруг подоспеют ратники. Так как русское войско от Лопасни пойдёт гораздо медленней, чем двигалось до сих пор, то отставшие, буде такие окажутся, без труда нагонят великого князя. Пусть лишь Тимофей Васильевич, когда его люди ступят на рязанскую землю, строжайше им накажет: не трогать у соседей не то что имений, но ни единого колоса, лежащего на жнивье. Это наказ общий, он передан уже по всем полкам, всяк ратник знает. Если объявятся недовольные — отчего бы, мол, не пострадать переметчиков-рязанцев, — подстрекателей этих вразумлять: князю видней, переметнулась Рязань к Мамаю или нет.

Он хотел, чтобы его приказ воодушевил воинство: не велено трогать рязанцев, значит, Олег не поддался всё же басурманам.

Перевозились весь день и вечер, до сумерек, до туманов, до ночи. Ока широка, да и рать немала. Словно вся мужская сила Руси, покинув по тревоге свои жилища, вздумала переселяться навсегда в иные земли. И было что-то насупленно-сумеречное, таинственное и торжественное в этом великом исходе, будто чуяли многие: не увидеть им больше Оки, не увидеть обратной дороги, светлеющей безмолвно посреди глухой мглы.

Лодку Дмитрия Ивановича гребцы оттолкнули от истоптанного и безлюдного московского берега только на следующий день.

Он не так уж часто покидал родительские пределы Междуречья, всего несколько раз, по пальцам можно перечесть. И не потому, что был домоседом. В редкое лето не изнурял плоть ношением боевой брони — этих вериг ратнических. Битву понимал как нужду, принимал её со смирением, впрягался в её ярмо со всеми, не отлынивал. Но для этой, на которую вёл людей сейчас, не было пока в душе подходящей меры, а на памяти — образца. О ней не было у кого спросить, с кем посоветоваться — ни с дедом Иваном, ни с прапрадедом Александром, явись они сейчас перед ним с того света. Как знать, может, они лишь покачали бы головами, глядя на него, и, печальные, растворились бы в зыбком мороке, как растворился нынче у него за спиной родимый берег. Будет победа — она разделится на всех, но беда, неудача спросится с него одного. И до конца своих дней он будет проходить с опущенными глазами мимо вдов и сирот. А сейчас вот,

стараясь не смущать себя подобным предчувствием, он об одном лишь заботится: хватит ли воинов для решающего дня? И оглядывается вместе с другими на дорогу, и прислушивается: не топот ли конский слышен, не земной ли гул под ногами торопящихся пешцев?

Но безмолвие обступало со всех сторон великую рать, с каждым часом оно становилось глуше, тягостней, выжидательней. Вниз по пустынной, почти лишённой следов людского обитания водораздельной гряде полки влеклись на юг, встречу солнцу. Неласков был его свет, чуялось в этом свете какое-то чёрствое безразличие к утомлённым людям, оттирающим мокрые лбы, слизывающим с губ пыль и песок, подолгу молчащим, потому что слишком глубоко каждый ушёл в свою думу. Они остались одни — перед неминуемостью притягивающего их к себе события, перед насторожённой пространством, медленно вбирающего их в себя. Они одни — и нету надежды на людскую подмогу. Как ни много их тут, а они — одни.

И только через неделю, когда и ждать перестали кого бы то ни было и когда до Дона оставалось всего двадцать с небольшим поприщ, от обозного хвоста понеслась, нарастая, волна голосов: «Е-дут!.. Иду-ут!»

Но кто же, кто? Ополченцы Тимофея Васильевича? Или новгородцы? Или тверичи наконец усовестились? Не сразу и узнали в лицо двух седых от пыли Ольгердовичей, князей Андрея и Дмитрия. С неубывающей надеждой ждал их великий князь московский. Но мало ли кого он ждал! Мало ли с кем заранее договаривался о совместных действиях против Орды! Дело тут такое, что не прикажешь, на договор не сошлешься. Тут каждый поступает, как ему совесть подсказывает. Не дивно ли: у двух сынов Литвы русского чувства на поверку оказалось больше, чем у того же Михаила Александровича! Может, и не догадываются Ольгердовичи, как много значит для московского князя их появление... Ягайло, говорят, уже у Одоева стоит, поджидая великого темника. Видел бы покойный Ольгерд, бивший татар у Синей Воды, с кем снюхался его любимчик. Но Ягайло — не вся Литва.

И уже окончательно растрогало Дмитрия Ивановича непредвиденное появление ещё одного князя, его и в живых-то не чаяли зреть! То был Фёдор Елецкий, удельный вотчик с берегов Тихой Сосны, то есть как раз оттуда, где сейчас вытаптывают траву Мамаевы полчища. Елец — городишко пограничный, разнесчастный, года не проходит, чтоб ордынцы не чинили ему новых обид. Уж ельчанам ли перечить Мамаю! Им, кажется, сам Бог велел отсиживаться ныне где-нибудь в лесных норах. Ан нет! Прослышал князь Фёдор, что русская рать спускается к Дону, и из-под

самых лап Мамаевых выскользнул с малой дружиной, полетел встречь великому князю. Семь бед — один ответ. Чем терпеть ежегодные посрамления, лучше уж в одночасье сложить головушки — и за свой Елец горемычный, и за обиды всей Руси. Счастьем сверкали глаза на чумазом, запалившемся лице князя-бедолаги. Он увидел рать, неохватную, как море, дышащую жаром восхищения. Это было восхищение поступком горстки его ельчан. И, видя такое, хотелось ему плакать от радости, какой ещё никогда в жизни не испытывал.

Между тем великому князю докладывали, что силы двух сторож — двух дальних разведок, в течение нескольких недель бесперебойно снабжавших его сведениями о Мамае, — истощены. Много воинов погибло в стычках с разведчиками и передовыми разъездами ордынцев. Что же, задачу свою сторожи выполнили с честью. Они действовали на громадном пространстве, «вычислили путь», по которому пойдёт Мамай, точно вызнали установленные им сроки. Благодаря этому русское войско значительно упредило противника и вышло на прямую, на которой им никак уже нельзя разминуться.

Дмитрий приказывает снарядить третью сторожу и во главе её ставит боярина и воеводу Семёна Мелика. У этой разведки задача не менее сложная. Нужны ещё «языки». Главное же, то и дело поддразнивая противника, впутывая его передовые отряды в мелкие драки, заманить Мамаю в такое место будущей встречи, которое было бы наиболее удобно для расположения на нём русских войск.

«Языка» Семён Мелик вскоре добыл. Привезли его два помощника воеводы — Пётр Горский и Карп Александров. «Язык» был отменный и, что называется, нарочитый — прямо «от двора царева», из ханских сановников. Ошеломлённо и словообильно рассказывал он, что Мамай расположился в урочище, которое по-русски зовётся Кузьмина гать, и что не спешит пока, потому что ждёт Олега и Ягайла, а московского князя никак не ждёт и встретиться с ним так быстро не готов.

Сколько же силы у Мамаю? «Многое множество бесчисленное», — отвечивал пленник.

Вскоре от Семёна Мелика поступило и подробное словесное описание лежащей впереди местности. Дон при впадении в него речки Непрядвы поворачивает здесь довольно резко на восток. Большие открытые пространства, свободные от дубрав и оврагов, имеются и на подступах к Дону, и за рекой. По тому, как движется Мамай, подстрекаемый русскими разведчиками, можно полагать, что он пройдёт к Дону именно через поле, лежащее восточнее Непрядвы. Поле это у русских обитателей верховьев

Дона издавна зовётся Куликовым.

Дмитрий Иванович созвал военный совет. Готовились много лет, шли сюда более двух недель, а теперь счёт даже не на дни, а, может быть, на часы. Где давать бой Мамаю? Остаться здесь или перевозиться за Дон?

Вспомнились невольно Вожа, дела двухлетней давности, когда выманили Бегича на свой берег, а драться на своём берегу всегда спокойней. И удобней, если понадобится отступить.

Но не позорна ли сама мысль об отступлении? Да и вообще сравнение с Вожей сейчас не подходило. На Дону слишком многое будет зависеть от устойчивости пешцев. Как раз накануне окольный Тимофей Васильевич привёл от Лопасни многотысячное ополчение, собранное напоследок по градам и весям Междуречья. Пришли люди разных сословий и состояний — крестьяне, ремесленники, купцы. Что же, и их настраивать на то, что, возможно, придётся отступить?

Хорошо обо всём этом сказали на совете Ольгердовичи: «Если здесь останемся, слабо будет воинство русское. Если же перевезёмся за Дон, крепко и мужественно будем стоять, зная, что так и эдак — смерть. Но смерть беглецов позорна, а кто одолеет в себе страх смертный, одолеет и врага».

Кто соглашался, кто спорил. Голоса пресекались, как у мальчишек, рассказывающих друг другу о страшном. Да, ими всеми помавало сейчас сильнейшее волнение, которое даже опытным воеводам не удавалось скрыть в себе; похоже, каждый слышал не только гулкий, напряжённый стук в собственной груди, но и как звонко, сухо, под самым горлом, стучит сердце соседа; глаза воспалены, руки рвут воздух, силясь помочь словесным доводам...

Многие склонялись к тому, что надо перевозиться. Последнее слово было за великим князем. Он не собирался сказать нечто неслыханное, что бы поразило воображение присутствующих.

— Братья! — сказал он. — Честная смерть лучше злого живота: лучше было нам не идти против безбожных, нежели, придя и ничего не сотворив, возвратиться вспять.

В тот же день, 7 сентября, в канун праздника Рождества Богородицы, русское воинство пододвинулось вплотную к донскому берегу и на пространстве шириной около двух поприщ стали мостить мосты для пехоты и подыскивать броды для конницы.

Река протекала тут в достаточно узком и твёрдом ложе, изобиловавшем выступами известняка. Особенно много таких выступов виднелось на противоположном берегу, более крутом и высоком. Тем, кому предстояло переправляться напротив устья Непрядвы, южный берег виделся прямо-таки горой. Солнце светило как раз в глаза воинам, обливая зловещим глянцем бугристые, поросшие кустарником и деревьями скаты. Резко посверкивало стремя реки с её мутноватой, какого-то мучнистого оттенка водой. Дон мало похож на тихие и прозрачные лесные речки московской округи.

Солнце грело почти по-летнему. Была в прикосновении его лучей какая-то убаюкивающая ласка, располагавшая к невольной улыбке, молчанию, мечтательной отрешённости. Такие дни дарит начальная осень, как бы прося у человека прощения за то, что слишком зыбки отпущенные ему на долю радости и вот уже всему близится конец. И он украдкой смеживает веки и вдыхает полной грудью эту теплынь, слушает дремотный лепет реки, скользящей неведомо куда, ловит сквозь прижмур смутный свет её стремени...

Крут, костист и раскатист противоположный берег. Конникам и обозникам в один мах не взять его крутизну. Зато оттуда, с гребня, если повалит вниз запыхавшаяся людская орава, то уж как раз в один мах сверзится прямо в воду. Нет, с такой кручи отступать никак нельзя.

Великий князь знал от разведки, что Мамай находится сейчас на расстоянии одного дневного перехода от переправ. Но на всякий случай отдал распоряжение: всем ратным сменить походную одежду на боевую. Теперь каждая жила в человеке натянута как тетива, десница полагается на оружие, а душа — на други своя!

И ещё одно было распоряжение. Когда последняя обозная телега въехала с моста на берег, плотники принялись расколачивать переправы. Мало кто уже и видел это, но знали все, что так будет сделано.

Обидно много сил отдано налаживанию мостов, и вот — беспощадный приказ: ломать! Но никто не роптал, слыша за спиной стук и скрежет; не так ли, вспомнилось, было и в первый приход Ольгерда на Москву, когда Дмитрий Иванович приказал жечь посады кругом Кремля...

Пока перевозились обозники, передовые достигли вершины увала, откуда открылся вид на просторное необитаемое поле, волнообразные покатоности которого освещала сейчас боковым золотистым светом вечерняя заря. Прекрасен был вид этой земли, убранной по краям в парчовые ризы дубрав; кое-где в низинах она воскурялась уже ладанными клубами тумана.

Был час вечерней службы, в походных церквах зазвучало праздничное

песнопение: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной...»

Пели и в великокняжеском шатре, стоя перед вывешенным в виде алтарной преграды шитым деисусом: «...из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш...»

Пение ширилось, тропарь подхватывали тысячи голосов, где-то чуть опережали, где-то немного отставали; и по полю, накатываясь друг на друга, струились упругие волны звучаний, словно звук исходил от самих этих озлащённых гряд и погружённых в тень долов: «...и упразднив смерть, дарова нам живот вечный».

Когда отошла служба, распевшиеся ратники ещё долго то там, то здесь зачинали знакомую с детских лет песнь.

Зажглись огни среди обозов, в остывающем воздухе потянуло запахом дымка, душистого варева. Где-то далеко за невидимым отсюда Доном дотлевала и покрывалась сизым пеплом заря. А на другой стороне, над потерявшим очертания полем печально выглянул из мутного зарева лунный отломок, словно полукруг татарского щита.

Пала на тёмные травы роса. Холодное поветрие прошуршало, точно мышь в соломе, и затаилось. И опять каждый услышал, как громко, будто вопрошая и не соглашаясь с ответами, ходит его сердце.

В этот час к шатру великого князя тихо подъехал верхом Дмитрий Михайлович Боброк. Накануне они уговорились, что с наступлением ночи отправятся вдвоём, никого не предупреждая, на поле и Волынец покажет ему «некие приметы». Зная, что о Бобрке поговаривают как о ведуне, который-де не только разбирает голоса птиц и зверей, но и саму землю умеет слушать и понимать, он поневоле дивился этому таинственному языческому дарованию волынского князя и без особых колебаний согласился с ним ехать. Душа его жаждала сейчас всякого доброго знака, пусть косвенного, но хоть чуть-чуть приоткрывающего завесу над тем, что теперь уже не могло не произойти.

Они ехали медленно, почти на ощупь, и, как казалось, довольно долго. Земля под копытами звучала глухо и выдыхала остатки накопленного за день тепла. Потом заметно посвежело. По этому, а также по наклону лошадиных спин седоки догадывались, что спускаются в низину. Они пересекли неглубокий ручей и стали взбираться наверх, и опять лица их обвеяло едва уловимым дуновением теплоты. Тут они придержали коней и прислушались. Дмитрий Иванович знал уже, что, пока его полки переправлялись через Дон, ордынцы тоже не стояли на месте. До их ночного становища было сейчас, судя по всему, не более восьми — десяти

вёрст. Он затаил дыхание и напряг слух до предела.

Да, то, что он услышал, не вызвало никакого сомнения: перед ними посреди ночи безмерно простиралось скопище живых существ, невнятный гул которых прорезывался скрипом, вскриками, стуком, повизгиванием зурны. Но ещё иные звуки добавлялись к этому непрерывному гомону: слышалось, как волки подвывают в дубравах; справа же, где должна была протекать Непрядва, из сырых оврагов и низин вырывались грай, верещание, клёкот и треск птичьих крыл, будто полчища пернатых бились между собой, не поделив кровавой пищи.

Глуховатый голос Боброка вывел Дмитрия Ивановича из оцепенения:

— Княже, обратись на русскую сторону.

То ли они слишком далеко отъехали, то ли утомонились уже на ночь в русском стане, но тихо было на той стороне, лишь в небе вздрагивали раз от разу слабые отблески, словно занималась новая заря, хотя и слишком рано было бы ей заниматься.

— Доброе знамение — эти огни, — уверенно произнёс Волынец. — Но есть ещё у меня и другая примета.

Он спешил и припал всем телом к земле, приложив к ней правое ухо. Долго пролежал так князь, но Дмитрий Иванович не окликал его и не спрашивал.

Наконец Боброк зашевелился.

— Ну что, брате, скажешь? — не утерпел великий князь. Тот молча сел на коня и тронул повод. Так они проехали несколько шагов, держа путь к своему стану, и Дмитрий Иванович, обеспокоенный упорным молчанием воеводы, спросил опять:

— Ты что же ничего не скажешь мне?

— Скажу, — придержал коня Боброк. — Только прошу тебя, княже, сам ты никому этого не передавай. Я перед множеством битв испытывал приметы и не обманывался ни разу. И теперь, когда приложился ухом к земле, слышал два плача, от неё исходящих: с одной стороны — будто бы плачет в великой скорби некая жена, но причитает по-басурмански; и бьётся об землю, и стонет, и вопит жалостливо о чадах своих; с другой стороны — словно дева некая рыдает свирельным плачевным гласом, в скорби и печали великой; и сам я от того гласа поневоле заплакал было... Так знай же, господине, одолеем ныне врага, но и воинства твоего христианского великое падёт множество.

Дальше они ехали молча, только когда от стана слышались негромкие окрики предупреждённых сторожей, Волынец ещё раз попросил:

— Только никому, княже, в полках не говори о моих приметах.

VI

К исходу ночи стало заметно холодать, трава отсырела, валы тумана выползли из оврагов и низин, и вскоре всё вокруг заволокло плотной белёсой мутью. Люди зябко поёживались, покашливали, поглядывали вверх, по сторонам: не начнёт ли откуда проясняться, не повеет ли ветерок?

Но туман, кажется, ещё более загустевал, несмотря на слабое прибывание света. Воздух сделался настолько влажен, что с кустов и деревьев капли зачастили, словно припустил дождь.

Так прошёл час и другой. Было неясно, встало ли уже солнце и если встало, то как высоко поднялось. Вроде и ветер задул наконец, даже засвистел, так что туман полетел клоками. Но белёсая мгла только слоилась и перемешивалась, цепляясь за цветущие кусты татарника, за тёмно-коричневые стебли конского щавеля; на миг проступали в её размывах ряды всадников и пеших и опять пропадали, будто проваливаясь в недужный сон. Хрипло и обрывисто звучали воинские оклики. Кто по привычке поругивал непогоду. Кто вспоминал утро на Воже и это сходство объяснял как добрый знак. Кто удивлялся: слишком уж колдует, слишком для такого времени года долго балует утром туман. В разных местах не попад запели было снова праздничный тропарь. В полках начались молебны. Душистый дым от каждения мешался с парами земли. Звуки долетали едва-едва, словно гул и бормотание пчёл из укутанных на зиму дуплянок.

Мгла всё не отступала. Может, это сама мать-сыра земля щадила своих сыновей, ещё на лишний час-другой хотела их закрыть, занавесить? Но лучше бы скорей разомкнулась и эта последняя завеса, потому что слишком долго ждали и более было невмочь.

Маленькое белёсое пятно стремительно прорывалось иногда сквозь лохмотья мглы и пропадало опять. Оказывается, оно, солнце, было уже вон как высоко и наконец-то вдвоём с ветром по-настоящему принялось за свою работу.

Невнятно заголубело в воздушных окнах, и тут лишь объяснилась причина упорства, с которым туман так долго держался на поверхности земли. Просто-напросто он покрывал её слоем небывалой — больше, пожалуй, чем в пол сотню саженой — толщины.

Мгла расточилась как-то враз, неведомо куда. Лазорево-золотое утро

на исходе своём сияло в полной красе. Свежий радостный ветерок хлопотал в расчехлённых стягах. От просыхающих трав источался благовонный, чуть кружащий голову дух.

Ещё под прикрытием тумана князя Владимир и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец, после того как помогли великому князю окончательно устроить полки, отвели порученный им конный засадный полк в большую дубовую рощу, что росла по левому краю поля. Почти никто в русском воинстве не знал, куда и зачем отведён один из полков. Сейчас в лучах солнца роща бронзовела и казалась безлюдной.

Безлюдным выглядел и противоположный край продолговатого неровного поля. Вчера послеполуденный свет несколько скрадывал его истинные размеры, а теперь, в утреннем освещении, отчетливей проступал шеломень — всхолмление, окаймлявшее поле с востока, а вся его срединная часть гляделась как бы слегка просевшей. Другой шеломень, по склону которого размещалось русское воинство, господствовал над полем с запада, справа от усть-Непрядвы.

Один ли кто первым различил, сразу ли многие увидели: выцветший отлог противолежащего холма на глазах начал покрываться неровной расползающейся тенью, будто была эта тень от случайного облачка. Но она не спешила соскользнуть с шеломеня, а, наоборот, всё загустевала и полнилась.

Сомнений не было: то из-за края земли выходили *они*.

Не какой-нибудь дозорный отрядец и даже не передовой полк, они выходили всей силой — в ширину самого поля, плотной, зловеще поблескивающей лавой.

Значит, всё произойдёт сегодня, и даже не просто сегодня, а сейчас?

Но до них оставалось вёрст шесть, а то и восемь. К тому же лава, быстро пролившаяся с вершины холма, стала заметно приосаживать свой ход и замерла, не достигнув его подножия. Было похоже, будто воины Мамаю только что с удивлением обнаружили перед собой русский стан и, передав об этом великому темнику, ждали дальнейшего распоряжения.

Русский летописец в следующих выразительных словах рисует картину двух воинств, застывших по краям Куликова поля: «Татарьскаяа бяше сила видети мрачна потемнена, а русская сила видети в светлых доспехах, аки некаа великаа река лиющися, или море колеблющесе, и солнцу светло сияющу на них и лучя испущающи, и аки светилницы издалуче зряхуся». В другом описании русской рати к этому добавлено: «Шеломы же на головах их, аки утренняя заря, доспехи же, аки вода сильно колеблюща, еловицы же шеломов их, аки пламя огненное пышуще».

Конечно, по обычаям тех времён, ордынцы были наряжены к бою не менее красочно, чем русские воины. Но полкам Мамай, шедшим с восточной стороны, солнце в этот утренний час светило в спину, придавая рядам резкость очертаний и преобладающую черноту внешнего вида. А русские ратники, озираясь вокруг себя, как раз и видели веселящее дух сияние доспехов, шлемов, оружия, многоцветье одежд. Всегдашняя праздничность бранных нарядов, призванная восхитить соратников и ошеломить, ослепить врага, сегодня, как никогда, была кстати, и это тоже чувствовалось всеми.

Кажется, некоторое замешательство в стане ордынцев миновало, живые тёмные валы сдвинулись к подножию холма, а на его вершине, несколько обособленно от всех, утвердился сравнительно малочисленный отряд, который, похоже, и был ставкой Мамай.

По команде великого князя русские полки в заранее оговорённой очерёдности также стали сдвигаться со своего отлога, и сторожевой полк первым спустился в долину ручья или небольшой речки, которую ночью переезжали великий князь и его воевода.

Каким бы поспешным ни выглядело это взаимное сближение враждебных ратей, Дмитрий Иванович в оставшийся час ещё очень много успел сделать. Как будто чем уже становилась свободная срединная часть поля, тем сильнее растягивалось его личное время.

Прежде всего он успел обскакать все свои полки, для чего ему пришлось несколько раз пересаживаться на свежих коней. И везде, перед всеми он говорил, напрягая голос до предела, стараясь, чтобы каждый его услышал. Он никогда не был речист, слова обычно не враз подыскивал, но теперь они шли из груди свободно, так что он сам дивился их звенящей силе, их высокому смыслу.

— Возлюбленные отцы и братья! — говорил он. — Все мы здесь, от мала до велика, семья единая, внуки Адамовы, род и племя едино, едино крещение, едина вера, единого Бога имеем, Господа нашего Иисуса Христа... Умрём же сей час за имя Его святое, как и Он принял муку крестную за други своя!

И в рядах рокотало, передаваясь к тем, кто стоял сзади и не мог дослышать:

— ...за други своя!

Объехав полки, он напоследок вернулся в срединный, над которым червонел великокняжеский стяг. Спешившись, Дмитрий Иванович попросил подозвать к нему боярина Михаила Бренка. После стремительной верховой езды князь был возбуждён, на загорелом обветренном лице,

обрамлённом чёрной бородой, проступил румянец. Когда Бренок подошёл, князь, шумно дыша, разоблачался: отстегнув золотую брошь, снял расшитое травами корзно на алой подкладке, снял золочёный шлем со стальным переносом и наушниками; слуги помогали ему отстегивать наручи и зеркало, начищенное до блеска. От великолепного убора на нём оставалось теперь только исподнее да золочёный мощевик на цепи, тот самый, с изображением мученика Александра, что завещал ему двадцать лет назад перед своей смертью отец.

Просторная нательная рубаха, потемневшая от пота на груди, лопатках и пояснице, пожалуй, ещё выразительней, чем броня, подчеркивала телесную мощь князя. В свои неполные тридцать лет он был плечист, дороден, широкогруд и тяжёл, его натрудившаяся с утра плоть пыхала жаром, и люди сначала подумали было, что он просто хочет освежиться под ветром и надеть сухое. Дмитрий, однако, попросил принести ему одежды и кольчугу простого ратника, а Михаила Бренка велел обрядить в свой праздничный убор, чтобы отныне стоять тому на поле боя под его великокняжеским стягом.

На лице Михаила отражалось недоумение, но он безропотно исполнил волю своего господина. В облачении великого князя, под большим стягом его, объяснил Бренку Дмитрий, и свои и враги будут считать за князя, который, как и положено, стоит непоколебимо позади своих ратных. Он же, Дмитрий, сможет теперь свободно переноситься из полка в полк, подбадривая воинов, давая советы воеводам.

— Зачем тебе, господине княже, становиться впереди? — недоумевали воеводы. — Зачем биться тебе среди передовых? Тебе приличней стоять сзади или сбоку, на крыле или в ином безопасном месте.

— Как же я, говоря людям «Подвигнемся, братья, на врагов», сам буду стоять сзади? — с досадой возразил князь.

Видно, он давно уже всё обдумал и переубеждать его было бесполезно. Оставалось только молча следить за тем, как садился он на коня.

Но тут как раз пробились к нему — сквозь расступившееся воинство — измученные московские гонцы и возрадовали напоследок: радонежский игумен шлёт ему своё благословение, передаёт просфору. Он принял её, маленький круглый хлебец, разломил, поделился с Бренком, с другими, кто стоял сейчас вокруг. И вспомнил невольно, как Сергей при последней встрече просил его не торопиться и потрапезовать с братией, и он, кажется, с тех пор постоянно следовал той просьбе игумена и не торопился во все эти недели, вплоть до сегодняшнего дня и до последней нынешней минуты, и потому всё как будто успел сделать, что хотел: осталось лишь доскакать

до сторожевого полка, чтобы распорядиться быстротой движения и стоять впереди со всеми, когда начнётся.

VII

Александр Пересвет и его брат Андрей Ослябя навидались на своём воинском веку всякого. Но зрелище, которое довелось им увидеть сегодня, своей чрезмерностью поневоле смутило и их. Самое поразительное для бывалых бойцов заключалось, пожалуй, в следующем: тёмная, медленно вползающая ордынская лава буквально *втискивалась* в поле, хотя оно имело в ширину несколько вёрст. Ощущение необыкновенной стеснённости, зажатости войск противника возникало оттого, что почти не было видно обычных промежутков — свободного пространства между людьми и между отдельными полками.

Это ощущение ещё усилилось, когда сблизились настолько, что стали заметны особенности построения пехоты противника. Ордынские пешцы шли сплошной стеной, плечо в плечо, ряд в ряд, затылок в затылок, они шли так, как ордынцы никогда обычно не ходили. Если первый ряд придерживал шаг и останавливался, оцетиниваясь копьями, пехотинцы второго ряда налагали свои копья на плечи передних. Этот приём у них, видимо, был хорошо отработан и получался быстро, без запинки, к тому же и копья у задних выглядели явно длинней, чем у передних.

Не зря русская поговорка гласит, что у страха глаза велики. Враг почему-то всегда кажется выше, дородней, свирепей, ловчей, чем ты сам. Опытный воин старается не поддаваться такому ощущению, догадываясь, что и враг в это время переживает примерно такое же самое чувство. Как ордынская рать ужасала русскую сторону своей несметностью, диким видом своей пехоты (а из-за холма, обтекая его макушку, всё переваливались и переваливались новые ряды, и не было этому конца-края, как будто сама земля извергала их из себя, забыв о мере), так и русское воинство, светящееся доспехами и оружием, овеваемое узорочьем стягов и хоругвей, подпираемое с одного и с другого плеча бронзовой крепью дубрав, смело и повсеместно выступающее вперёд, бесчисленное, торжественно-праздничное (и это нищая Русь, захудалый лесной улус Великой Орды?!), ошеломляло и приводило в ужас своих противников.

Судя по солнцу, наступил полдень, когда выдвинутые вперёд сторожевые полки двух ратей окоротили шаг и застыли друг против друга на расстоянии полупоприща.

Грудью коня, как тяжёлая лодка воду, раздвигая пехоту, из гущи ордынцев выезжал наперёд всадник, и по мере его продвижения в обеих ратях становилось всё тише. Когда он выехал, увидели, что это не знатный мурза, жаждущий покрасоваться перед началом боя, и не посол, которому поручено передать русской стороне какое-нибудь последнее условие. Тучный, дебелый, способный, видать, целого барана поглотить за один присест, он что-то яростно выкрикивал и гарцевал на своём коне-великане, у которого только что пламя не пыhalo из ноздрей. Он был, похоже, пьян — то ли от гнева, то ли от мяса и кумыса. Он рычал, как пардус, выпущенный из клетки, и насмешливо выкликал жертву, обещая разодрать её в клочья и разметать по полю.

И русская сторона оскорблённо молчала. К появлению этого страшилища не были готовы. Русского единоборца — великана, ругателя и насмешника — в запасе не имели. Наступило замешательство, тягостное, стыдное, какое всегда бывает, когда среди своих не находится того, кто бы посмел принять вызов, ответить по достоинству за всех. Каждый думал про себя: «Да уж мне-то куда? Осрамлю и себя, и всё воинство...» Озирались пристыжённо: но кто же, кто? Или не найдётся ни единого? И знали заранее, что подобного этому, точно, не найти, не уродились такие, среди многих десятков тысяч нет ни одного.

А единоборец всё разъезжал перед своими и пуще багровел, и рычал, отрывая обрывки то ли молитв, то ли ругательств, и за его спиной уже похотывали.

Но вот облегчающий выдох прошелестел по русским рядам. Качнулись ряды, и вперёд медленно, как бы в раздумье, выехал всадник в чёрной одежде схимника.

— Пересвет... свет... — прошелестело дальше, к тем, кто не мог видеть и ещё не знал, почему остановились.

Пересвет оглянулся, как бы кого разыскивая глазами и не найдя, и поклонился. И все напоследок рассмотрели его бледное взволнованное лицо в тени схимнического куколя. Он был велик ростом, плечист, красив и статен, но всё же ордынец выглядел крупней его, куда крупней. Затем Пересвет отвернулся, выровнял на весу копье, прижал его локтем к боку и пустил коня вскачь.

Ордынец сорвался ему навстречу. Они сшиблись глухо, кони под ними сразу стали заваливаться, рухнули замертво вместе со всадниками. Единоборцы лежали недвижно, окованные дремучим сном. Это случилось в один миг, и все, кто видел, опешили от неожиданности происшедшего.

...Позднее художники на миниатюрах в летописных сводах

изображали Пересвета лежащим поверх поверженного им врага, с рукой, застывшей в благословляющем движении. Он будто показывал рукой то направление, в котором, минуя его тело, русские пойдут вперёд, дальше.

...Это случилось в один миг, но в следующий миг неведомая птица высоко над застывшими толпами подхватила душу Пересвета, ещё рыдающую от нестерпимой боли, и в свистящих струях ветра бережно понесла её всё далее и далее от пределов порученного ей средоцарствия, понесла к тем ослепительным чертогам, где не знают ни плача, ни страдания, ни печали, но вечно любуются бессмертным источником жизни.

VIII

Битва началась в полдень и длилась почти до сумерек, хотя для великого множества воинов и с той и с другой стороны она длилась всего несколько минут, полчаса или час с небольшим. Для десятков тысяч людей она началась с запозданием, и они ещё продолжали томиться неизвестностью, когда другие десятки тысяч уже были убиты, смертельно ранены, растоптаны лошадьми, испустили дух под тяжестью тел. Никто из участников сражения не мог видеть его целиком, во всех подробностях. Да ничьё человеческое сознание и не смогло бы вместить в себя всех этих подробностей и притом не потерять из виду общей последовательности событий и их смысла, хотя бы наружного, чисто военного. В сознании её участников битва поневоле распалась на удручающее множество отчасти непохожих, а отчасти похожих ощущений и переживаний. Иначе быть не могло, потому что сражение и есть доведение до предела неистовства всех имеющихся сил распада, дробящих и расщепляющих живую ткань и живое сознание.

И в то же время такой взгляд на сражение вообще, может быть, справедливый с некоторой особой, так сказать, общечеловеческой и несколько безразличной точки зрения, был бы оскорбителен по отношению именно к этой битве. До самого дня, когда она произошла, русскому человеку ещё можно было жалеть о том, что всё так неумолимо к этому дню движется и что не подыскивается никакого иного исхода событий, нет возможности доказать своё право на свободу другим, бескровным, способом.

Но раз битва всё равно оказалась неминуемой и оружием справедливости стал рассекающий на части меч, то теперь уже было не до сожаления, что так произошло, не до сострадания и милосердия к врагу, не

до жалости к себе. Именно это в первую очередь теперь надо было отсечь от себя. Обоюдоострая справедливость оборачивалась сейчас своей беспощадно разящей гранью, и здесь было начертано:

«Не мир, но меч»; «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Не мы пришли в чужую землю, но наша земля попорана и расхищена. Не мы возжаждали чужой крови, но нашу кровь хотят выточить из жил по капле. Мы просили оставить нас в покое, предоставить нас самим себе, и пусть не обвиняют нас в жестокости те, кто не захотел вернуть нам необходимого. Сроки исполнились! Дорогу разящему мечу!

С тем же ощущением тесноты, с каким шли друг навстречу другу, теперь противники сшиблись. Треск ломаемых копий и щитов был как треск великого пожара. И правда, жарко сразу стало, и душно, и красно, и тошно от хлынувшей из ран крови, от смешавшихся дыханий, тел; кричали и не слышали сами, что кричат; обливались потом и захлёбывались пылью; не столько доставали врагов оружием, сколько валили и подминали тяжестью рядов. Тут почти не было сейчас места для удали, ловкости, изворотливости; дольше выдерживал тот, кто крепче стоял на ногах. И всё-таки долго тут никто не выдерживал. Не прошло и нескольких минут после столкновения передовых полков, а бились уже не на земле стоя, а на телах, неподвижных или содрогающихся под тяжестью тех, кто стоял на них, спотыкался, оступался и тоже падал. Но тут же брешь в стене занимал кто-то иной, выталкиваемый наперёд нетерпеливым напором тыловых ратников, ждущих своей страшной минуты. Собственно, в рукопашной имела возможность участвовать одновременно лишь самая незначительная часть бойцов, как лишь самая узкая полудуга травы попадает за раз под лезвие косы. Но косы с той и другой стороны свистали беспрестанно, и к исходу первого часа битвы от передовых полков оставались в живых лишь ничтожные горстки пешцев и конных. Они были подхвачены на гребень двух новых волн, и это уже были основные силы русских и ордынцев, и сшиблись они со стоном и рёвом по всей поперечине поля. Страшно подумать — под ногами лежали копнами тысячи бездыханных тел, а битва, оказывается, по-настоящему только сейчас и начиналась. Солнце ходило ходуном в клубках пыли. Мгла заволокла самую гущу сражения, но, в отличие от утренней, сырой и знобкой, это была жаркая, липкая, удушающая мгла людских, животных испарений и пыли. Воздух загустевал тяжёлым зноем, под стать душным летним жарам между грозами. Обременённые доспехами, в насквозь мокрых рубахах, люди «от великия тесноты задыхахуся, яко немошно бе вместитися на поле Куликове». Казалось, что не на одном только поле сейчас так тесно, но и везде, в

десятках и даже сотнях вёрст отсюда земля стонет под ногами сгрудившихся ратников; и не найти нигде источника холодной чистой воды, который не был бы замутнён кровью, и не сыскать пяди травной, не истолчённой копытами, не чавкающей, как жижа на скотном дворе. И многие, не выдержав такого напряжения, кричали от ужаса и рвали на себе одежды, а иные падали без сознания от удушья или теплового удара, а иные теряли рассудок.

Что ж ты торопишься так, наглая смерть!

Умереть, не успев слово крикнуть, то, заветное, которое всю жизнь носил в себе и всё ждал нужной минуты, чтобы, смущение одолев, сказать его, чистое и доброе; не успев даже рассмотреть в лицо того, кто убивает; не успев и на друга оглянуться, что рядом стоял, тяжело дыша; не успев охнуть, удивиться, пожаловаться, заплакать, вспомнить: о матери не успев вспомнить, о деревнишке своей, об отцовом сосновом скоблённом столе, о зелёной лесной речке, о рыбных весёлых ловах — ни о чём, ни о ком; ничего-ничего не успев в жизни этой, пронёсшейся светлой тенью; не успев и молитву сотворить коченеющими губами, не успев...

Смерть сегодня спешила, как никогда. Лошади шарахались от мёртвых тел и в суматохе давили живых; лишь на отдельных участках поля конные лавы имели возможность вступить в ближний бой с вершниками врага, но и тут невероятная скученность не позволяла ни тем, ни другим резко продвинуться вперёд, отсечь на большой скорости одни полки от других или произвести боковой обхват.

Особенно это вынужденное полубездействие конных отрядов досаждало Мамаю и его мурзам. Нанесение неожиданных боковых и тыловых ударов превосходящими силами конницы было всегда, ещё со времён Чингисхана, излюбленным боевым приёмом монголов, и часто именно такие удары решали исход сражения. Сегодня для подобного действия у Мамаю совсем не было места, и он чувствовал себя как охотничья птица с плотно перевязанными крыльями: с одной стороны мешали Дон, впадающая в него речка и дубравы, растущие по её склонам; с другой — Непрядва с её оврагами и текущими по их дну притоками. Можно было надеяться только на разрыв русской стены в середине или на стыках её тулова с полками левой и правой руки.

Но истекал уже второй час после полудня, а ордынские тьмы почти нигде не продвинулись вперёд более-менее заметно. Иногда в разрывах пыльной мглы в двух с половиною или трёх поприщах от холма Мамаю виднелись колеблющиеся в столкновениях, как травы под ветром, толпы, и оттуда доносился сдержанный рокот боя. Иногда доскакивали на холм

вестники от мурз и докладывали, что убит ещё один русский князь или боярин. Но про Дмитрия ему почему-то ничего не говорили, и про серпуховского князя он ничего не знал, и про то, где находится хитрый волынский князь, вестники также помалкивали.

Мамай не мог не догадываться, что крупные потери имеются и в его тьмах. По тому хотя бы, что мало-помалу сплошная лава его подданных сползала с холма, и, значит, задние занимали место передних, но куда же девались передние, если до сих пор не было ни видно, ни слышно, чтобы противник хоть где-нибудь показал спину, побежал? Как будто там, впереди, бесперебойно действовала страшная давящая, поглощавшая его, Мамай, пехоту и конницу, и если не предпринять каких-то неотложных мер, то так будет продолжаться не один час, и с чем он тогда останется?

Поле оказалось вовсе не подходящим для такого боя, какой он хотел навязать русским, и он недоумевал, чем это поле могло привлечь русских и почему они решили ждать его здесь, если только всё это не произошло случайно? То, что он не может сейчас захватить русских в мешок с помощью боковых ударов, конечно, обидно. Но, впрочем, не такая уж и великая беда. Русские и так сидят в мешке: по бокам у них — поросшие лесом овраги, за спиной — река. Надо их притиснуть к берегу и спихнуть в воду. Но чтобы исполнить это, надо сначала разодрать русское тело на части — распороть грудь или отхватить от туловища какую-то одну руку. Это и сделает сегодня хищная ордынская птица, недаром боковые полки в войске степняков именуются крыльями, как звались они в век Темучжина и в век Батыя.

До сих пор солнце светило в лицо русским, и это было на пользу Мамаю. До сих пор ветер также дул им в лицо, нанося на русские ряды тучи пыли. После двух с лишним часов битвы солнце сильно подвинулось в небе и уже не било русским в глаза. Но ветер по-прежнему гнал на них душную мглу, от которой слепило глаза и першило в горле. Мамай двинул свежее подкрепление в самую середину поля и усилил конницей правое крыло, нависавшее над русским полком левой руки.

Нагнетённость противоборства больших срединных полков достигла предела, ратники изнемогали от жажды, они никогда ещё, кажется, не стояли в такой тесноте на земле, как стояли сейчас; самые бывалые и старые из них никогда сами не участвовали и ни от кого не слышали о сражении, которое бы так долго длилось, как это. И никто из них не мог уловить в воздухе, в криках воевод, в свирепо-неумолимых лицах врагов хотя бы маленький щадящий намёк на то, что исход всему этому уже недалёк.

Где ты, великий князь московский? Это чудо, если, выйдя наперёд, ты до сих пор ещё держишься в седле. Подай же о себе знак, крикни, чтобы передалось по рядам: живой, живой... Почему ты молчишь? Где твой шелом золочёный посверкивает? Но нет, ты ведь оделся в простое, как в море людское канул, ни враг, ни свои тебя не отыщут, ни живого, ни бездыханного не признают во мгле. Подай же голос, отзовись по имени, почему молчишь?

...Князь полоцкий Андрей Ольгердович, в числе иных воевод стоявший в полку правой руки, несколько раз сильно оттеснил ордынцев, и его воины горели нетерпением погнать врага по-настоящему, так что он иногда с трудом сдерживал их порыв. Искусный воитель, он видел, что увлекаться опасно, что податливость степняков на его стороне обманчива. Большой полк стоит неподвижно, и вся сила ордынская пала на его середину и лежит, желая её разомкнуть. Если полк правой руки вырвется сейчас вперёд, сразу ослабнет стык с серединой, и тогда ордынцы непременно кинут сюда конницу, пробьют брешь, потеснят большой полк сбоку, а то и в тыл ему попытаются зайти. Может, они и поддаются на своём левом крыле для виду, чтобы выманить на себя старшего Ольгердовича? Потому князь Андрей и поглядывал благоразумно на русскую середину: как она? Вот если там вдруг ослабнет давящий напор ордынской стены и большой полк, в свою очередь, начнёт всё более и более теснить её, тогда... Но там пока что такого движения не обещалось. Наоборот, видно было, с каким невероятным напряжением, то прогибаясь, то вновь выравниваясь, русская середина держит на себе кромешную тяжесть отборных Мамаевых полков.

IX

Андрей Ольгердович не мог видеть событий, происходивших на противоположном от него левом краю поля. Зато очень хорошо был виден этот участок битвы князьям Владимиру Андреевичу и Дмитрию Михайловичу Боброку. Их засадный полк как зашёл ещё в тумане в дубраву, так будто бы и врос в неё. С тех пор до начала сражения миновало не менее трёх часов и от начала его — почти три. Ратники явно утомились бездействием, но от князей-воевод не исходило пока никаких распоряжений. Князьям было всё-таки легче, чем большинству, потому что они видели своими глазами, что там происходит, а большинство, ничего не видя, ещё пуще возбуждало в себе беспокойство разноречивыми слухами и

тем отдалённым, ворчанию грома подобным звуком, который раз от разу доносило до них порывами ветра.

Тыловые части вступивших в сражение русских полков сдвигались всё дальше и дальше мимо дубравы, постепенно заволакиваясь мглой. Изредка она расточалась, и тогда далеко впереди над колышущимся тростником копий различался большой великокняжеский стяг, множество полковых стягов, хоругвей, выносных походных икон.

Время ожидания — самое тягостное, тянучее, вытягивающее жилы. Люди, которые стояли у самой опушки дубравы, видели, как от места сражения шли, ползли или кое-как ехали верхом раненые, как носились по полю лошади, потерявшие своих всадников. Раненых было очень много, попадались и такие, кто просто бежал со всех ног, подгоняемый одним лишь страхом. Бежал, не догадываясь, что свои стоят недалеко и смотрят на него с суровой укоризной.

Но это не было отступлением. Битва стояла на месте. И значит, им тоже надо было стоять на своём месте, как условились. Они понимали, что там творится сейчас что-то превосходящее возможности человеческого воображения и, может быть, уже нет в живых половины русской рати; а о великом князе и подумать боязно, ибо если он жив, то почему же не шлёт до сих пор вестника хоть с каким-нибудь словом?

Но вот к трём часам после полудня на поле стало всё быстро меняться. Как не всматривались оба князя в то место, где должен бы находиться великокняжеский стяг, ничего им не было видно. И вообще стягов и хоругвей насчитывались только единицы, но, может, то пыль мешала разглядеть остальные? Нет, опытные полководцы не обманулись в недоброй догадке. Русская стена изнемогала и то в одном, то в другом месте заметно подавалась вспять.

По усилившемуся гулу, а потом и крикам от ближнего к дубраве края поля было ясно, что тут ордынцы преуспели более всего. Им удалось наконец оторвать русский полк левой руки. Часть вражеской конницы хлынула в проран, другая стала окружать полк с внешней стороны поля. Чужие всадники появились вдруг прямо напротив дубравы — сначала единицами, потом целыми сотнями и всё прибывали и прибывали. Не догадываясь, что засада совсем рядом, они скапливались для удара в тыл русскому войску, разрозненные порядки которого отходили почти по всему полю.

Владимир Андреевич, более молодой и непосредственный, чем Вольнец, то и дело с укоризной поглядывал на товарища. Чего ещё ждать-то? Кому помогать будем? Одним мёртвым?! Самая пора ударить!

Но тот лишь хмурился и отводил глаза. Странно, они не раз стояли в бою рядом и всегда хорошо понимали друг друга. Сегодня Дмитрия Боброка понять было непросто. Он больше отмалчивался да поглядывал на солнце. Но нужны ли ещё какие приметы, когда ордынцы уже повернулись к ним тылом и поскакали то ли брать в кольцо остатки полка левой руки, то ли наносить боковой удар по большому полку.

Нелегко даётся наука русского долготерпения. Сколько лет ждали этого дня! Столько дней, то убыстряя шаг, то придерживая поводья, шли к этому полю! Столько часов длится сражение, и в два раза дольше ждут они в засаде! И вот Мамаю, может быть, виночерпии уже наливают победную чашу, а мы всё ждём?!

Да, мы всё ждём! Пусть он её выпьет, пусть они все упьются призраком своей победы! Ещё ветер веет нам в лицо, хотя солнце уже становится нам за спину и начинает бить им прямо в глаза. Ещё помедлим, ещё потерпим немного, братья, пока до предела отяжелеет русская чаша.

Целый день стояли под деревьями, внимали заунывному жестяному звону листвы, она цепко держалась за дубовые сучья, не желая отлетать. Но вот умолк унылый шелест, странная тишина установилась в лесу.

«И се внезапно потяну ветер создаи их...»

Лес возмущённо загудел, закрипел. Он будто сорвался со своего места, потому что целые охапки, ворохи листвы, крутятся в вихрях, понеслись в поле.

— Княже, — напрягая голос, прокричал тогда Боброк Владимиру Андреевичу, — час настал, время приблизилось!

И тогда же, опережая вихри листвы, засадный полк вылетел из укрытия и кинулся вдогон коннице врага.

Нет, не напрасно два князя переждали, казалось, все сроки. Дело было не только в направлении ветра, перемены которого так упорно чаял вещий Волинец. Ветер, конечно, совершал свою работу: он понёс далеко вперёд гневный клик засадного полка; он понёс также лучи мглы на ордынские тьмы; он, наконец, помогал скакать, лететь, почти как на крыльях. Но прежде всего ждать до сих пор стоило потому, что противник действительно уже опьянялся почти готовой победой. Орда и впрямь ощущала себя вполне навеселе. Как же, она наступала повсеместно, подталкивая полки русских к холму, за которым река. Удача была в руках, да ещё после такой изнурительной борьбы, и оттого хотелось степнякам поскорей скинуть с плеч груз напряжения, расслабиться, осклабиться.

Но ордынская свежая конница, на которую была главная надежда Мамаю и которая на радостях налетела было на русский тыл и вдруг сама

получила сокрушительный удар с тыла, в течение какого-нибудь получаса перестала существовать. Но в эти же полчаса, в разрыв, образовавшийся между большим полком левой руки, вошло ещё одно запасное соединение русских войск, возглавляемое князем Дмитрием Ольгердовичем и до сих пор стоявшее как бы в тени большого полка. Силами этого подкрепления удалось не только вышибить ордынцев из брешы, но и глубоко вклиниться в их главный полк.

При виде такой решительной перемены воспрянули духом ратники владимирского и суздальского полков — та самая русская середина, или, как её ещё называли, матица, которая до сих пор медленно пятилась, обескровленная, лишённая множества своих воевод, потерявшая великокняжеский стяг. Тимофей Васильевич Вельяминов — а он стоял именно здесь — сделал всё возможное, чтобы поддержать прорыв Дмитрия Брянского. И содрогнулась середина, напряглась всеми жилами, перестала пятиться, так что и мёртвые, стиснутые со всех сторон, стояли не шевелясь, не имея места, куда упасть. И медленно-медленно, будто кренящаяся стена, надавила на вражьи тьмы. Вскарabкивались на холмы тел, проваливались в расщелины между этими холмами, но шли всё проворней, продираясь, будто в поваленном бурей лесу, сквозь сучья копий... А что соседи? Окликайте соседей! Как у них? Не напрасно ли поспешаем? Знали, что это не напрасно, потому что и полк правой руки готов идти вперёд. Главное же — знали, слышали и отчасти видели, что полк левой руки, которому ещё недавно грозила неминуемая гибель, спасён и что там, на левом краю поля, происходит сейчас, может быть, поворотное событие всего сражения.

Так оно и было. Всадники Владимира Андреевича и Дмитрия Михайловича Боброка, опрокинув ударом в спину лучшую конницу Мамаев, вонзились в стену ордынцев, что напирала на левый полк с фронта, прошибли её насквозь и расporоли надвое весь бок Мамаева воинства.

Великий темник, у которого в ушах ещё звенели радостные клики мурз и вестников о новых и новых удачах, вдруг обнаружил, что всё, оказывается, совсем не так, ибо шум битвы назойливо возрастает и мгла неприятно заволакивает его тьмы, и прямо в направлении его ставки пробивается неведомо откуда взявшийся громадный клин конницы, величиной чуть ли не в половину всего чужого войска.

Мамай успел бросить в бой запасный полк, но в это время его слуги сворачивали шатры. Он успел также распорядиться о создании заслона с помощью табора, стоящего сзади холма, но телохранители тем временем подводили коней; он успел услышать, что во главе прорывающейся к холму конницы Владимир Серпуховской и Дмитрий Волынец, но ему некогда уже

было удивляться этому.

Всю жизнь ему везло в кровавых придворных играх, но всякий раз, наслаждаясь очередным выигрышем, он ощущал неполноту удовольствия, потому что у него не было ещё одной славы — славы великого полководца. И сегодня, когда он уже держал эту трепещущую славу в руках, она вдруг выскользнула. Такой красивый и большой холм для празднования победы — и приходится его оставлять. Три тысячи раз видел Мамай, как зависает над степью солнце, будто в недоумении — подниматься ещё выше или пора уже крениться к западу, — но никогда не скапливалось в небе столько тоски, сколько проливалось в его прищуренные глаза сегодня. И он в страшной досаде отвернулся от этого мерклого неба и поскакал по ископыченной в труху, испакощенной его тьмами земле, оставляя за спиной нарастающий грохот всеобщего бегства и преследования.

X

Хотя при начале бегства степняки своим числом ещё несколько превосходили русских, но они больше не представляли собой войска. Это было стадо, потерявшее из виду своих вожаков. Беглецы сами принуждали сравнивать себя со стадом, потому что, разнеся в щепки заслон, наскоро составленный Мамаем из телег и кибиток обоза, они распугали табуны и отары, что паслись за обозом, и далее припустились вперемешку с овцами, лошадьми и верблюдами.

Теперь погоню можно было длить беспрепятственно, пока не заморятся кони и не притупятся мечи, пока свет дневной не убудет.

Отбить бы самого Мамая! Кто не подхлестывал себя этой целью? Но, кажется, расстояние до него с каждой минутой всё возрастало. Он-то, конечно, скачет на свежих, часто меняемых лошадях. Погоня дробилась, спекалась людскими сгустками; гнали уже назад, к Непрядве, толпы пешего полону; закручивались в малые водовороты сцепившиеся друг с другом всадники; множество беглецов рассыпалось по лесным оврагам, чтобы переждать до ночи; изредка, со звуком удивления, посвистывали в воздухе стрелы; некогда было в запале погони уследить, сколько одолели вёрст; вдруг обнаружили себя у бродов Красивой Мечи, и тут напоследок густо закровавились её воды...

Князь Владимир Андреевич, как ни увлекал его вместе со всеми пыл преследования, одновременно ощущал в себе всё возрастающую тревогу, которой он, однако, медлил и боялся дать название. Но наконец в зловещем

свете западающего солнца тревога эта заставила его удержать бег коня и вложить меч в ножны.

«Где Дмитрий? Жив он или мёртв?» — так называлась его тревога.

Он вернулся на поле, когда ужасные следы побоища уже слегка скрадывались в своих очертаниях с приходом сумерек. Надо было разыскать брата сейчас же, до ночи. Если он тяжело ранен и истекает кровью, то непростительно будет не найти его сейчас и утром обнаружить бездыханным.

Владимир Андреевич велел трубить в трубы, скликать людей — всех, кто бродил по полю, разыскивая родных или друзей.

— Кто где видел великого князя Дмитрия Ивановича, брата моего?

Ближние ратники молчали. Посреди поля чернеют целые холмы трупов, можно ли разыскать теперь великого князя, если к тому же, как говорят, он был в одежде простого ратника? Но передавалось от человека к человеку:

— Где великий князь?.. Кто видел Дмитрия Ивановича?..

Обнаружились очевидцы. Рассказу каждого из них Владимир Андреевич радовался, как будто это самого брата вели к нему, поддерживая под руки. Кто-то видел, как Дмитрий Иванович пересеживался с одного коня на другого. Кто-то узнал его в самой гуще битвы и слышал, как он подбадривал других и сам рубился крепко. Один рассказчик вспомнил, как на великого князя налетели сразу четыре татарина и он отбивался, но сам получил много ударов...

Но, кажется, последним, кто видел Дмитрия, был ратник по имени Степан Новосельцев: князь брёл с побоища пеший, шатаясь от ран, но Степан никак не мог ему пособить, потому что за ним самим гнались три ордынца.

Значит, шёл, хоть и раненый. Значит, есть ещё надежда, что жив их господин.

— Братья, други, поищем его вместе прилежно! — с мольбою в голосе просил Владимир Андреевич. — И если кто из знатных найдёт его живого, то ещё прославится, а если кто из простых, в последней нищете пребывающий, то отмечен будет богатством и славой.

Ратники снова разбрелись по полю. Ещё, может, какой-нибудь неполный час — и сумерки загустеют, поздно будет.

В одном месте нашли мёртвого русского витязя и признали было в нём великого московского князя — по золоченым сияющим доспехам и дорогому плащу. Но то был Михаил Бренок.

Потом донеслись голоса с левого края поля, где сражался полк, более

других сегодня пострадавший. Но ошиблись и там, приняв за Дмитрия старшего из белозерских князей, Фёдора Романовича. Немудрено было ошибиться: очень уж походил этот бездыханный мономашич на своего дальнего родственника — и лицом, и чернотой бороды, и телесной дородностью.

А в это время на противоположном, правом краю поля двое простых воинов подъезжали к опушке дубравы с намерением и тут поискать, потому что немало раненых старалось уйти с открытого поля и схорониться под защитой деревьев. Одного такого ратника они вскоре увидели. Он лежал под свежесрубленным берёзовым деревцем; похоже, что кто-то, помогший ему сюда добрести, сначала уложил его, а потом подрубил дерево, чтобы оно своей листвой прикрыло раненого от чужих глаз. Воины спешили, отодвинули ветви и наклонились над человеком. Он им был, безусловно, знаком, они видели его не раз, видели и сегодня. Доспехи его были иссечены и продавлены во многих местах, лицо в ссадинах. Кажется, это был великий князь московский и владимирский, и, кажется, он ещё дышал.

Они договорились, что один останется, а другой поскачет объявить князь-Владимиру: нашли, живого нашли, но в беспамятстве лежащего, пусть поспешает Владимир Андреевич к милому брату.

Когда тот приехал, то пал на колени перед распростёртым Дмитрием Ивановичем, с трудом узнавая в сизых сумерках измученное родное лицо:

— Брате мой, великий княже, слышишь ли меня? Божию помощью измаилтяне побеждены, слышишь ли?

Веки великого князя с напряжением приоткрылись. Он смотрел перед собой мутно, недоумённо и как бы с досадой, что прервали его глубокий сон.

— Слышишь ли?

Наконец Дмитрий разлепил спёкшиеся губы:

— Кто ты?

Владимир ещё подался к нему:

— Это я, брат твой, говорю с тобою: наша победа...

Стали бережно приподымать великого князя, освободили осторожно тело его от доспехов, разодрали окровавленную рубаху. К счастью, ран смертельно опасных не было на нём. Каждую язвину омыли травным отваром, присыпали растёртым в порошок тысячелистником, перевязали. Дмитрий Иванович смотрел вокруг всё осмысленней. Похоже, весть о победе постепенно осознавалась им и на глазах преображала его, как чудодейственное лекарство. Он постарался сам встать на ноги и попросил подать ему коня. Над полем истаивал последний свет праздничного дня.

Великому князю московскому и всем его соотечественникам, оставшимся в живых, понадобилось провести на этом поле ещё целых восемь дней, потому что предстояло позаботиться о павших, которых оказалось не меньше, чем живых.

Поле славы, говорим мы... Да, но и поле скорби, поле Вечной Памяти. Тела убитых русских воинов свозили к тому месту, где над впадением Непрядвы в Дон открывался с кручи вид на родную северную сторону. С той стороны пришли сюда, и многим уже не вернуться, не посмотреть на дорогу, а лягут они в землю тесно, плечом к плечу, как и на поле стояли, лицом против солнца.

Черна и тучна степная земля, отливает на срезе тусклым серебром. Только головами качали землекопы: ну и добрая земляца! Такой ни в юрьевском, ни в суздальском ополье, пожалуй, не сыскать. Вот где сеять жито, вот где за сохой идти, вдыхая всей грудью древний запах, кружащий пахарю голову. Они же засевают сегодня эту землю не житом, а косточками сирыми... Но не про этот ли горестный посев сказано: если зерно пшеничное, упав в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода?

В эти дни поредела дубрава, укрывавшая 8 сентября русский засадный полк. Дровосеки и плотники подбирали деревья поровней; кряжи свозились к месту братского захоронения, чтобы тут, над Непрядвой, срубить кладбищенскую церковь в память о воинах, принявших мученический венец. Её называли по дню битвы, по дню праздника — церковью Рождества Богородицы.

Сполна осозналась в эти дни дорогая цена победы. Скрипели по полю телеги: туда — пустые, оттуда — тяжело нагруженные; с утра до ночи свозили к могильным ямам ужасный урожай смерти. Многих и опознать-то было невозможно — свой ли, чужой? Но раз уж извлекли из груды изуродованное, безликое, а то и безглавое осмрадевшее тело, клали и его в телегу. А вдруг всё же свой? Что же, оставить его на съедение волкам, на расклёв коршунам? А если и чужой, то что поделаешь теперь-то? Пусть уж лежит со всеми вместе, по-человечески... Отходчиво русское сердце, знать бы лишь наперёд, во добро ли себе обернётся эта отходчивость и незлопамятность?

И ещё звучали секиры в дубравах. Пусть хоть немногих из павших, но хотел великий князь довести до дому. Для них вырубались дубовые колоды

и выдалбливались внутри вместилища, и самое великое понадобилось для тела Александра Пересвета. Когда утром 9 сентября Дмитрий Иванович объезжал поле и ему в числе прочих показали убитого инок и распростёртого рядом единоборца-татарина, великий князь не смог сдержать слёз. Невольно вспомнилась ему томительная минута смятения в русских рядах, которую Пересвет прервал своим добровольным выездом на единоборство.

— Смотрите, братья, вот первоначальник битвы, — обернулся Дмитрий Иванович к сопровождавшим его. — Не будь Пересвета, многим пришлось бы ещё испытать чашу смерти.

Они поехали дальше и увидели других — верных слуг и друзей, без просыпу спящих посреди поля: Михаила Бренка, что безропотно принял смерть в одеянии своего господина; Микулу Вельяминова, что ценою жизни восстановил честь своей фамилии; воеводу Тимофея Волюя Окатьевича; воеводу Льва Морозова; белозерских князей Фёдора Романовича и сына его Ивана; Андрея Серкизовича, погибшего во славу новой своей родины; воеводу-разведчика Семёна Мелика, который искусно выманил ордынское войско на это поле, на нём же и почил; и ещё назывались вслух дорогие имена, а были и такие, о ком лишь по приметам догадаться можно было, что он лежит, а не иной кто.

Не умещалось пока всё это в сознании — ни громадность победы, ни бесчисленность жертв, душа не привыкла ни так радоваться, ни так горевать; первое слишком ослепляло, почти отрывая от земли, второе на каждом шагу видом и запахом смерти угнетало, грозя болезненным равнодушием. Само сознание каждого пережившего битву было ещё слишком расщеплено, потрясено до основания, в памяти болезненно роились какие-то клочки, тщедушные обрывки происшедшего: их число то множилось безмерно, то все другие оттеснялись на время каким-то одним назойливым воспоминанием. Всё не умещалось, хотя день отплывал за днём и безмолвное поле окружало их умиротворяющей тишью. Может быть, всё и до самой смерти не уместится в сознании каждого из них. Они пережили то, что было выше их меры, на что человек обычно бывает не способен.

Поле, окружающее их, готовилось к ежегодному обряду смерти и было прекрасно в своих приготовлениях, если бы не эти следы, его обезображивающие. Насколько оказалось в их силах, люди постарались убрать эти следы.

Наступил день прощания живых с почившими, русского воинства с полем. Стояли над усть-Непрядвой, над светлым стремением Дона, обступив

великие могилы, сняв шеломы и шапки.

Слышите ли вы, други, нашу тризну?

Дивную землю вылепил для нас Господь, украсил её холмами и долами, сочетал жилы рек и струи ветров, изобразил в дымке округлые дали, расширил дланями глубину небес, но пристанище ваше последнее вырыли мы сами. Не наша вина, что позавидовало красе земли нашей племя чужое, племя бездомное. Наша ли вина, что понесли мы ярмо иродово, бремя басурманское? Но вы надломили вражий хомут, и этого не забудет Русская земля, пока есть на свете такое имя. Прощайте же, братья! Мы ещё вернемся к вам, на это поле, на этот холм, и внуки наши придут из дальних сёл и градов подивиться вашему бескорыстию.

Память ваша не престанет.

И вы слышите ли там, везде, по всему свету? Мы — будем! Хотите ли, не хотите, мы будем жить, будем строить златошлемые каменные дива и прочные житницы, рожать детей и сеять зерно в благодатные борозды.

Мы будем акать и окать назло своим недругам, мы ещё созовём добрых гостей со всего света, и никто не уйдёт с русского пира несyt.

Мы будем, покуда небеса не свернутся как прочитанный свиток. А до тех пор наши колодцы не пересохнут, наши колокола не умолкнут!

Мы ещё скажем миру слово Любви, и это будет наше окончательное слово.

Глава двенадцатая

Обстоятельства битвы

I

Вполне возможно, что у читателя, хотя бы отчасти знакомого с разнообразной литературой о Куликовской битве — научной и художественной, — имеется немало вопросов, на которые он в предыдущей главе ответа не нашёл. Ну, хотя бы, например, такой: почему автор не высказался определённое о том, был или не был предателем рязанский князь Олег Иванович?

Или: почему ничего не сказано о численности русского войска на поле боя, если не точной, то хотя бы приблизительной? И о том, сколько русских погибло? И о том, какие всё-таки города и княжества участвовали в битве? Были ли в числе ополченцев новгородцы, как об этом свидетельствуют старые источники?

Или: какова была численность и каков был национальный состав войска Мамая?

А как быть с разноречием мнений вокруг такого немаловажного события, как переодевание Дмитрия Ивановича в одежду простого ратника? Ведь не новость, что некоторые усматривают в этом переодевании едва ли не проявление малодушия великого князя.

Порой даже вопросы, казалось бы, второстепенные способны бывают приковать пристальное и ревнивое внимание. Вот один из них: каков был цвет русских стягов и хоругвей на Куликовом поле? Чёрный, как читаем у Карамзина? Белый, как пишет Татищев? Или чермный, то есть червонный, алый, как пишут некоторые другие авторы? Ведь совсем немаловажно, какой именно смысл вкладывали русские ратники в цвет или цвета, знаменовавшие их понимание войны, смерти и победы.

Наконец, издавна немало несовпадающих предположений высказывалось относительно личности Пересвета и брата его Осляби, или Ослебяти. О втором, в частности, можно и сегодня прочесть, что он не погиб 8 сентября 1380 года и несколькими годами позже ездил в Константинополь по поручению русского митрополита. И что звали его не Андрей, а Родион.

Действительно, эти и сопутствующие им другие вопросы или обойдены в предыдущей главе, или на них отвечено без соответствующих разъяснений и обоснований. Сделано это намеренно, с тем, чтобы дать по возможности цельное, ничем механически не прерываемое изложение событий, начиная от приготовлений к походу на Дон и кончая похоронами русских героев. Причём постараться дать такое изложение, в котором бы повествовательная задача решалась в первую очередь на основе достоверных древних свидетельств, а отрывочность последних восполнялась авторским и читательским домысливанием и сопереживанием.

Что же касается многочисленных подробностей битвы, продолжающих возбуждать вопросы и недоумения, то автор посвящает им теперь отдельную главу справочного характера, заранее предупреждая, что он не ручается за полноту или окончательность своих ответов. Здесь важнее очертить круг вопросов, бытующих в настоящее время в культурном обиходе в связи с обстоятельствами Куликовской битвы. Начать с того, что все эти вопросы, большие и маленькие, восходят к одному, наибольшему и, так сказать, первопричинному — о степени достоверности историко-литературных источников, излагающих поход русского войска на Дон и само сражение.

Владимир Даль, поясняя слово *источник*, говорит о его значении следующее: «Вода и иная жидкость, истекающая из земли, ключ, родник и живец, водная жила». И тут же приводит расширенное толкование: «Всякое начало или основание, корень и причина, исход, исходная точка; запас или сила, из которой что истекает и рождается, происходит».

В исторической науке, где образом-понятием *источник* пользуются на каждом шагу, оно также имеет значение исходной точки, родника, из которого историк обязан почерпывать содержание, необходимое ему для соответствующих выводов. Времена прибывают, пишутся новые истории, иногда мелькают в них вновь обнаруженные источники, но редко, очень редко. Потому что чем древнее исторические источники, тем их меньше и тем реже пробиваются из земли заглохшие жилы.

О Куликовской битве, отдалённой от нас шестью веками, мы знаем и очень много, и очень мало. Много потому, что, во-первых, хорошо известно местоположение самого поля, и это для всех — и историков, и просто любителей старины, — безусловно, первый по важности источник. Пусть даже вы ничего не помните со школьной скамьи о битве, пусть вы не читали ни одного романа о ней и ни единая строчка Александра Блока, посвящённая Куликову полю, вам не запомнилась наизусть, но вы приедете

на место, побродите по полю, подышите его воздухом, поговорите с жителями окрестных деревень, посмотрите на Непрядву у её впадения в Дон, какой-нибудь здешний пятиклассник проведёт вас к берёзовой рощице и скажет, что тут росла дубрава, в которой прятался запасный полк, — и вот уже вам понятно так много, что без всякого снисхождения вас можно считать знатоком: ведь только что вы прикоснулись к тем самым «запасу или силе», о которых говорит Даль.

В любой почти библиотеке вам выдадут какой-нибудь из современных исторических романов, посвящённых Куликовской битве, и вы немало узнаете о ней, минуя знакомство с самим полем. Но, как бы ни понравился вам тот или иной роман, к историческим источникам он не относится.

Даже соответствующие тома «Историй» Н. М. Карамзина или С. М. Соловьёва, содержащие описание битвы, не суть сами источники. Иное дело, что, в отличие от исторических романистов, которые, допустим, читали только Карамзина или Соловьёва, эти последние постоянно как к хлебу насущному обращались к главным источникам по Куликовской битве — русским летописям. Они обращались к летописям как к великим «запасу или силе», не мысля сделать ни одного значительного вывода, не сверившись предварительно со свидетельствами древнерусских писателей.

Летописей под рукой у того же Карамзина было много, они были разных изводов, разной сохранности и полноты, более или менее древние, но ни единая из них, касаясь событий XIV века, не обходила вниманием Куликовскую битву. В одних летописях о великом сражении говорилось предельно кратко, иногда всего несколько строк. В других изложение битвы занимало десятки страниц. Так, в Троицкой летописи — из неё Карамзин делал выписки особенно часто, ибо справедливо рассматривал её как древнейший (из сохранившихся) источник по истории Москвы, — битве был посвящён лишь «Краткий рассказ». Более подробное изложение, которое можно было бы назвать уже «*Летописной повестью*», содержали две новгородские летописи, составленные несколькими десятилетиями позднее, чем Троицкая, ближе к середине XV века.

Эта «Летописная повесть» в отличие от «Краткого рассказа» изобиловала живыми подробностями подготовки к походу, самого похода и, наконец, битвы. Так, в ней говорилось о предательском поведении Олега Рязанского по отношению к Москве, о переговорах Мама с Ягайлом, о сборе русских войск в Коломне, куда на помощь Дмитрию Ивановичу пришли старшие Ольгердовичи — Андрей Полоцкий «с Плесковици», то есть с псковичами, и Дмитрий Брянский «со всеми своими мужи». Чрезвычайно ценно было и следующее уточнение, что русские войска от

Коломны шли до усть-Лопасни, где к ним присоединились Владимир Андреевич с полками и окольный Василий Тимофеевич, приведший из Москвы «все вой остаточный». Переправа через Оку, сообщала «Летописная повесть», началась «за неделю до Семеня дни». К Дону же русское войско вышло 6 сентября, «и тогда приспела грамота от Преподобного игумена Сергия и от святого старца благословение». Затем следовало известие о споре русских военачальников — далеко не все были согласны, что нужно переправляться через Дон. При описании битвы указывалось, что длилась она «от 6-го часа до 9», то есть от полудня по современному счёту, и завершилась погоней русской конницы, преследовавшей врага «до реце до Мечи». Наконец, сообщались драгоценные свидетельства о поведении перед битвой и во время неё великого князя московского, который не захотел остаться в безопасном месте, «а бился с Тотары в лице, став наперед, на первом суиме», то есть участвовал в первом столкновении сторожевых полков. Сравнительно с «Кратким рассказом» «Летописная повесть» была как дверь, распахнутая в совершенно новое пространство. Она волновала яркостью и объёмностью непосредственных, явно неизмышленных подробностей происшедшего.

Известно, что, кроме этих источников, Карамзин пользовался ещё и знаменитой Никоновской летописью, составленной много позже, в эпоху Ивана Грозного, и то, что было написано в ней о сражении 8 сентября 1380 года, намного превосходило по объёму и количеству подробностей и «Летописную повесть», и тем более «Краткий рассказ». Впрочем, отдельные вкрапления из «Летописной повести» иногда проглядывали в Никоновском своде. Но именно лишь проглядывали, потому что они здесь подавались вперемешку с пространными отрывками из другого сочинения, известного как «Сказание о Мамаевом побоище».

Итак, сравнительно поздняя Никоновская летопись не представляла собою самостоятельный источник для изучения битвы. Но было ли самостоятельным источником помещённое в ней вперемешку с «Летописной повестью» «Сказание»?

Сам Карамзин на этот вопрос ответил отрицательно. В комментариях к V тому своей «Истории государства Российского» он говорит о «Сказании» как о «баснословной повести», приводит несколько несуровиц, обнаруженных в различных его рукописных редакциях и списках, впрочем, признаёт сравнительную древность сочинения.

Однако суровый приговор историка не нашёл единодушной поддержки у позднейших учёных. Крупнейший исследователь «Сказания о Мамаевом побоище» С. К. Шамбинаго, признавая вывод Карамзина чересчур

скептическим, утверждал: «Сухая „Летописная повесть“ давала канву рассказа, Сказания сообщали ряд сведений, которых нельзя игнорировать историку». Но он же вынужден был признать: «Изменяясь с течением времени, редакции „Сказания“ вводили в изложение всё новый и новый запас накопившихся преданий о Куликовской битве, почти никогда не проверяя их критически. „Сказание“ разрасталось в объёме, переходя из летописного изложения в исторический роман».

Но чем же всё-таки отличается «Сказание о Мамаевом побоище» от «Летописной повести»? Прежде всего особенностями своей литературной судьбы. Можно без преувеличения сказать, что в Древней Руси «Сказание» было *самым читаемым* памятником, посвящённым Куликовской битве. В отличие от сравнительно малодоступных летописных повествований на ту же тему, «Сказание» читали буквально все грамотные русские люди. Оно легко и повсеместно множилось в списках, довольно быстро переключалось за пределы Московии, его переписывали для своих трудов украинские, белорусские, литовские и польские хронисты.

Этот особый успех «Сказанию» обеспечило соединение в нём, казалось бы, трудносоединимых начал: внешней занимательности повествования, раскрашенного иногда почти в сказочные тона, и насыщенности его материалом, в первородности и доподлинности которого, кажется, трудно было усомниться. Так, на первых же страницах «Сказания» обвинение Олега Рязанского в предательстве (выдвинутое ещё «Летописной повестью») подкреплялось сразу несколькими письмами, которыми якобы обменивались между собой Олег, Мамай и Ягайло. Естественно, читатель прочитывал «переписку» залпом (не очень задумываясь, из каких тайнохранилищ сумел извлечь её автор «Сказания»). Далее доверчивый средневековый читатель узнавал о том, что великий князь московский неоднократно обращался за духовной поддержкой к митрополиту Киприану, и тот благословил Дмитрия на битву. Или о том, что в Москву по зову её властелина приехали вместе со своими ратями князья Андомские, Кемские, Белосельские и другие...

Карамзин во всём этом справедливо углядел «баснословие» и засвидетельствовал, что в 1380 году митрополит Киприан в Москве находиться не мог (поскольку Дмитрий не впускал его в Москву, не признавая за митрополита). Что до князей Андомских, Кемских и Белосельских, то они, по мнению историка, «появились много позже битвы». Не поверил он и тому, что у великой княгини Евдокии во время проводов мужа уже имелась сноха (это при княжичах-детках-то?). Во многих списках «Сказания» имелась промашка и того почище: вместо

Ягайлы литовскую рать в помощь Мамаю вёл... Ольгерд, умерший за три года до Куликовской битвы.

Но показательно, что и Карамзин не перечёркивал полностью «Сказание» как исторический источник. «Мы, впрочем, не отвергаем некоторых обстоятельств вероятных и сбыточных, в ней находящихся», — осторожно заметил он о Никоновской летописи, имея в виду включённое в неё «Сказание».

Да и как было, к примеру, отвергнуть свидетельство «Сказания» о том, что накануне похода Дмитрий Иванович ездил к Сергию Радонежскому и просил у него благословения на битву? Ведь об этом же самом говорил и Епифаний Премудрый в своём «Житии Сергия». Или как было усомниться, читая в «Сказании», что Дмитрий попросил у троицкого игумена в своё войско двух иноков — Пересвета и Ослябю?

Пусть не упомянул об этом Епифаний, но зато в Синодике XV века имя Пересвета значилось в числе воинов, погибших на поле Куликовом; говорил о братьях-воинах и автор «Задонщины», а знаменитый русский писатель XVI века Иван Пересветов, обращаясь к Ивану Грозному, называл себя потомком двух богатырей, которые «за честь государю пострадали, главы свои положили».

Сверх того сравнительно немногого, что уже было известно русскому читателю о Куликовской битве по «Краткому рассказу» и «Летописной повести», «Сказание» с великим числом картинных подробностей, имён и т. д. сообщало:

- о «трёх стражах», в разное время посланных Дмитрием Ивановичем за Оку, — навстречу Мамаю;

- о Захарии Тютчеве — особом великокняжеском разведчике;

- о десяти гостях-сuroжанах, взятых Дмитрием в поход «поведания ради»;

- о трёх дорогах, по которым разделившееся русское войско выходило из Москвы;

- об «уряжении полков» на Девичьем поле под Коломной;

- о поимке «языка нарочита, от вельмож царевых»;

- о «приметах» Дмитрия Волынца;

- об утренней мгле;

- о переодевании великого князя и о его знамени;

- о единоборстве Пересвета с «печенегом»;

- о действиях засадного полка;

- о розысках великого князя, обнаруженного «под сению ссечена древа березова».

Вот почему в своём собственном описании битвы Карамзин неоднократно обращался именно к сведениям, заимствованным из «Сказания».

Такой двойственный подход к «Сказанию о Мамаевом побоище» был как бы завещан Карамзиным всем дальнейшим поколениям русских историков. И в новейшие времена многие свидетельства «Сказания» о Куликовской битве, о Дмитрии Донском и его современниках имеют широкое бытование в науке, обрели в ней все права гражданства.

Но одновременно с этим не умирает и традиция критического, а иногда и гиперкритического подхода к «Сказанию». Следуя такой традиции, в нём видят только «исторический роман», сочинённый много позднее событий, причём сочинённый якобы на основе «Летописной повести», которая, в свою очередь, также признаётся далеко не безупречным источником.

При таком подходе число достоверных источников по Куликовской битве сокращается до одного-единственного — до «Краткого рассказа» Троицкой летописи. Все другие «памятники Куликовского цикла» — «Летописная повесть», «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина» — выстраиваются по линии убывания достоверности.

Вот почему можно говорить, что о Куликовской битве мы знаем и много и одновременно мало. Если согласиться с тем, что «Краткий рассказ» окружён одними лишь апокрифами, то наши знания о ней поистине скудны. А если согласиться с тем, что наибольшая достоверность «Краткого рассказа» вытекает из наибольшей его хронологической близости к описываемым событиям, то здесь уже проявится скудость и искусственность нашего взгляда на вещи.

«Краткий рассказ» не был самым ранним свидетельством, ибо с самого начала Куликовская битва имела не только своё Писание, но и Предание. Всё о сражении и не могло быть сразу записано, но передавалось устно, накапливаясь, отстаиваясь в памяти. Нужно было отойти от события, чтобы увидеть целиком весь его громадный хребет. «Краткий рассказ» составлен исполнительным человеком, который, судя по всему, сам не видел сражения и которого поэтому не очень занимали отличие этого сражения от иных, неповторимость его обстоятельств.

Очевидцы и участники пока отмалчивались. Предание сдержанно гудело, выравнивало, уравнивало свои составные по отношению друг к другу. Молва полнилась, отзывалась восхищением среди новых поколений. Во время молебнов из десятилетия в десятилетие тысячекратно произносились вслух, зачитывались по синодикам имена погибших на поле

воинов; эти имена на самом почётном месте вписывались в семейные родословцы. «Сказание о Мамаевом побоище», вполне возможно, складывалось на основе Предания ещё на веку участников битвы. В нём есть пронзительные по достоверности картины, которые можно было записать лишь из первых уст. Так, надо было стоять на поле утром 8 сентября 1380 года, чтобы увидеть, что ордынская сила, освещённая солнцем сзади, была «мрачна потемнена», а русские полки, обращённые лицом на восток, «аки светилници издаличе зряхуся». И только участник битвы мог передать то ошеломляющее впечатление, какое произвёл на него и его соратников необычный строй генуэзских копьеносцев.

Словом, вопрос о достоверности или о недостоверности того или иного из «памятников Куликовского цикла» требует чрезвычайной осторожности. Взять хотя бы «Задонщину». Эта средневековая поэма, вдохновлённая поэтикой «Слова о полку Игореве», на каждом шагу обращается к возвышенному языку художественной символики, к намеренным преувеличениям. Перечисляя погибших, автор, например, вместо двух упоминает «12 (!) князей белозерских», или 70 мифологических «бояр резаньских» или 30, тоже мифологических, «новгородских посадников». Казалось бы, «Задонщина» — всё, что угодно, только не исторический источник. Но обнаруживается, что и она может помочь историку при проверке тех или иных сведений, известных по другим памятникам. Оказывается, что в «Задонщине» гораздо точнее, чем в «Летописной повести» и в «Сказании», названы имена убитых московских бояр и воевод. К тому же «Задонщина» — единственный памятник, в котором упомянуты и имена вдов боярских, плачущих по своим мужьям «у Москвы берега на забралах». Это вдова Микулы Вельяминова Мария Дмитриевна (родная сестра великой княгини Евдокии), вдова Тимофея Волуевича Феодосья, вдова Андрея Серкизовича Мария, вдова Михаила Ивановича, внука Акинфова, Аксинья. Драгоценнейшее свидетельство! Имена всего четырёх москвичек XIV века, четырёх вдов с их безутешным горем, а картина общерусской скорби сразу оживает, наполняется смыслом.

Итак, «Краткий рассказ» Троицкой летописи, «Летописная повесть», затем, с некоторыми оговорками, «Сказание» и, с большими оговорками, «Задонщина» — вот основные историко-литературные источники, при помощи которых нам придётся отвечать на множество вопросов, связанных с Куликовской битвой.

Конечно, имеется и немало дополнительных, вспомогательных источников, таких, например, как уже упоминавшийся Синодик XV столетия, или то же «Житие Сергия Радонежского», принадлежащее

Елифанию Премудрому, или древнейшие изображения битвы в миниатюрах и на иконах.

Но основных наперечёт. Это очень мало. И много, если учесть, что то же «Сказание» сохранилось более чем в ста рукописных списках и почти каждый из них имеет разночтения, хоть в каких-то деталях не совпадает с другими.

От этого прихотливого сочетания скудости и обилия, ограниченности и богатства источников и приходится сегодня отталкиваться всякому, кто хотел бы представить себе поход великого князя московского на Дон в конце лета — начале осени 1380 года, а затем утро, день и вечер 8 сентября на Куликовом поле.

II

Если, разбирая обстоятельства сражения, держаться хронологической последовательности, то необходимо будет вернуться к дням, когда в Москве только-только узнали о подготовке Мамае к походу на Русь. Потому что именно в те дни стали поступать к великому князю огорчительные сообщения об Олеге Рязанском. Итак:

Чью сторону держал Олег? Или, как теперь чаще говорят, был ли Олег предателем? У вопроса этого есть собственная история, обсуждается он и по сей день и иногда со страстностью, достойной лучшего применения.

Беспристрастное изучение древних источников показывает, однако, что об Олеге вряд ли есть смысл говорить как о Курбском XIV века и что вообще к вопросу о «предательстве» рязанского князя нужно относиться с той снисходительностью, пример которой подал нам Дмитрий Иванович Московский.

Ведь никто же не затевал разговоров о предательстве Рязанца два года назад, во время событий на Воже, когда он уклонился открыто выступить на стороне Москвы. Он и сейчас уклонялся, *не более того*. Это Дмитрию должно было стать ясно уже в Коломне, иначе бы он не решился оставить этот город, прикрывающий кратчайшую дорогу на Москву, и увести всё огромное войско к усть-Лопасне. Если Олег и пересылался гонцами с Мамаем и Ягайлом, то имеются все основания считать, что в то же самое время он пересылался и с Дмитрием. Рязанец явно старался остаться в стороне от происходящего. И чем труднее ему было сделать это, тем больше он хитрил с Мамаем, ублажал его обещаниями, которых не

собирался исполнять.

Словом, Олег хотел — в сложнейшем для его княжества положении — *держат* свою сторону, и это вполне устраивало Москву, большего она тогда не могла требовать от южного соседа.

Но, конечно, Дмитрий, проводя свои войска по окраинам Рязанского княжества, не мог, да и не имел права вполне доверять Олегу.

Слухи бродили всякие. Поговаривали, что Рязанец послал к Ягайлу своего доверенного боярина Елифана Кореева. (Это известие вошло в «Летописную повесть», автор которой вообще не скупится на крепкие выражения в адрес Олега: «Враже, изменниче Олже! лихоимства открывавши образ, а не веси, яко меч Божий острится на тя». В другом месте он клеймит «лукавого Олга, кровопивца хрестьянского, новаго Иуду предателя».)

В то же время «Летописная повесть» ничего не говорит о переписке Олега с Ягайлом и Мамаем. Известие об обмене «ярлыками» или «книгами» между ними мы находим только в «Сказании». Если подобный обмен и имел место в действительности, то достоверность самих «книг» равна нулю. Всё указывает на их позднее, чисто литературное происхождение. Для образца можно привести послание Олега к Ягайлу: «Радостнаа пишу тебе, великий княже Ягайле Литовьский! вем, яко издавна еси мыслил Московьского князя Дмитрея изгнати, а Москвою владети; ныне же приспе время нам, яко великий царь Мамай грядет на него со многими силами, приложимся убо к нему. Но аз убо послах своего посла к нему с великою честию и з дары многими; ещё же и ты поели своего посла такоже с честию и з дары и пиши к нему книги своя, елико сам веси паче мене». Ягайло не мог, конечно, «издавна» мечтать о Москве, поскольку всего третий год ходил в великих князьях литовских; наивным выглядит и наставление Олега Ягайлу о том, как вести переговоры с Мамаем.

Д. И. Иловайский в своей «Истории Рязанского княжества» считает, что именно Олег Иванович с помощью хитроумных переговоров с «союзниками» сорвал их встречу на Оке, назначенную Мамаем на 1 сентября. Не это ли и вынудило Ягайла раскаться в том, что доверился Олегу: «Никогда же убо бываше Литва от Резани учима, ныне же почто аз в безумие впадох»?

Между Дмитрием и Олегом существовало какое-то условие, пусть и не оговорённое перепиской. К этому выводу приходит и другой русский дореволюционный историк, М. О. Коялович. От Коломны русское войско пошло в обход Рязанского княжества потому, считает Коялович, что «установлено было безмолвное соглашение Димитрия с Олегом не мешать

друг другу; но в то же время Дмитрий ставил этим Олега под сильное влияние народа рязанской земли, не могшего не сочувствовать севернорусскому ополчению и не быть ему благодарным за своё спокойствие».

Вот это-то *народное мнение* и было для рязанского князя тем последним судом, приговоров которого он не смел преступить, какое бы давление ни испытывал со стороны своих «союзников». Земля его не хотела противостоять Руси. В то же время она не имела сил оказать поддержку великокняжескому ополчению. И Олег в данном случае был только послушным голосом своей малой и сирой земли.

Какими дорогами шли из Москвы? Составитель Никоновской летописи, повторяя один из списков «Сказания», рисует следующую картину начала похода: выступая из Кремля, Дмитрий Иванович «брата же своего князя Володимира Андреевича отпусти на Брашеву дорогою; а Белозерския князи Болвановскою дорогою с воинствы их; а сам князь великы поиде на Котел дорогою со многими силами».

Это «распределение дорог» между разделённым на три ополчением было потом принято на веру Татищевым и позже закрепилось в исторических трудах, перебрело в популярные брошюры, романы.

Болвановская дорога пролежала мимо нынешней Таганки, оставляла слева Андроников монастырь и уходила на старинное Косино, приближаясь затем к левому берегу Москвы-реки. Брашевская же дорога, названная так по великокняжескому волостному селу Брашева, начиналась в Заречье, и, чтобы попасть на неё, надо было у стен Кремля переправиться через Москву-реку. Перевезтись на другой берег надлежало и ратникам, шедшим по южной, Серпуховской дороге мимо подмосковного села Котлы.

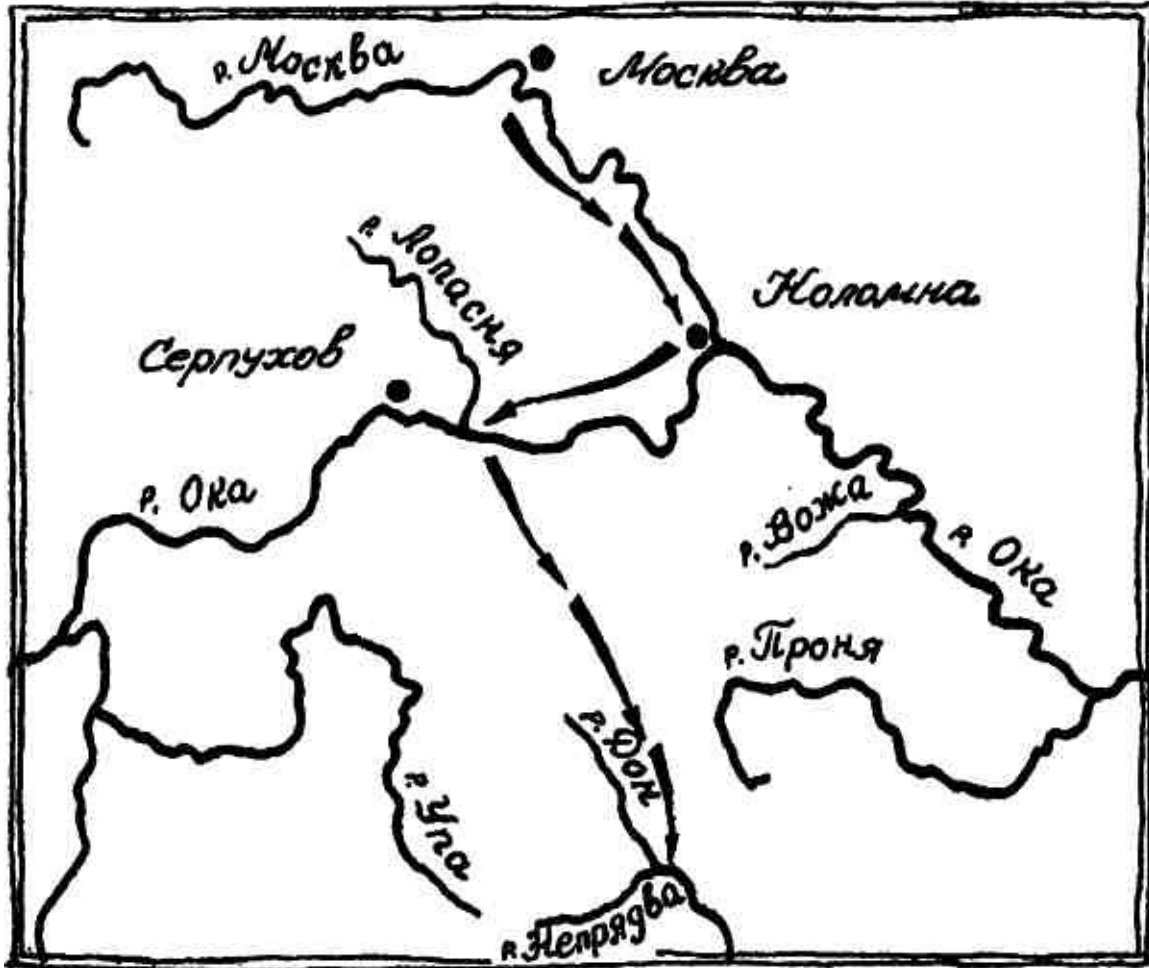
Однако, зная расположение этих трёх древних дорог, трудно поверить в то, что великий князь сам «поиде на Котел». Ведь в итоге он мог попасть лишь в Серпухов. Если бы, в свою очередь, Владимир Андреевич держал путь на Брашеву, то оказался бы наконец в Коломне. Но в Коломне Владимиру Андреевичу сейчас делать нечего, как и Дмитрию Ивановичу в Серпухове. Перед каждым из них стояла своя очень ответственная задача, которую они не могли никому передоверить. В преддверии битвы Владимир Серпуховской брал под надзор юго-западные границы Междуречья, боровско-серпуховской рубеж, к которому с запада приближался ныне Ягайло.

А Дмитрию Ивановичу, как известно, предстояло урять полки, ждать в Коломне новых донесений разведки и, исходя из них, внести поправки в дальнейшие сроки похода. Так что «ошибиться» дорогами они

могли лишь по воле одного из переписчиков «Сказания». Исправим же эту ошибку: Владимир Андреевич идёт на Котлы; его двоюродный брат, великий князь московский, — на Брашеву. Так подсказывают не только доводы здравого смысла, но и «преданья старины глубокой».

Среди святынь, особо почитаемых жителями древней Москвы, второе место после Троице-Сергиева монастыря прочно занимала ещё одна пригородная обитель — Николо-Угрешы. Уже в XV веке Угрешский монастырь имел собственное подворье в Московском Кремле — честь великая, редко кто её удостаивался. Русские цари в XVII веке многократно ездили в Угрешы на «государево богомолье». Расположенный на левом берегу реки Москвы, в нескольких верстах ниже Коломенского, монастырь со временем стал излюбленным местом паломничества, москвичи по праздникам приезжали сюда семьями, с детьми, на целый день. К 500-летию Куликовской битвы в Угрешах была торжественно открыта часовня-памятник, символикой своего убранства подтверждавшая, что начало истории Угреш восходит к... августу 1380 года.

Продвижение русского войска к Дону в 1380 году



Что же произошло здесь тогда?

Предание гласит: держа путь на Коломну, Дмитрий Иванович проезжал лесным урочищем и на одном из деревьев увидел образ святителя Николая. Необычное явление иконы, так много говорившее сердцу русского средневекового человека, ободрило князя, то был благой знак в самом начале тревожного пути; Дмитрий якобы воскликнул: «Сие место угрета мя!» И пообещал в случае победы основать на месте явленной иконы монастырь. Предание отразилось затем в иконописи, а в новейшие времена археологическое обследование подтвердило: в Угрешах уже в конце XIV века находился белокаменный храм.

Наконец, на то, что Дмитрий шёл из Москвы Брашевской дорогой, а не на Котлы, указывает и само «Сказание о Мамаевом побоище». В одном из его списков читаем буквально следующее: «Князь же великий Дмитрий Иванович разделись з братом своим з князем Владимиром Андреевичем, понеже невозможно бе воеству их вместится единою дорогою. Сам князь

великий поиде дорогою Засенною на Прашево, а брата своего отпустил дорогою на Котел».

Три сторо́жи. Хотя и «Краткий рассказ» и «Летописная повесть» ни слова не говорят о снаряжении Дмитрием Ивановичем трёх сторо́ж в верховья Дона, было бы легкомысленно на этом основании усомниться в достоверности того, что сообщает о действиях русской военной разведки «Сказание».

В предприятии, небывалом по охвату пространств и по числу участвующих в нём ратников, без разведки, чётко действующей, разветвлённой и прочно связанной со ставкой великого князя, обойтись было просто невозможно. Известно, что во времена первой Литовщины Москва ещё не располагала достаточно опытной и надёжной дальней сторо́жей. В течение десяти с лишним лет такая сторо́жа была при великокняжеском войске не просто создана, но и закалена буднями изнурительной, полной риска и смертельной опасности службы. Это был цвет московского воинства, содружество витязей наподобие былинной богатырской заставы. Разведчики, числясь личными слугами великого князя, были приписаны к его двору. В народе знали их по именам и прозвищам, лучшую часть жизни они проводили в седле, отвага была их невестой, ветер прирастал к их плечам подобием крыльев, большинство из них сложили голову, не повидав напоследок родных и близких.

«Сказание» почтительно называет их по именам. В первую сторо́жу, посланную к Тихой Сосне, как мы помним, ещё в июле, входили: Родион Ржевский, Андрей Волосатый, Василий Тупик. Это — по редакции «Сказания», использованной никоновским летописцем. Остальные «оружники» первой сторожи по именам тут не названы, о них говорится лишь вообще, как о «крепких мужественных» бойцах. Судя по всему, поименованные разведчики были начальниками десятков или даже более крупных подразделений.

Вторую сторо́жу, отправленную вскоре за первой, возглавили Климент Поленин, Иван Святослав, Григорий Судок. В третью, предводителем которой великий князь назначил уже известного нам Семёна Мелика, входили: Игнатий Крень, Фома Тынин, Петр Горский, Карп Александров, Пётр Чириков и иже с ними.

Но иные редакции «Сказания» дают множество разночтений в именах и прозвищах разведчиков по всем трём сторожам. В некоторых списках, например, мы вместо Андрея Волосатого встречаем «Якова Ондреева сына Волосатого» или «Якова Андреевича Усатова», и это не кто иной — подсказывает нам ещё один список, — как «Яков Ослебятев», то есть сын

Андрея Осляби. Какому же списку верить больше? Видимо, последнему, ведь об участии Якова Ослебятёва в битве говорит и автор «Задонщины» словами безутешного Осляби: «Брате Пересвет, уже вижу на тели твоём раны тяжкие, уже голове твоей летети на траву ковыл, а чаду моему Якову на ковыли зелене лежати на поли Куликове...»

Видоизменяются от редакции к редакции, от списка к списку и другие имена. Клементий Поленин становится Полевым, Григорий Судок — Судокowym, Игнатий Крень — Креняковым, Карп Александров — Олексиным, Пётр Чириков — Петрушей Чуракиным. В одном из списков Василий Тупик помещён не в первой, а в третьей стороже, имеются и другие перестановки. Всё это вроде бы вызывает недоверие, но в то же время сквозь зыбкую поверхность разночтений проглядывает некая твёрдая, устойчивая основа. Такова особенность Предания: растворяясь в людской молве, оно неизбежно утрачивает что-то от первоначального своего облика, кто-то недосказал, кто-то недослышал, кто-то, наконец, неправильно переписал, не сумев разобрать полустёршееся имя. Конечно, хорошо бы иметь дело с менее противоречивыми источниками. Но мы имеем дело с такими, какие нам достались. И спасибо «Сказанию» за то, что оно своим многоголосием отнимает у забвения хотя бы ещё несколько имён и судеб героев Куликовской битвы.

Известно, что последняя из сторож — вместе с остатками первых двух — участвовала и в самой битве, войдя в состав сторожевого полка. Того самого, из которого выехал на единоборство Пересвет и в котором при «первом суиме» стоял великий князь московский.

Три сторожи были чрезвычайными воинскими подразделениями. Но значит ли это, что в предыдущие месяцы дальние подступы к русским княжествам находились в безнадзорном состоянии?

Одна из редакций «Сказания» свидетельствует: нет, не находились. Кроме чрезвычайных сторож Дмитрий Иванович имел на юге в своём распоряжении ещё и долговременно действующую порубежную заставу, и она насчитывала не менее пятидесяти воинов.

В июле один из этих разведчиков, Андрей Попович сын Семёнов, прибыл в Москву и доложил великому князю, что накануне он попал в плен к ордынцам, что допрашивал его лично Мамай, называвший великого князя Митей: «Ведомо ль моему слуге, *Мите Московскому*, что аз иду к нему в гости — а моей силы 703 000?.. Может ли слуга мой всех нас употчевать?»

В этой, по определению Карамзина, «сказке о войне Мамаевой», конечно же, ощутимо влияние эпической поэзии. Оно и в явно завышенном числе ордынской «силы», и даже в имени разведчика, схожем с прозвищем

былинного богатыря Алёши Поповича. Но и тут под слоем литературного привнесения отчётливо просвечивает историческая подоплёка. Застава была, были жестокие порубежные стычки с разведкой врага, были гонцы, покрывавшие в полтора-два дня сотни вёрст, не щадившие лошадей и самих себя, были великие, поистине богатырские образцы преданности и отваги.

Гости — сурожане. О том, что в битве наряду с представителями иных сословий участвовали и русские купцы, хорошо известно. Средневековый московский купец, он же гость, вовсе не был похож на малоподвижного, животастого чаехлёба с одутловатым лицом, каким изображают у нас его типичного потомка времён Дикого и Кабанихи. Исследователь древнерусского купечества В. Е. Сыроячковский пишет: «Купцы были, несомненно, особым, лучшим элементом ополчения, и притом, весьма вероятно, конным». У него же читаем: «Опасность, ждавшая купца и в лесах Севера и во время пути по пустынной степи, заставляла купца вооружаться, сообщала ему внешний облик воина во время его торговых поездок и воспитывала боевые качества в тогдашнем госте. Таким образом, этот гость мог быть полезной единицей и в городском ополчении и быть пригоден и для подлинной военной службы. Умение владеть конём, мечом и луком сближало его с феодальной средой».

«Сказание о Мамаевом побоище» сообщает, что Дмитрий Иванович, отправляясь в поход, взял с собою десятерых гостей-сурожан. Судя по всему, купцов в ополчении было гораздо больше, но эти десять выделены особо именно потому, что они сурожане.

Наиболее видная часть московского купечества в XIV веке делилась на суконников, торговавших с Новгородом, а через Новгород — с Ганзой, и сурожан, торговавших на южных рынках, поддерживавших тесную связь с разноплеменным купечеством Сурожа (нынешнего Судака).

Именно это качество — осведомлённость сурожан «в Ордах и в Фрязах» — выделяло десятерых московских гостей, привлекало к ним особое внимание современников и потомков. В «Сказании» они названы, как и военные разведчики, по именам, и хотя в разных его редакциях и списках эти имена также слегка видоизменяются, и тут под тонким покровом разночтений залегает пласт достоверности. Вот как именует гостей-сурожан Никоновская летопись: «Василий Капица, Сидор Елферов, Константин Волк (фамилия здесь опущена и восстанавливается по «Сказанию»), Кузма Коверя, Семион Онтонов, Михайло Саларев, Тимофей Весяков, Дмитрий Черной, Дементей Саларев, Иван Ших».

Этот перечень неоднократно привлекал внимание историков,

признано, что фамилии нескольких купцов имеют греческое происхождение. Но это не значит, что Дмитрий Иванович взял с собой иностранцев, любопытствующих посмотреть на то, как две рати будут уничтожать друг друга. Это были именно русские, московские купцы, но хорошо знающие Восток и Средиземноморье.

Зачем же он их всё-таки взял? «Сказание» отвечает на этот вопрос как будто не очень внятно: «...видения ради: аще что Бог случит, имут поведати в дальних землях; и другая вещь: аще что прилучится, да сии сотворяют по обычаю их».

Получается, что именитые купцы были приглашены как свидетели, которые могли потом поведать о происшедшем, широко распространяя именно московскую, именно русскую оценку похода и битвы.

Но, кажется, Дмитрий Иванович имел в виду не только и даже не столько это. Академик А. А. Шахматов предложил более прозорливое объяснение: «Великий князь взял с собою московских гостей-сурожан, быть может, для возможных дипломатических поручений».

Великий князь знал уже, что в армаде Мамаёва множество иноземцев-наёмников и что ещё не исключена возможность каких-то переговоров, во время которых сообразительность, счётка бывалых купцов, наконец, их познания в разных языках окажутся крайне необходимы.

Купцы дошли до самого Куликова поля и, надо полагать, стояли на нём с оружием в руках. Тому, что это были живые люди во плоти, а не плод фантазии средневекового «романиста», можно найти подтверждение в документах XV века, по которым известно, что в Москве проживали потомки некоторых наших сурожан — купцы Иван Весяков, Дмитрий Саларев, Иван Шихов. Отдалённые потомки Василия Капицы известны и в наше время.

Сроки похода на Дон. Разногласия источников относительно сроков похода особенно бросаются в глаза. Так, «Летописная повесть» даёт всего три хронологические вехи: 20 августа — день выступления из Коломны; «за неделю до Семеня дни», то есть 25 августа — переправа войск через Оку; «за два дни до Рождества святых Богородица», то есть 5 сентября русская рать вышла к верховьям Дона.

Неизвестным остаётся день начала похода, хотя его как будто несложно вычислить. Если от Коломны до усть-Лопасни добирались пять дней, то уж никак не меньше должны были идти и от Москвы до Коломны.

Но мы помним, что 18 августа, «на Флора и Лавра» (это число называют все списки «Сказания»), Дмитрий провёл в монастыре у Сергия Радонежского и, следовательно, мог вернуться в Москву лишь на

следующий день, 19 августа, причём не в первой его половине; скакать-то надо было около 70 вёрст.

Вообще «Сказание» и вторящий ему Никоновский свод дают совсем иной счёт событий, нежели «Летописная повесть». Он отчасти приводился в предыдущей главе, но стоит напомнить его:

31 июля — на этот день великий князь московский назначил первоначальный срок сбора в Коломне;

15 августа — «всем людям быти на Коломну», по второму, дополнительному, приказу Дмитрия Ивановича, также не осуществлённому;

18 августа — встреча с игуменом Сергием;

28 августа — «и приде князь велики на Коломну в субботу».

Последней дате доверять никак нельзя. Во-первых, потому, что 28-е названо субботой, а в 1380 году на это число на самом деле приходился четверг. Составитель Никоновской летописи, взявший число без проверки из «Сказания», кажется, и сам не вполне был уверен в его истинности и потому «постеснялся» назвать день выхода ополчения из Москвы, который, по «Сказанию», приходился на 27 августа (!), «на память святого Пимена Отходника». За одни сутки конно-пешее войско, обременённое обозами, никак не могло покрыть расстояние от Москвы до Коломны, составляющее 115 километров. По меньшей мере, для этого понадобилось бы двое, двое с половиной суток. Столь позднюю дату прихода в Коломну нельзя принять и потому, что, как мы помним, Дмитрий знал о намерениях Мамаю встретиться с Ягайлом и Олегом у Оки 1 сентября и потому прилагал все усилия, чтобы оказаться на месте предполагаемой встречи «союзников» на несколько дней раньше.

Именно поэтому наиболее достоверной вехой, помогающей преодолеть путаницу в промежуточных сроках похода, становится для нас указание «Летописной повести» о том, что русские полки «начаша возитися за Оку за неделю до Семеня дни», то есть 25 августа.

Итак, если исходить из того, что

18 августа Дмитрий Иванович провёл на Маковце у игумена Сергия, то в Москву он возвратился лишь

19 августа, и поход мог начаться не раньше утра.

20 августа. На третий день,

22 августа, войска прибыли в Коломну. Ранним утром

23 августа состоялось уряжение воевод на Девичьем поле, после чего сразу же вышли в направлении усть-Лопасни и на третий день,

25 августа, достигли места переправы.

26 августа Дмитрий перевозился через Оку со своим двором.

Далее сроки, названные в «Летописной повести» и в «Сказании», совпадают.

Состав и численность русского войска. По этому вопросу и в источниках, и в позднейшей литературе также накопилось немало разногласящих друг с другом данных. Установить истину тут особенно сложно. Известно, что по разным причинам — уважительным и неуважительным — далеко не все русские княжества и города участвовали в битве. Известно и другое: по прошествии десятилетий и даже веков память о «неучастии» не переставала беспокоить потомков тех, кто почему-либо уклонился от участия в походе и битве. И наоборот, причастность к великому деянию становилась предметом родовой, городской и областнической гордости. Многие родословные книги русских служилых людей выводили своих родоначальников именно из числа витязей Куликова поля; можно сказать, что целая дубрава генеалогических древ выросла из его почвы.

Исследователь древнерусской генеалогической письменности академик С. Б. Веселовский обнаружил сомнительность некоторых из этих родословных; чаемое в них выдавалось за действительное. Что ж, понятно и извинительно это желание «прибавить» тех или иных людей, а то и целые княжеские и городские полки к числу воинов, защищавших честь своей земли 8 сентября 1380 года. В. Н. Татищев в «Истории Российской», невольно поддавшись этому соблазну, ввёл в ряды русских ратников суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича и целый новгородский полк.

Но в старинной песне не зря, кажется, пелось:

В великом Новгороде
Стоят мужи новгородския,
У святых Софеи на площади,
Бьют вече великое,
Говорят мужи таково слово:
Уж нам не поспеть на пособь
К великому князю Димитрию...

Известно, что новгородские летописцы также ни слова не говорят об участии в битве своих земляков. Но они же сообщают сведения, проливающие свет на причину неявки новгородской рати. К весне 1380

года Дмитрий Иванович должен был уже знать огорчительную весть об очередном политическом своеволии волховского правительства: Ягайло, который пообещал Новгороду защиту, посадил своих наместников в новгородские порубежные пригороды. В марте прибыло из Новгорода в Москву большое посольство — мириться с обиженным великим князем. Но и от своих обязательств перед Литвой вечевики не спешили отказаться. Тогда, в марте, кто же знал, как развернутся события к началу осени? А знать бы, так и Москве стоило тогда с послами говорить пожестче.

Что же касается князя Дмитрия Константиновича, то, как уже упоминалось, один из полков, суздальский, он всё же прислал в подмогу зятю. Не исключена возможность, что по взаимной договорённости Дмитрию-Фоме поручалось с остальными его воинами назирать нижегородский отрезок окского рубежа на случай, если бы Мамай вздумал нанести отвлекающий удар по восточным пределам Междуречья.

Но если уговора не было и Константиновичи с сыновьями просто-напросто не захотели в полную силу поддержать московского родича? Увы, и такого допущения нельзя исключать полностью. Не назревала ли подспудно уже теперь та остуда в отношениях между Москвой и Нижним, которая выявится немного позже, во время нашествия Тохтамыша?

В ослепительном зареве Куликовской победы многие грустные политические обстоятельства, предшествовавшие и сопутствовавшие ей, стали для потомков почти неразличимы.

Тем более заслуживает внимания упорство наших историков, которые, начиная с Карамзина, настойчиво отказывались от «украшенных» представлений о битве и много раз трезво перепроверяли состав её подлинных участников, ставя под сомнение явно легендарные имена и полки. Так, в числе вымышленных участников сражения оказались князья Стефан Новосельский, Дмитрий Ростовский, Лев Курбский, Андрей Кемский, Глеб Каргопольский и Цыдонский, существование которых не подтверждается ни летописями, ни другими документами той эпохи.

В. С. Борзаковский в своей «Истории Тверского княжества» останавливается на сообщении Никоновской летописи о том, что в битве якобы участвовали князья Василий Михайлович Кашинский и Иван Всеволодович Холмский, племянники Михаила Александровича Тверского. Участия «Кашинского и Холмского полков нельзя совершенно отвергать, — осторожно пишет историк, — хотя нельзя на нём и категорически настаивать». Говоря далее о поведении самого великого князя тверского, Борзаковский объясняет отсутствие Михаила Александровича на Куликовом поле его пожилым возрастом (48 лет). Вряд ли этот довод

убедителен — на зов Москвы откликнулись князья и постарше. Михаилу же Тверскому и после 1380 года энергии было — мы ещё увидим — не занимать. Но, как и прежде, он искал ей применения на пути, ведущем в тупик.

Свою собственную историю имеет и вопрос о численности русского войска на Куликовом поле. «Краткий рассказ» и «Летописная повесть» не называют ни количества участников сражения, ни числа погибших воинов. Зато «Сказание» в различных его редакциях и списках даёт целый веер цифровых разночтений. Из этого множества составитель Никоновского свода выбрал число участников крайне преувеличенное — 400 тысяч, причём уцелело якобы лишь 40 тысяч; «Задонщина» говорит о 250 тысячах русских воинов, из которых осталось в живых будто бы 50 тысяч человек. Но даже и по поводу этих, куда более скромных чисел и соотношений Карамзин не удержался, чтобы не воскликнуть: «Какая нелепость!»

С. М. Соловьёв о цифровых данных Никоновского летописца выразился в том смысле, что «историк не имеет обязанности принимать буквально последнего показания»; но выставленное здесь отношение живых к убитым показалось ему заслуживающим внимания. Выходит, что из каждых десяти наших соотечественников на поле Куликовом уцелел лишь один? Странно, что маститый историк позволил себе довериться такому чисто эпическому соотношению, предложенному «Сказанием».

Русская рать у Коломны, по мнению Соловьёва, насчитывала 150 тысяч человек. Но мы помним, что у Лопасни и позже, в Заочье, она ещё увеличилась. Карамзин, а вслед за ним дореволюционный военный историк А. Нечволодов определяли величину русского ополчения при переправе через Оку в 200 тысяч человек, а ордынцев на поле боя якобы стояло свыше 300 тысяч.

Жаль, что никто из исследователей не попытался сопоставить цифровые данные «памятников Куликовского цикла» с описаниями других сражений той же эпохи, со всем соответствующим материалом древнерусских летописей и воинских повестей. Тогда бы выявилась одна в некотором роде загадочная особенность средневековой нашей письменности: она вообще почему-то очень скупа и немногословна при подсчёте участников сражений, числа погибших. Сочинения, посвящённые Куликовской битве, на этом фоне выглядят едва ли не исключением. Летописцы упорно молчат о том, сколько было участников с той и с другой стороны, допустим, в битве на Воже или в событиях при реке Пьяне. Неизвестно, с каким числом ратников дважды приходил на Москву Ольгерд. Неизвестна численность русского ополчения при походе на Булгар

в 1377 году. Если брать более ранние времена, то мы обнаруживаем, что не поддаётся подсчёту состав дружин, которые выводил против шведов и немцев Александр Невский. Молчат летописцы о численном составе дружин другого знаменитого полководца XIII века — Даниила Галицкого, воевавшего беспрерывно. Владимир Мономах в «Поучении сыновьям» с удовольствием перечисляет свои воинские походы и рати, но также молчит о том, с какими именно силами противника приходилось сталкиваться и сколько воинов бывало у него в разных походах под рукой. А сколько было конных и пеших в «полку Игореве» во время злополучного похода против половцев? А Святослав? Какое число ратных вёл он на завоевание Хазарского каганата?

Неизвестно даже, что собой представляли такие древнерусские воинские единицы, как дружина, рать, полк. Похоже, что, в отличие от современных подразделений и частей, воинские единицы Древней Руси не знали постоянного, раз и навсегда определённого числа составляющих их бойцов. Один город мог выставить больше воинов, другой меньше, но та и другая воинская часть именовалась полком.

Там же, где цифры всё-таки мелькают, они могут удивить своей скромностью. Псковский летописец говорит, что князь Довмонт однажды отправился против литовцев с дружиной всего в 270 копий, а в решающей схватке у него было только девяносто воинов — против семисот у противника. В другой раз тот же Довмонт разбил немцев на реке Мироковне «с шестьюдесятью муж псковичь». Малочисленность этих дружин неудивительна, если держать в уме, что русские земли в те времена были заселены совсем негусто. Те же псковичи при чрезвычайной мобилизации отбирали «с четырёх сох (крестьянских хозяйств) конь и человек». А при более благоприятных условиях на войну шёл «с десяти сох человек конны».

О битве при Калке известно, что экспедиционный корпус полководцев Чингисхана Судебея и Джебе, с которым пришлось столкнуться русско-половецкой рати, насчитывал около 30 тысяч человек. Но и Русская земля тогда ещё не была бедна воинами. Между Калкой и Непрядвой пролегли времена нашествия, русского бесправия, отчаяния. Но на этом же чёрном поле всколосились под конец надежды, явились новые богатырские силы. Не этим ли новым самочувствием нужно объяснить былинные преувеличения при подсчёте своей и вражеской рати, которыми полны «памятники Куликовского цикла»? Надо признать, что преувеличения эти приняло на веру большинство историков XIX века.

В советской военно-исторической науке преобладал более умеренный

взгляд на соотношение участвовавших и уцелевших.

А. А. Строков в «Истории военного искусства» пишет, что против 130–150 тысяч татар Дмитрий Донской смог выставить около 100 тысяч ратников, из которых 50 тысяч пало во время сражения или скончалось позже от ран.

Другой военный историк, Е. А. Разин, в нарушение традиции умозрительного взгляда на предмет, предлагает несколько эмпирических способов исчисления величины русской рати. Первый из таких способов, основанный на приблизительном определении плотности населения «в великом Московском княжестве», позволяет ему сделать следующий вывод: «При высоком мобилизационном напряжении в 10 проц. могло быть собрано 25–30 тысяч воинов». Примерно столько же могли дать и остальные княжества, из чего исследователь заключает, что «общая численность русской рати, вероятно, не превышала 50–60 тысяч человек». К сожалению, не очень ясно, насколько можно полагаться на точность при определении плотности населения. Самое первое звено цепочки счёта выглядит недостаточно надёжным.

Остроумны, хотя также не во всём доказательны, другие способы замеров: историк прикидывает, сколько тысяч человек могло пройти по пяти (!) мостам донской переправы за 10–12 часов, и опять получается около 50–60 тысяч. (Но ведь по мостам — число их по летописям неизвестно — переправлялись пешцы, конница шла вброд.) То же число выводится из сложного расчёта плотности шеренг и их количества в глубину для пехоты и конницы, при условии размещения всей рати на фронте в 4–5 километров.

К летописному свидетельству о том, что русских осталось в живых 40 тысяч человек, Разин относится с доверием. Число же убитых, считает он, «возможно, немногим превышало 20 тыс., а с умершими от ран доходило до 25–30 тыс. человек».

Такое соотношение живых и погибших выглядит, конечно, более убедительно, чем легендарно-эпическое: один живой к десяти участникам.

Историк А. Н. Кирпичников, автор серьёзного исследования о ратных событиях 8 сентября 1380 года, приходит, пожалуй, к самым осторожным выводам относительно величины наших потерь на поле Куликовом. По его мнению, погибло около 800 военачальников и 5–8 тысяч рядовых воинов.

Но, к сожалению, в современную популярную литературу о Мамаевом побоище порой проникают цифры и подробности, не основанные ни на каких исторических источниках. Так, называют, ничем не подтверждая свои «открытия», численность отдельных русских полков, отдельных

полков Мамая, даже количество телег в ордынском обозе (!).

К подвигу куликовских героев с почтительным и пристальным вниманием обращаются и ещё будут обращаться миллионы наших соотечественников. Обидно, если кто-то из них примет на веру подобную сорную цифирь.

Образец домисливания иного порядка: Ф. Ф. Нестеров в талантливой историко-публицистической книге «Связь времён» свою концепцию Куликовской битвы строит на противопоставлении двух сил, двух ратей: «слабейшая по всем статьям сторона нанесла сокрушительное поражение сильнейшей»; русское народное ополчение, «лапотная рать», состоящая на три пятых из пехоты, слабо обученная, одолевает силой духа прекрасно вымуштрованное войско Мамая, «которое почти полностью состояло из конницы». Такая картина также слабо увязана с историческими источниками. Ордынцы — свидетельствуют летописи — располагали крупным соединением наёмной генуэзской пехоты. Заранее узнав об этом, великий князь московский во время похода к Дону особо позаботился, чтобы укрепить своё ополчение именно «пешцами», которых у него был сильный недобор. Эта картина более сложна и реалистична. Иначе получается, что Дмитрий кинул в жерло битвы чуть не всё мужское население Руси (вплоть до тринадцатилетних подростков?!), а в частности «хладнокровно и обдуманно обрёк его (большой полк. — Ю. Л.) на почти полное истребление». Да, на поле у Непрядвы торжествовала жертвенная любовь, но то не была жертвенность смертников.

Мы никогда уже не узнаем точного числа русской рати, точного числа сложивших головы свои. Но с уверенностью можно сказать: никогда ещё до того дня на Руси не погибало за один раз столько воинов — мужей и юношей, князей и крестьян, пеших и конных. Цифры не в состоянии выразить того, что значила эта жертва для нашей земли.

Цвет стягов и хоругвей. Перед началом битвы «Дмитрий, — как пишет Карамзин, — простирая руки к златому образу Спасителя, сиявшему вдали на чёрном знамени великокняжеском, молился...». Как ни скептически настроен историк по отношению к «Сказанию», но этот сюжет он заимствует прямо оттуда: «Приехав государь к своему черному знамени и сседе с коня своего, припаде на колену свою со слезами молешеся...»

Карамзинское описание знамени оказалось настолько авторитетным, что с тех пор и в научной, и в художественной литературе, а также в изобразительном искусстве стало почти обязательным, говоря о русских знамёнах, стягах и хоругвях на Куликовом поле, подчёркивать и выделять

эту их мрачную черноту.

Лишь изредка кто-нибудь засомневается, и тогда читаем нечто вроде поправки, объясняющей всё «ошибкой зрения»: «Тёмно-красный бархат великокняжеского стяга горел багрецом в лучах заходящего солнца, а в тени казался совсем чёрным». Но в большинстве описаний чёрный цвет всё же преобладает и иногда даже с траурным оттенком: «...пусть чёрное знамя Москвы, осеняющее их сейчас своим траурным полотнищем...» и т. д.

Но русское войско всё-таки не было войском смертников, оно шло на битву без всяких траурных намерений (само это новоевропейское понятие «траур» в сознании отсутствовало). Оно шло, чтобы победить и выжить, хотя и с предчувствием того, что это дастся ценой великих жертв. И хоругви, и стяги, под которыми шло наше войско, были иных цветов.

Иногда во всём повинна бывает маленькая грамматическая ошибка, скорее, описка. Вспомним, как князь Фёдор Чермный из-за маленькой оплошности летописца превратился через века в Чёрного. Похоже, так же точно произошло и с цветом великокняжеского знамени в «Сказании»: чёрный цвет появился вместо *чермного*, то есть червлёного, червонного, киноварного, алого. Ещё ведь в «Слове о полку Игореве» читаем: «Чрълен стяг, бела хорюговь, чрълена чолка». Или там же: «Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша».

Общеизвестно, как много значил красный, алый цвет в мировоззрении древнерусского человека. *Красный* означало не только красивый, прекрасный: красный молодец, Красная горка, Иван Красный... Это был цвет подвига и жертвы, цвет победы и праздника, цвет солнечного света, одолевающего тьму. На иконах в красном, багряном, порфирном писали обычно воинов-мучеников, великих князей, государей. Так, в киноварных одеждах мы видим Димитрия Солунского, а у Георгия Победоносца, поражающего змия, всегда развевается за спиной алый плащ и на древке его копьа реет алый стяжец. Вообще в живописи цвет понимался строго символически и чёрный допускался лишь при изображении ада, нечистой силы; даже одеяния монахов-черноризцев писались не чёрным, а коричневым. Киноварью написаны все стяги русских ратей на знаменитой иконе XVI века «Церковь воинствующая», изображающей Казанский поход Ивана Грозного.

Полковые стяги и хоругви вышивались женщинами. Благородной красотой художественного шитья знамёна напоминали воинам о милых семьях. Звонкой аlostью своих полотнищ возбуждали воинский дух, вселяли надежду на победу, звали к подвигу.

Известно, что когда князь Владимир Андреевич вернулся из погони на

поле сражения, то прежде всего он водрузил стяг на холме, где располагалась во время битвы ставка Мамаю. Здесь праздновали победу, и с тех пор вот уже шестьсот лет холм этот зовётся в народе Красным.

Состав войска Мамаю. Из древнейших источников наиболее полные сведения о национальном составе ордынской армады даёт «Летописная повесть», в которой читаем, что Мамай шёл «со всею силою Тотарскою и Половецкою, и еще к тому рати понаимовав, Бессермены, и Армены, и Фрязи, Черкасы, и Ясы, и Буртасы».

В этом списке особого внимания заслуживает перечисление наёмных войск. Когда-то во времена Батыя монголо-татарские племена составляли в армии завоевателей если не подавляющее большинство, то, по крайней мере, её прочный костяк. Но с тех пор очень многое переменилось. В войске Мамаю сравнительно чистопородной оставалась только руководящая верхушка. Ступенью ниже преобладало гибридное образование с сильной половецкой примесью. Видимо, половцы, или кыпчаки, составляли большинство в этом многоязыковом воинстве, поскольку их кочевья занимали срединные степные пространства Мамаевой Орды.

Наёмники вербовались на окраинах, отличавшихся чрезвычайной этнической пестротой. В частности, под летописными Фрягами имелись в виду генуэзцы, которые обитали в приморских городах и посёлках Крыма и у которых главным городом была здесь Кафа (Феодосия). Но наивно полагать, что закупленная Мамаем генуэзская пехота состояла из коренных жителей Италии. И сама Генуя в средние века была городом-космополитом, и её морские «пригороды», в том числе Кафа, носили на себе ту же вавилонскую печать. Генуэзская пехота состояла из разноплемённых любителей приключений, бывших рабов и беглых преступников, единодушных лишь в стремлении обогатиться.

В Мамаевой рати говорили на многих языках, не понимая толком друг друга, и поклонялись многим богам: тут были язычники-шаманисты и мусульмане, несториане и католики, иудаисты и караимы. Казалось бы, это войско, не руководимое единой и высокой идеей, не знающее общей родины и общего языка, было неуправляемо и могло распасться в любую минуту. Но нет, его жёстко скрепляла механическая скрепа обещанной наживы. Оно было хорошо накормлено и блестяще вымуштровано, и это сразу разглядели русские воины перед началом битвы, когда им навстречу сдвинулись ошетиленные ряды копыеносцев. Это были опытные убийцы, ничего иного не умевшие делать, сеятели смерти и пожинатели наживы — страшная в своей безжалостности и механической согласованности сила.

В одном из списков «Сказания» Мамай, бахвалясь своим

могуществом, говорит: «А силы со мною 12 орд и 3 царства, а князей со мною 33, опричь Польских» (имеются в виду литовские, то есть Ягайло с братьями, которых Мамай наперёд зачислил в свою армаду). Дело опять же не в цифрах, имеющих тут некоторый оттенок сказочности, а в том очевидном факте, что великий временщик подготавливал самое настоящее космополитическое вторжение в Русскую землю.

Сражение 8 сентября 1380 года не было битвой народов. Это была битва сынов русского народа с тем космополитическим подневольным или наёмным отребьем, которое не имело права выступать от имени ни одного из народов — соседей Руси.

Мамаев воинский Вавилон развалился на Куликовом поле на части, как развалилась вскоре вся Мамаева Орда, и никто уже не смог эти осколки собрать и склеить.

Переодевание Дмитрия. «Это было сделано по следующей причине, — пишет о переодевании великого князя московского в одежду простого ратника академик М. Н. Тихомиров. — Татары должны были неизбежно ударить на великокняжеский полк, и если бы великий князь был убит, то победа для татар оказалась бы обеспеченной».

Современный учёный, говоря так, пусть и косвенно, но всё же присоединяется к довольно прочно бытующему мнению: Дмитрий-де переоделся перед боем, чтобы не быть замеченным и убитым. У мнения этого также есть своя история, можно вспомнить Н. И. Костомарова, который отказывал Дмитрию Донскому в личной храбрости. Но можно заглянуть и в ещё более давние времена. Сравнивая различные редакции «Сказания», С. К. Шамбинаго пришёл к выводу, что заметное принижение роли великого князя московского в Куликовской битве восходит, как на первый взгляд ни странно, к самой ранней из редакций, составленной в кругу митрополита Киприана. Именно из этой редакции — учёный предложил назвать её Киприановской — перебрела в последующие историческая неточность: утверждение, что в 1380 году константинопольский претендент на митрополию находился в Москве и лично благословлял Дмитрия на битву.

Выше говорилось о напряжённых отношениях великого князя с Киприаном, стремившимся ещё при живом Алексее занять митрополичью кафедру. Летом 1380 года Киприана в Москве действительно не было. Он появится здесь позже, хотя и ненадолго, и об усилении личной неприязни Дмитрия Ивановича к новому митрополиту будет сказано особо.

Сейчас важно иметь в виду другое: приглушённый отголосок их отношений, безусловно, отразился в Киприановской редакции. Шамбинаго

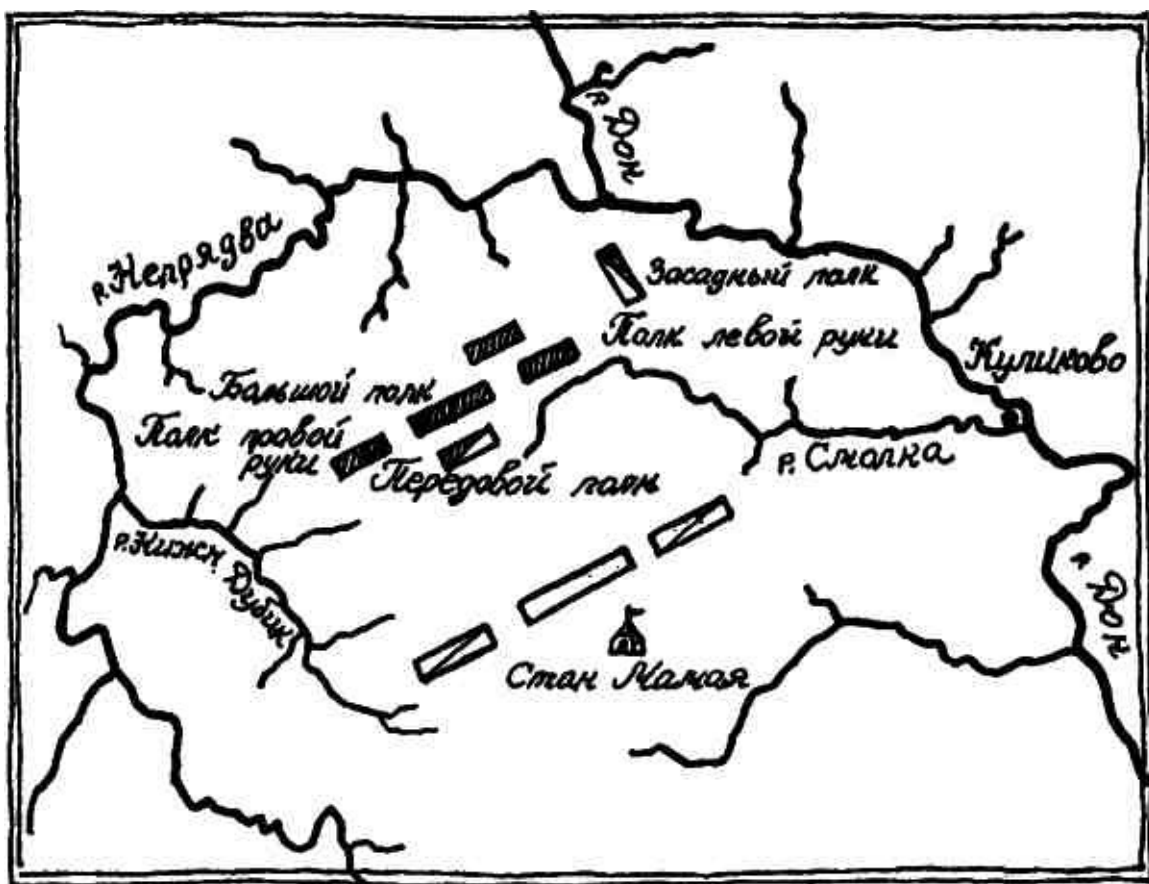
об этом пишет так: «Панегирик Киприану доведён до крайней степени выражения. Великий князь Дмитрий в „Сказании“ изображается смиренным „сыном“, не имеющим личной инициативы и следующим во всех трудных минутах советам „отца своего“ Киприана».

Это до похода. Что же касается описания самой битвы, то и здесь, по мнению исследователя, сохраняется тот же тон. «Божественная правда говорит устами Киприана: победа рисуется уже предопределённой, и, собственно говоря, прославление личных качеств Дмитрия и Владимира стоит на втором плане».

Словом, эту весьма заметную пристрастность составителя киприановской редакции учёный советует постоянно иметь в виду, когда речь в тексте заходит о Дмитрии.

Но были ведь и другие редакции и списки? И хотя все они так или иначе повторили легенду о благословляющем Киприане, поведению великого князя московского перед битвой приданы здесь черты жертвенно-героические. Право же, для того, чтобы уцелеть во время сражения, Дмитрию совсем не нужно было переодеваться. Ему достаточно было послушаться советов воевод и отъехать из великого полка назад.

Настаивая на своём желании вступить в бой в числе первых, Дмитрий ссылается на пример древнего мученика воеводы Арефы. Тот, будучи вместе со своими воинами пленён «царем амиритским и Дунасом жидовином», захотел первым принять мученическую смерть и объяснил своё желание так: «Не аз ли у земаго царя на пиру преж вас чару приимах, а ныне також хочу преж вас Христову чашу пити и преж вас умрети».



Расположение русских и татарских войск на Куликовом поле

Но значит ли это, что Дмитрий ощущал себя смертником, намеренно или обречённо подставляющим голову под вражий меч? Так же, как и все, он хотел разбить врага, а не быть поражённым. Не забудем, что он был молод; в свои неполные тридцать лет он горел неукротимым желанием ратоборствовать с первых же минут сечи.

«Если Дмитрий Иванович в данном случае заслуживает лёгкого упрёка, — писал по этому поводу Д. И. Иловайский, — то именно за его излишнюю отвагу и увлечение воинским пылом».

Но переодевание Дмитрия перед боем — это ещё и великий образец смирения. Первый захотел уравниаться с последними, стать как все, чтобы на всех поровну разделилась честь победителей или слава мучеников. Дмитрий поразил окружающих именно предельной простотой своего поступка. Истории войн и биографии полководцев, кажется, никогда не содержали ничего подобного этому движению его души. Произносилось множество прекрасных слов, и производилось множество впечатляющих жестов, было множество образцов безудержной, неистовой отваги великих людей. Но никто не оказался смел настолько, чтобы, отрезав все пути к

личной славе, уйти в безымянность, раствориться, как соль в земле, в живом теле сражающегося народа, причём сделать это без всякой надежды на возможность уцелеть, вернуться из этой безымянности в свой обычный и привычный облик. Раненого Дмитрия могли и не найти на поле, а найдя, не узнать.

Вот почему о переодевании великого князя перед боем можно, пожалуй, без преувеличения говорить как о самом значительном и сокровенном духовном поступке во всей его жизни.

Главные вехи битвы. Ещё Иловайский заметил, что древнейшие источники по Куликовской битве о самом её течении сообщают обидно мало. За исключением начала сечи, «известны только два момента, — пишет он, — поражение русского войска и победоносный удар засадного полка. По тем же источникам битва длилась не менее трёх часов. Сколько же должно было совершиться разных оборотов дела, различных движений и усилий с той и другой стороны в течение этих трёх часов! Едва ли дело было так просто, что вся масса Русской рати одновременно обратилась в бегство, а затем явился один засадный полк и мгновенно перевернул всё в обратную сторону?»

Иловайский предлагает обратить внимание на ещё один источник, сравнительно поздний и вторичный, но, по его мнению, чрезвычайно плодотворный для выяснения подробностей самой битвы. Источник этот не что иное, как татищевская «История Российская», её страницы, касающиеся событий 8 сентября 1380 года.

Хорошо известно, что Татищев, работая над пятым томом своей «Истории», пользовался в основном данными Никоновского свода, лишь кое-где дополняя их незначительными вставками из иных летописей (некоторые из его источников не сохранились до наших дней).

Описание хода самой битвы у Татищева, видимо, как раз и дополнено одним из таких неизвестных сегодня источников. Прежде всего обращает на себя внимание действие русского полка правой руки, о котором Никоновская летопись вообще ничего не говорит. Судя по всему, здесь ордынцы не только не имели к середине битвы никакого перевеса, но и заметно уступали русским. Осмотрительный и опасливый Андрей Ольгердович даже вынужден сдерживать пыл своих ратников, поскольку опасается оторваться от великого полка, ибо «вся сила татарская паде на средину и лежи, хотяху разорвати».

После того как засадный полк устремляется наконец из дубравы, битва приобретает ещё более ожесточённый оборот. Именно Татищев говорит о действиях запасного полка, возглавляемого Дмитрием Брянским, воины

которого закрыли брешь между большим полком и полком левой руки. Но «смятия» возрастает, причём до такой степени, что воины «не можаху разбирати своих, татаре бо въезжаху в русские полки, а русские в полки татарские».

Только теперь Мамай пускает в бой запасные силы. Однако боевое счастье неумолимо клонится в русскую сторону. Последнее событие сражения, предшествующее всеобщему бегству Мамаевых ратей, также известно только по Татищеву. Это бой у ордынских станов, то есть у походного табора, состоящего из телег и кибиток. Мамай, покидая поле боя, приказывает выстроить у обозов заслон, чтобы задержать здесь русскую погоню. Но «и ту вскоре сломиши и вся таборы их взявше, богатства их разнесоша, и гнаша до реки Мечи; ту множество татар истопоша».

О реке Мече следует сказать особо. От Куликова поля до притока Дона Красивой Мечи около 40 километров. Нет ничего неправдоподобного в том, что ордынцев преследовали так далеко, хотя погоня была изнурительна для конницы, даже сравнительно недавно вступившей в бой. Преследование могло длиться до самой темноты, то есть часа два или три. Но князь Владимир Андреевич не мог возглавлять погоню до самой Мечи, если хотел вернуться на поле ещё засветло. Честь окончательного разгрома бегущего в панике врага досталась другим князьям и воеводам.

Впрочем, на Куликовом поле и негоже как-то было мерить, чья честь и чья заслуга больше. Разве скажешь, что именно в большей степени решило судьбу боя: выезд Пересвета на поединок или бросок засадного полка, неколебимое стояние русской середины или своевременные действия запасной рати, вдохновляющее присутствие Дмитрия Донского в первых рядах или мудрая выдержка Дмитрия Боброка? Разве не помог победить сам выбор места сражения, оказавшегося явно неудобным для ордынцев с их тактикой фланговых ударов?

Великий князь не имел возможности руководить действиями своих полков от начала до конца битвы. И никто другой за него не имел возможности делать это. Тем более поражает согласованность в поведении отдельных русских полков и отрядов. И в самом жару битвы не забывали следить за соседями, умело сочетая самостоятельность действий со взаимовыручкой. В том, как сражались русские, не было механической заученности приёмов и манёвров. На поле Куликовом наши предки вдохновенно *творили* победу.

Пересвет и Ослябя. Наконец, надо сказать и о *первоначалнике* победы, как назвал его Дмитрий Донской, выделив из всех. В числе павших

Александра Пересвета упоминает уже «Краткий рассказ» Троицкой летописи, но дело не в фактах, потому что в национальной памяти воин-инок стал великим образцом героизма, и это достоверность высшего порядка, не нуждающаяся в ссылках на источники. Пересвет равно принадлежит и Истории, и Преданию, как бы мало мы ни знали о его жизни до 8 сентября 1380 года.

А знаем мы, к сожалению, крайне мало, буквально крохи. Разные источники называют Пересвета и Ослябю то брянскими, то любутскими боярами (имеется в виду тот самый Любутск, возле которого произошли главные события третьей Литовщины). Любутск был брянским пригородом, так что источники не противоречат друг другу: любутские бояре являлись в то же время и брянскими.

Когда и почему братья перешли на московскую службу? Вполне возможно, их переход был вызван нежеланием подчиняться новым литовским порядкам, вводимым в Брянском княжестве.

Когда и почему они оказались на Маковце, в Троицком монастыре? На этот вопрос ответить ещё труднее. Исторический писатель Д. Л. Мордовцев в повести о двух братьях-иноках предложил следующее романтическое обоснование их ухода в лесную обитель: якобы во время осады Казани (?) братья нечаянно убивают на городской стене свою родную мать, несколько лет назад попавшую в плен к ордынцам, и, чтобы отомстить этот свой роковой грех, принимают вскоре постриг. Наверное, не понадобилось бы особых усилий воображения, чтобы предложить целый набор иных, не менее романтических предысторий, с ещё более впечатляющими «роковыми» подробностями.

В тот небывало тяжёлый век у людей нередко возникало побуждение распрощаться раз и навсегда с жизнью в миру, причём сделать это самым решительным образом. От чего только не уходили — от славы и суеты, от богатства и нищеты, от грехов, соблазнов, болезней, от страхов житейских, — уповая на пристанище твёрдое, незыблемое. Но почему и отчего именно ушли в монахи Пересвет и Ослябя, видимо, никогда уже не станет известно.

В порядке допущения, вовсе не обязательного, здесь можно предложить следующую, вполне прозаическую причину. В XIV веке и позже верховные иерархи Русской Церкви имели при своих дворах так называемых митрополичьих бояр, и некоторые из этих бояр монашествовали. Они были наиболее приближёнными к митрополиту людьми, выполняли ответственные поручения, в том числе и за пределами Руси. Отчего бы не допустить, что два брянско-любутских боярина

первоначально несли именно такого рода послушание при дворе митрополита Алексея?

Сравнительно малолюдный Троицкий монастырь, в котором братья оказались в августе 1380 года, располагался на отшибе Владимирской дороги, примерно в одинаковом семидесятивёрстном удалении от Москвы и Переславля. Его основатель и игумен пребывал теперь уже в пожилом возрасте. За пять лет до Куликовской битвы он перенёс очень тяжёлую болезнь, о чём даже летописцы сообщили: слёг Сергей весной, а выздоровел лишь к 1 сентября. Между тем известность его с годами всё возрастала, на Маковец приходило всё больше людей — кто со своим горем, за советом, за добрым словом, за духовным окормлением, а кто и из любопытства праздного. В Москве могли ощущать вполне понятное беспокойство за Сергея, желали оградить его от случайных пришельцев, от непредвиденных враждебных козней. Не несли ли митрополичьи бояре Пересвет и Ослябя особое тайное послушание монахов-телохранителей при первом игумене всея Руси? Если так и было, то Сергей, естественно, не должен был догадываться о подобной опеке, которая наверняка бы его смущала своей чрезмерностью.

Непросто ответить ещё на один вопрос, касающийся на этот раз только Осляби. Точно ли погиб он на Куликовом поле вслед за Пересветом и сыном своим Яковом? Ведь в списках убитых воинов Ослябя-старший не упоминается — ни в «Кратком рассказе», ни в «Летописной повести», ни в «Сказании», ни в «Задонщине». К тому же по Троицкой летописи известно, что в 1398 году сын Дмитрия Донского великий князь Василий послал в Константинополь «сребро милостыню» и с этим даром поехал «Родион чернец Ослябя, бывый прежде боярин Любутский».

«Сказание о Мамаевом побоище» называет Ослябю-отца Андреем. Не одно ли и то же лицо этот Андрей и летописный Родион? О Родионе известно, что он был митрополичьим боярином Киприана. Но и Андрей Ослябя упоминается в одном из актов конца XIV века как боярин митрополита Киприана.

С. Б. Веселовский считал, что это всё же были разные лица. Андрей, по его мнению, «попал в дворяне митрополита Алексея, быть может, при посредстве Сергея же, и Родион Ослебятя, служивший Киприану, наверное, был близким родственником Андрея Осляби. Это тем более вероятно, что выезды из-за рубежей в Москву происходили обыкновенно целыми семьями, даже родами».

С. К. Шамбинаго упоминает о рукописных святцах XVII века, в которых записано, что «воины Адриан Ослябя и Александр Пересвет,

принесённые с битвы, были схоронены в Симоновом монастыре близ деревянной церкви Рождества Богородицы в каменной палатке под колокольной, и над ними поставлены каменные плиты без надписей».

Видимо, Адриан — монашеское имя Андрея. Но в таком случае как быть со свидетельством акта конца века, что Андрей Ослябя был ещё жив? Кажется, этому документу следует доверять несколько больше, чем святцам, составленным три века спустя?

Вопрос остаётся открытым. Ясно лишь, что, когда бы ни умер (или погиб) Андрей Ослябя, он был захоронен рядом со своим братом. Вполне возможно, что вместе с братьями тут был положен и сын Андрея Яков. После того как Симонов монастырь перевели на новое место, за овраг, ближе к Москве, надгробия героев оставались в Старом Симонове. «В приходской церкви Рождества Богородицы, разбирая колокольню сей церкви, называемой Старым Симоновым, — пишет в примечаниях к V тому Карамзин, — в царствование Екатерины II нашли древнюю гробницу под камнем, на коем были вырезаны имена Осляби и Пересвета: ныне она стоит в трапезе, а камень закладен в стене».

В сентябре 1380 года в Москву с Куликова поля было привезено множество других деревянных колод с телами павших воинов. Москвичи захоронили их в конце Варьской улицы, в урочище, называемом Кулишки, и над братской могилой срубили обетный храм. Кирпичная церковь Всех Святых на Кулишках, сооружённая позже на месте первоначальной, и сегодня стоит на площади, которая теперь носит имя Славянской.

Сохранился и древний храм Рождества Богородицы в Старом Симонове.

Почему Пересвет с Ослябей погребены были не на Кулишках, а в старосимоновской монастырской церкви Рождества Богородицы? Здесь снова надо вспомнить о преподобном Сергии Радонежском и о племяннике его, святителе Феодоре Ростовском. Когда в 1370 году этот монастырь основывался за пределами тогдашней Москвы, в шести верстах от Кремля, игуменом его был поставлен Феодор, а место для строения подбирал и благословлял работы пришедший с Маковца Сергей. Вполне возможно, что и братья-воины бывали здесь с Сергием, и не раз. Наверное, подбирая место для их захоронения, Сергей с Феодором посчитали важным и то, что престольный праздник церкви Рождества Богородицы празднует именно в тот день, когда витязи сложили свои головы на Куликовом поле...

Глава тринадцатая

От головешек

I

В Москву великий князь Дмитрий Иванович вернулся только через три недели после битвы. Как ни порывался поскорее увидеться с родными, но в Коломне вынужден был ещё на целых четыре дня задержаться, потому что, по слову летописца, был «велми утруден и утомлен». Краткое упоминание о нездоровье князя почти тут же дополняется ещё одним: возвратившись в Москву, Дмитрий Иванович почивал «от многих трудов и болезней великих».

Эти упоминания заставляют нас вернуться к тому сумеречному часу на исходе дня битвы, когда потерявший сознание великий князь был найден под сенью дерева.

Известно, что до осени 1380 года летописцы никогда не сообщали о недугах Дмитрия Ивановича. Тем более красноречивы, несмотря на свою краткость, эти два сообщения. Похоже, что нравственные и физические испытания, перенесённые им на Куликовом поле, весьма заметно подорвали его недюжинную телесную силу.

Он и сердце своё, может быть, именно с тех пор стал слышать — различать в его гуле предательские сбои, учащения, задержки. Нельзя безнаказанно видеть столько ужасного, сколько в свои неполные тридцать повидал он. Как тихий замедленный яд отныне будет действовать в нём память о происшедшем.

И если б только одна эта память мешала ему быстро выздоравливать! Как шли к полю с опаской, так и возвращались теперь настороже. Войско-то наше ослаблено, отягощено смертным грузом, дразнящим запахом воинской добычи — не вздумает ли Ягайло ударить исподтишка? А что Мамай? Далеко ли отбежал? Или ещё этой осенью, отдышавшись, сунется опять к Оке? А у нас что дома? Ведают ли, бедные, сколь много везём с собой горя, каков ныне у смерти урожайный год на русской ниве?!

Говорят, что москвичи встретили победителей у стен Андроникова монастыря.

Воины везли с собой не только тяжёлый обоз трофеев; сзади следовало

громадное стадо животных, кинутых ордынцами при бегстве: верблюды, буйволы, лошади, овцы... Но мало кто обращал сейчас внимание на великую добычу.

Вот уже и прошли все полки, и раненых на телегах провезли, а толпа недождавшихся стоит, напряжённно-молчаливая. Не стойте, милые, не надейтесь напрасно, никто больше не придёт. В последний свой предсмертный миг ваши отцы, мужья и братья вспоминали вас, и шептали ваши имена, и просили прощения, что оставляют вас раньше срока... Идите, милые, по домам и растворите своё горе в ежедневных трудах, случившегося не поправить. Пусть будет ваша молитва о них крепка, близки сороковины, и помните, милые, никто из них не умер без благословения, не попрощавшись, никого не кинули в поле на съедение лисам, все собраны, омыты, положены рядышком, чтоб и на Страшном Суде восстать всем сразу, по-братски пособляя друг другу, как пособляли в тот день до последней минуты...

...По возвращении домой Дмитрий Иванович распорядился о выдаче милостыни из великокняжеской казны вдовам и сиротам, раненым и калекам, нищим и убогим.

12 октября Куликовскому герою исполнилось тридцать лет. Но вряд ли на Боровицком холме этот день был чем-то выделен из числа других. Не было ещё в тот отдалённый век обычая праздновать дни рождения; подобное внимание человека к себе, к более или менее заметным календарным событиям личной жизни, прояви его кто-нибудь, вызвало бы не просто усмешку, но укоризну, осуждение. Иное дело — именины.

Именины великого московского князя отмечались, как мы помним, через две недели после дня рождения. Где-то между двумя этими числами Дмитрий Иванович съездил в Троицкий монастырь к Сергию. Он постарался начертать перед старцем в словах хотя бы некоторое подобие тех небывалых событий, свидетелем и участником которых стал в течение двух последних месяцев. И конечно, одним из первых его слов была благодарность за инока Александра Пересвета.

Возможно, именно в тот приезд Сергей и высказал вслух пожелание, чтобы в одну из суббот накануне дня Димитрия Солунского ежегодно отправлялось повсеместное, общерусское поминовение воинов, павших за отечество. Этот день стали с тех пор называть Дмитровской родительской субботой, «поминальною и вселенскою».

Так вот отметили победу.

Тогда же Дмитрий дал денег троицкому игумену на строительство ещё одного монастыря — обетного, в память Донского побоища.

По возвращении в Москву велел он созывать на 1 ноября съезд всекняжеский, и, как летописец помянул под тем числом, «вся князи Русстии, сославшеся, велию любовь учиниша между собою».

Может показаться несколько странным, что, говоря об этой торжественной встрече победителей, летописец не перечисляет её участников, а главное, умалчивает о содержании съезда. Но так в отношении съездов делалось, за немногими исключениями, всегда: и во времена Киевской Руси, и позже. В таких встречах обязательно имелась своя внешняя, праздничная, застольная сторона; но то, что обсуждалось на трезвую голову, оставалось сокрытым от всякого постороннего слуха, так что и летописец, как в данном случае, мог отметить лишь самое общее: «велию любовь учиниша между собою».

«Вся князи Русстии...» Выходит, собрались сейчас в Москве не только участники битвы, но были приглашены, приехали также и «воздержавшиеся», в том числе четыре великих князя: тверской, нижегородский, рязанский, смоленский? Но почему бы им и не приехать на праздничный съезд? Неявку в ополчение могли они объяснить различными уважительными причинами, но неявка на съезд прозвучала бы совсем нехорошо — как будто не рады победе над Мамаем. И уж коли собрались все вместе, то как бы страстно ни объяснялись по частностям, а всё равно стоящее за спиной свершение настраивало их на совсем новый лад, разворачивая впереди ничем ещё не записанный, волнующе чистый свиток свободного будущего.

Как раз подоспела весть о гибели Мамаю.

Оказывается, великий темник, опаматовавшись после позорного бегства, действительно вознамерился немедленно, сей же осенью, исправить случившееся — вернуться на Русь изгоном. Откуда он к остаточному своему войску добирал новые полки, неизвестно. Сообщали только, что уже двинулся было Мамай в поход, да непредвиденная вышла задержка. Такая, что вскоре в иную совсем сторону пришлось заворачивать ему своих конников.

Тохтамыш, выученик и союзник Тамерлана, тот самый, что завоевал Синюю Орду и сидел теперь в Сарае Берке, узнав о поражении Мамаю на Дону, разумеется, захотел извлечь выгоду из беды соседа-соперника. Возглавляемые им тьмы перевезлись через Волгу и вторглись в пределы Мамаевой Орды.

Есть предположение, что рати встретились несколько западнее Донца, у притоков Ворсклы, один из которых звался Кальченка. Разбитый здесь наголову, преданный к тому же своими мурзами, вконец обесславленный

Мамай побежал в Крым.

Достигнув Кафы, Мамай вступил в переговоры с правителями города, прося предоставить ему убежище и обещая хорошо заплатить. Генуэзцы выznали, что злополучный темник, точно, пожаловал в Крым не с пустыми руками. В его обозе были припрятаны тюки с золотом и серебром, с драгоценными камнями и «множеством имения».

Впустить Мамай впустили, но лишь затем, чтобы никуда уже из Кафы не выпустить. С помощью денег он спасся, но деньги же стали причиной его гибели.

Не сохранились для истории ни месяц, ни день гибели Мамай. Бесславный конец! Да и мог ли он быть иным? Оплакивать покойника не нашлось кому, ибо нет на земле более одиноких людей, чем эти вселенские изверги, играющие, как в шахматы, судьбами целых народов. Между ними и остальным миром — непроходимая пустыня.

Тохтамыш сам, не дожидаясь, пока придут к нему русские послы (да и придут ли ещё?), отправил к великому князю московскому своих посланников со словом, что он, Тохтамыш, «супротивника своего и их врага Мамай победи» и ныне садится «на царстве Воложьем».

Эта почти как бы дружеская предупредительность нового хозяина Улуса Джучи произвела на Руси вообще и в московском доме в частности благоприятное впечатление. Дмитрий Иванович тут же, не откладывая надолго, послал в Сарай киличеев с соответствующими приветствиями и дарами. Тохтамыш, если он, конечно, неглуп, понимает: своим нынешним успехом он почти всем обязан Москве. Но, похоже, он это понимает, и битва на Куликовом поле произвела на него должное впечатление. Как ни трудно рассчитывать на благородство и постоянство ордынцев, а всё же хотелось бы верить: после 8 сентября могут начаться между ними и Русью совсем новые, достойные отношения. Почему бы и нет, наконец? Главное, лишь бы поняли в Сарае: мы уже не те, на прошлое нас не повернуть, под переломленный хомут не вогнать.

В эти месяцы думалось и чувствовалось русским людям с той повышенной ясностью и остротой восприятия, какая бывает у человека, выздоравливающего после длительной болезни. Испытанное поднимало на новую высоту, откуда и виделось дальше, и многие тяжёлые обстоятельства, что прежде угнетали своей неминуемостью, теперь выглядели как-то мельче, второстепенней, казались легкоразрешимыми.

С таким вот чувством Дмитрий Иванович призвал однажды к себе для беседы своего духовника, игумена Симоновского монастыря Феодора, после чего Феодор отбыл в Киев. Игумену поручалось свидеться с

находившимся сейчас в Киеве Киприаном и от имени великого князя московского и владимирского просить его приехать в Москву на пустующую митрополию.

II

Пустовала она с самой смерти митрополита Алексея, уже целых три года, и случай был неслыханный. Редко когда за четыре века христианства на Руси как государственной религии её Церковь пребывала столь долго без верховного пастыря.

Правда, с чисто формальной точки зрения, случай этот можно считать мнимым, поскольку митрополит всё-таки имелся: Киприана, как мы помним, константинопольский патриарх послал на Русь ещё при живом Алексее. Но в том-то и дело, что подобного посланца великий князь московский ни за что не хотел принимать в своей столице и постарался сделать всё возможное, чтобы добиться в Константинополе поставления другого, русского митрополита.

Эти события вышли далеко за рамки Русской церковной жизни. Они стали продолжением, частью внутренней и внешней политики великого князя московского и владимирского, и потому следует на них остановиться здесь хотя бы кратко.

Когда Дмитрий Иванович узнал, что троицкий игумен наотрез отказался от митрополичьего посоха, князь обратил внимание на ещё одного достойного и желательного, с его собственной точки зрения, преемника.

О коломенском священнике Михаиле — летописцы чаще именуют его Митяем — существует целое пространное повествование, которое так и названо «Повесть о Митяе». Общеизвестно, что повесть эта составлялась по прямому указанию Киприана или же была им сильно отредактирована. К большинству из участников событий Киприан не мог питать добрых чувств: они так же, как и великий князь московский, препятствовали или не содействовали его своевременному появлению на Москве в качестве митрополита. Особенно же эта неприязнь распространилась на Михаила-Митяя, который сделал всё, чтобы самому стать митрополитом. Неслучайно в «Повести» он изображён выскочкой, едва ли не пройдохой, сумевшим ловко «втереть очки» чересчур доверчивому и горячему великому князю. Митяй якобы поразил Дмитрия Ивановича исключительно внешними своими достоинствами: красотой, начитанностью, умением

составлять блестящие проповеди. Митяй, по «Повести», «велик зело и широк, высок и напруг, плечи велики и толсты, брада плоска и долга, и лицом красен... и сам он превзыде всех человек, речь легка и чиста и громогласна; глас же бе его красен зело, износящъ словеса и речи сладостны зело; грамоте добре горазд, течение велие имея по книгам, и силу книжную толкуя, и чтение сладко и премудро, и книгами глаголати премудр зело...»

Это, как видим, скорее даже стихи, чем проза, но в оде Митяю там и сям торчат шипы, а похвалы чересчур уж пересахарены и нагромождены друг на друга «сладостно зело».

Неизвестно, в каком году Михаил был переведён из Коломны в Москву и стал духовником Дмитрия Ивановича и хранителем его печати. Якобы не без давления великого князя состоялось пострижение Митяя в чернецы и возведение его в чин архимандрита, причём то и другое будто бы было произведено в один день, скоропалительно, так что автор «Повести» имел повод заметить не без желчи: «До обеда белець сый и мирянин, а по обеде мнихом начальник и старцем старейшина, и наставник, и учитель, и вожь, и пастух».

Когда сидевший в Киеве Киприан узнал о кончине Алексея, он решил, что теперь-то уже у великого князя московского нет никаких поводов не принять его со всеми подобающими почестями. В мае 1378 года Киприан отправился в путь.

Вместо того чтобы принять его по достоинству, московский князь выставил против митрополичьего поезда заставы на дорогах. А когда Киприан обхитрил ратников и «иным путем пройдох» в Москву, на него обрушились новые бесчестия. Вскоре его выдворили из города, Киприан снова вынужден был отправиться в Киев.

Из «Повести о Митяе» явствует, что, постригшись в монахи и став архимандритом, Михаил-Митяй решил добиться своей цели с помощью собора русских иерархов, на котором бы его поставили во епископы. Однако на соборе один из владык, суздальско-нижегородский епископ Дионисий (известный нам как вдохновитель создания Лаврентьевской летописи), «дерзну рещи сопровтив Митяю», а великому князю прямо заявил: «Не подобает тому тако быти».

Дионисий вовсе не был сторонником Киприана. Видимо, не в меньшей мере, чем Дмитрий Иванович, он опасался появления в Москве «литовского» митрополита. Но и княжеский выбор не устраивал этого иерарха.

Когда Дионисию стало известно, что Михаил-Митяй получил от

патриарха Макария приглашение прибыть в Константинополь, чтобы ставиться в русские митрополиты, Дионисий решил тайно идти в Царьград. Великому князю московскому донесли о его приготовлениях, и Дмитрий Иванович потребовал от Дионисия ни в коей мере не препятствовать поездке своего избранника. Более того, не без причины опасаясь, что горячий и страстный епископ ослушается, великий князь велел удержать его «нужею», то есть принудительно.

Оказавшись вдруг в положении узника, суздальско-нижегородский владыка поклялся Дмитрию Ивановичу никуда не выезжать. К обещанию он присовокупил, что за него может поручиться игумен Сергей. Имя поручника говорило само за себя, и великому князю не оставалось ничего иного, как освободить Дионисия из-под домашнего заточения. Но через несколько дней, к немалому огорчению Дмитрия, владыка Дионисий «бежанием бежа к Царюграду», нарушив клятву и поставив в очень неловкое положение троицкого игумена. Его побег послужил толчком для срочных сборов самого Михаила-Митяя. При расставании великий князь снабдил его грамотой к патриарху. «Повесть» сообщает, что Митяй выпросил у своего покровителя ещё одну, запасную грамоту с великокняжеской печатью, но «не написану», с тем чтобы ею можно было воспользоваться при крайней нужде, сочинив от имени великого князя то или иное дополнительное обращение к патриарху. Как выразился при этом сам Михаил-Митяй: «Что хочу, да то и напишу на ней».

Избранник Дмитрия Ивановича благополучно преодолел неблизкий путь; он был уже почти у цели, но в нескольких милях от Константинополя вдруг разболелся и скоропостижно умер. Обстоятельства смерти Михаила-Митяя обойдены автором «Повести», и это придаёт им некоторую загадочность.

Михаила-Митяя негромко схоронили в Царьграде, но корабль с русским посольством всё ещё не покидал Золоторожскую бухту. В свите покойного митрополичьего наместника находилось три архимандрита. Соблазнительный пример своеволия, проявленного недавно Дионисием, подтолкнул их к ещё более рискованному, авантюрному поступку. Если наместник умер, то это не значит, что нужно возвращаться домой без митрополита, решили его спутники. Между двумя из них — архимандритом Иваном Петровским и архимандритом Пименом из Переславля — вспыхнула распря. Одолели сторонники Пимена. Захватив ризницу и казну покойного Михаила-Митяя, Пимен, к радости своей, обнаружил тут запасную «харатию» с великокняжеской печатью. «Повесть о Митяе» передаёт — не дословно, конечно, — содержание грамоты,

написанной Пименом на чистом листе.

«От великаго князя русскаго к царю и патриарху. Послал есмь к вам Пимина. Поставите ми его в митрополиты, того бо единого избрах на Руси и паче того иного не обретох».

Патриархом в это время был уже не Макарий, приглашавший Михаила-Митяя в Константинополь, а сменивший его Нил. Будто бы, ознакомившись с «грамотой» великого князя Дмитрия Ивановича, Нил выразил просителям своё недоумение: есть ведь на Руси митрополит Киприан, утверждённый ещё патриархом Филофеем, а кроме него другому быть не положено. Тогда Пимен решил потревожить Митяеву казну, а поскольку её содержимого оказалось недостаточно, вступил в кабальные отношения с цареградскими заимодавцами, назанимал у них изрядно в рост — от имени всё того же великого князя всея Руси. Патриарх Нил и люди его окружения, получив соответствующую мзду, призвали Пимена для всестороннего испытания его веры.

Так свидетельствует «Повесть о Митяе».

Но на самом деле всё было несколько иначе. Патриарху Нилу пришлось одновременно заниматься не только испытанием Пимена, но и расследованием дела Киприана, накануне прибывшего в Константинополь из Киева. Пимен и его товарищи выдвинули против Киприана обвинение, составленное ещё в Москве, в княжьем совете, что он был утверждён на русскую митрополию неканонически. В ходе разбирательства и получили огласку некоторые неприятные для Киприана подробности, например, о его личном участии в составлении обвинений литовских князей против митрополита Алексея.

Не дожидаясь решения собора, Киприан тайно отъехал в Киев. Конечно, такой поступок вовсе не выглядел доказательством в пользу беглеца. Если он подлинно невиновен в том, что поставлен на митрополию неканонически, то зачем же, право, понадобилось с такой поспешностью исчезать?

Однако Киприан, не догадываясь об этом, отбывал в Киев удивительно вовремя и кстати.

Дело в том, что великий князь московский, получив известие из Царьграда о скоропостижной смерти Михаила-Митяя и о дальнейших действиях переславльского архимандрита, вовсе не порадовался самочинию Пимена, пусть того и произвели наконец в митрополиты. Вся эта чересчур затянувшаяся и разветвившаяся история о митрополичьем преемстве приобретала в глазах Дмитрия Ивановича какой-то недостойный оборот. Во-первых, трудно было поверить, что его избранник умер своей

смертью. Упорно поговаривали, что он не то задушен, не то уморён морскою водой. Но даже если это не так, всё равно до глубины души возмущал великого князя проступок Пимена, составившего подложную грамоту и наделавшего великих долгов от его, Дмитрия Ивановича, имени.

А кроме того, речь шла не только о Пимене или, допустим, о суздальско-нижегородском владыке Дионисии (который до сих пор оставался в Византии, опасаясь, видимо, великокняжеского гнева). Речь шла о том, что такими вот самовольными поступками видные иерархи подрывают уважение не только к себе, но и к мирской, княжеской власти. Дмитрий Иванович имел уже достаточный житейский опыт, чтобы видеть: отношения между светской и церковной властью редко бывают идеальными; слишком разнятся конечные цели Церкви и земного миродержавства. Но он же видел: власть княжеская и митрополичья становятся поистине неодолимой силой, когда согласованы в общем и частностях и каждая распространяется в свою меру. Да, бывали случаи, когда митрополит Алексей в отсутствие Дмитрия составлял грамоты от имени великого князя всея Руси. Но тут никогда не было подлога, превышения полномочий, всё это совершалось с согласия того же Дмитрия, не в перекор его воле. А вот Пимен, якобы с благой целью, пошёл на явный обман, состряпал «харатию», учинил греховную куплю на грязные деньги заимодавцев. Такое нельзя было оставить безнаказанным.

Шёл 1381 год. Пимен ещё сидел в Царьграде. Киприан, как было известно Дмитрию Ивановичу, уже вернулся в Киев. Вот тут-то и призвал великий князь к себе своего нынешнего (после смерти Михаила) духовника, игумена Феодора из Симонова монастыря, и стал с ним советоваться. Монах и князь легко, с полуслова понимали друг друга, поскольку Феодор давно и в подробностях знал подноготную церковного неурейства, да и жизнь владык мирских, насельников Кремля, проходила у него на глазах. Со своей стороны, Дмитрий Иванович ведал, что его духовник, племянник Сергия Радонежского, вместе со своим дядей — единственные, пожалуй, на Руси люди, могущие теперь быть надёжными посредниками для восстановления отношений с опальным Киприаном. Дело в том, что именно им, дяде и племяннику, Сергию и Феодору, Киприан три с лишним года назад письменно жаловался на... самого хозяина Москвы. Дмитрий тогда, узнав о тайном, без предупреждения и спросу, прибытии Киприана в Москву, на пустую митрополичью кафедру, обошёл с последним будто с каким татем: «...вернул ваших послов, — пишет Киприан, — отправленных мне навстречу, и поставил военные заставы с воеводами и приказал им чинить мне зло и убить меня.

Но я, больше оберегая его честь и душу, приехал другим путём, надеясь на своё чистосердечие и любовь, которую имел к великому князю, его княгине и его детям. А он приставил ко мне мучителя, проклятого Никифора, и каких только зол я не испытал от него! Хула, брань, насмешки, ограбление, голод! Ночью, раздетого и голодного, он запер меня в тюрьме — и от той холодной ночи я до сих пор страдаю... Неужели нет никого в Москве, кто хотел бы добра душе великого князя и всей его вотчине?»

Возможно, Дмитрий попросил теперь своего духовника зачитать то Киприаново письмо, полное обиды, упрёков и оправданий.

«И какую вину нашёл за мной великий князь? В чём я перед ним виноват? Или перед его вотчиной? Я ехал к нему, чтобы благословить его и его княгиню, и детей и бояр его, и всю его вотчину и жить с ним в своей митрополии, как и мои братья с его отцом и дедом, великими князьями. А ещё хотел одарить его достойными дарами. Обвиняет меня в том, что я сначала поехал в Литву — но что дурного я сделал, побывав там? Ничего такого, что постыдился бы рассказать ему. Когда я был в Литве, я многих христиан освободил от тяжкого плена. И многие из неверующих узнали от меня истинного Бога и крестились святым крещением и перешли в православную веру. Строил святые церкви, укреплял христианство, давно запустевшие церковные земли вновь присоединил к митрополии всея Руси».

Слушая письмо, великий князь мог и хмыкнуть по поводу иных преувеличений Киприана. Полно! Уж если бы он, Дмитрий, на самом деле, будто зверина кровожадная, желал гибели незваного гостя, так давно бы уж и погубил. То есть прямо тогда, когда Киприан в Москве был схвачен и в темнице удержан... Ну, а что Литвы касается, то отчего бы не поверить всему, что Киприан тогда изложил Сергию да Феодору. Добрые дела сами за себя постоят. Этот, видишь, пленных вызволяет, церкви ставит, язычников крестит, а Пимен в Царьграде надеется серебришком добыть себе митрополичий чин, подложной грамоткой хочет самого патриарха охмурить.

Дмитрий Иванович, возможно, ещё не знал, что патриарх недавно рассматривал дело Киприана и решил его в пользу Москвы. Вообще сейчас это дело для великого князя представлялось уже весьма давним, сильно потерявшим свою остроту. Может, он даже погорячился в своё время, не приняв Киприана, посчитав его литовским ставленником? Правда, что и тот вёл себя слишком самоуверенно... О Киприане говорят, что он действительно много трудится в пользу православия среди литовцев. После Куликовской победы отношения с Литвой заметно поменялись в лучшую

сторону. Андрей Ольгердович получил возможность вернуться на свой стол в Полоцк. Даже с недавним врагом Ягайлом, даже с ним теперь как будто намечается что-то похожее на мирное, согласное соседство.

Может, есть во всём этом и Киприанова лепта? Словом, если выбирать кого-то из двух — Пимена или Киприана, — то уж, конечно, второго.

В праздничный весенний день 1381 года Киприан торжественно въезжал в Москву. Въезжал *по воле* великого князя московского и всея Руси. Этому событию предшествовала многолетняя, сложная борьба за право наследовать русский митрополичий престол, и, кажется, она была теперь позади. Соответственно в сознании участников и очевидцев отступали на задний план частности, выглядевшие ещё недавно громадными, вопиющими в своей бытовой неприбранности. И, наоборот, неумолимо проступало главное. Главное же было в том, что на протяжении многих десятилетий XIV века великие князья московские — и напоследок Дмитрий Иванович — упорно и последовательно отстаивали право иметь *своих*, русских митрополитов, предлагаемых Русью, а не насаждаемых из Константинополя. Такая борьба не была ни прихотью, ни проявлением заносчивости и национального высокомерия. Время показало, что вопрос о церковной самостоятельности Руси объективно сопрягался с вопросом о её государственной самостоятельности. И второй не мог быть решён окончательно без решения первого. Наиболее прозорливые из русских людей видели: дни Византийской империи сочтены, «второй Рим» озарён тревожным пламенем политического заката, Константинополь не в состоянии более окормлять духовной пищей восточно-православную ойкумену. Русской Церкви нельзя младенчествовать, как в старину. Ребёнок должен научиться ходить сам, без мамки, пусть и падая на первых порах. Многолетние церковные неурядицы в последние годы жизни митрополита Алексея, особенно же после его смерти, и были такого рода «падением» научающегося ходить. Дмитрий во всех этих событиях был не просто одним из участников. За ним стоял опыт его политических предшественников, опыт покойного Алексея. Пусть Киприан наконец въезжал в Москву — он въезжал сюда как её избранник. Недаром константинопольский патриарший собор 1380 года подтверждал: отныне «на все времена архиереи всея Руси будут поставляемы не иначе как только по просьбе из Великой Руси».

В то самое лето 1381 года новый властелин Улуса Джучи Тохтамыш направил к великому князю Дмитрию Ивановичу посольство, которое возглавлял некий царевич-чингисид Акхозя, или Ахкозя (Акходжа?). Этот посол, под руку которого было придано семьсот человек дружины, повёл себя как-то странно. Дойдя до Нижнего Новгорода, он вдруг поворотил обратно: «а на Москву, — по слову летописца, — не дерзну ити»; вместо себя послал Ахкозя малое число своих спутников, но и те с поручением не справились, с пути уклонились.

Причина этой нерешительности или даже боязни темна. Может быть, посольство было принято русскими за обычную конную изгону, и царевич побоялся угрозы воинского столкновения? Или жители Междуречья после Куликовской битвы вообще не были расположены пускать к себе никаких ордынцев, не разбирая, послы они или нет? Если и послы, то о чём с ними договариваться? Уж не о новой ли дани с «русского улуса»? Хватит, наданничались вволю!

Позже, когда сообща вспоминали и примеривали одно к другому события этого года, несостоявшееся Тохтамышево посольство невольно связалось в сознании простолюдинов с тревожным знаком столпа небесного... Ещё ведь с зимы начиная, морозными ранними утрами, затемно, видели в градах и деревеньках огненный столп, и по весне он не исчез, и всегда стоял на восточной стороне неба, иногда утончался, являясь звездой хвостатой, летящим копьём, и целилось то копье в сверкающие настом поля, в глухую настороженную темь лесов.

Но ещё году надо было миновать, чтобы сделалось явно, отчего то копье с востока летело.

Обычно самые первые известия об ордынской угрозе Дмитрий Иванович получал даже не от сторожевых застав, а от купцов, торговавших в городах волжского Низа и в Подонье. Ныне купеческая служба вынужденно оказалась безгласной. Хан Тохтамыш, помня урок Мамаю, окружил свои приготовления к походу завесой непроницаемости. В том числе заранее разослал вверх по Волге людей с приказом: хватать повсюду купцов-христиан, ни одного не оставлять в живых, а товары их сплавлять на Низ, в Сарай.

Да и сам поход не в пример Мамаеву был лёгким, скорым, изгонным, без громоздких обозов, хотя и двинулся Тохтамыш ратью тьмочисленной.

И всё-таки как оно стало возможным, это злосчастное «прихождение Тохтамышево на Москву»? Как проглядели, как пустили? Почему не дали врагу достойного отпора? Почему в трудную минуту великий князь покинул Москву и как вышло, что сама она так беспечно распахнула перед

ордынцами ворота?

События августа 1382 года в летописях обрисованы на редкость подробно, и всё же в их изображении остаётся какая-то вводящая в недоумение недоговорённость. Вдруг почти всё Русское Междуречье с его хорошо отлаженной окской порубежной линией оказалось беззащитным, совсем как во времена Батыя или в годы какой-нибудь Дюденевой либо Неврюевой рати.

Принято говорить: русское воинство было ослаблено громадными потерями, понесёнными на Куликовом поле. Да, это так.

При известии о приближении Тохтамыша среди князей и бояр возникли разногласия, которых Дмитрий Донской не смог преодолеть. Да, и это отрицательно сказалось на последующих событиях.

Сам Дмитрий Иванович срочно оставил Москву лишь для того, чтобы добрать ополчение в Костроме и попутных к ней городах. И это, безусловно, так.

Наконец, Москва пала якобы из-за мятежа посадских низов, из-за безвольного поведения митрополита Киприана, который в решительную минуту отбыл в Тверь, из-за слишком доверчивого поведения её защитников, обманутых Тохтамышем. И это всё, видимо, так. Но причины причинами, а всего ими не объяснить. В самом факте нашествия была своя несмыслимая обида, и она осталась в исторической памяти надолго.

Осталась прежде всего потому, что беда случилась через два года после Куликовской битвы. Само это близкое соседство двух столь противоположных событий было оскорбительно для памяти о недавней победе и её жертвах. Тохтамышево нашествие будто отшвыривало Русь в тот тёмный угол истории, из которого она с таким напряжением сил вырвалась накануне. Тут, что ни подробность, всё будто твердило русскому духу: назад, осади, знай своё место! Или нащёптывалось кем-то с ехидцей: вот видишь, не выйти тебе из заколдованного круга, и так будет вечно повторяться у тебя: разногласица, разброд, всеразличный разгордаж, и потому только, что у вас — как это вы там говорите — своя своих не по-зна-ша...

Рассказывали: когда Тохтамыш достиг южных окраин Рязанской земли, князь Олег Иванович выехал к нему навстречу чуть не с хлебом-солью и проводил до самой Оки, и броды через Оку показал. А ведь с Олегом только недавно великий князь московский договор заключил о мире, и по тому договору Олег считался Дмитрию за младшего брата. Знать, впопад говорено: не верь, что на письме, измерь, что на уме. Доколе ж не верить-то?

После первых же вестей от разведчиков Дмитрий Иванович двинул к Оке ополчение. Тохтамыш не напал, подобно Мамаю, он мчал. Надо было и к нему на сближение идти борзо. Но средь дороги что-то разладилось в княжеском совете, да так непредвиденно и грубо, что, похоже, летописцы постеснялись уточнять, оставив нам только самое общее, хотя и красноречивое, конечно же, объяснение: великий князь московский «не ста на бой противу царя, ни поднял противу его руки, и силу розпустил, уразумев бо во князех и в боярех своих и в всех воиньствах своих разньство и разпрю, ещё же и оскудение воиньства; оскуде бо вся Русская земля от Мамаева побоища за Доном, и вси Русские людие в велице страхе и трепете быша за оскудение людей».

Похоже, на пути своём в Кострому Дмитрий Иванович Москву не навестил, а только разослал окрестным волостям приказ: прятать скотину в леса, а людей отводить под защиту кремлёвских стен. Кремль, знал он, неприступен. Кремль выдержит, а он сам до поры выждет, как выждет с другого боку братан Владимир, ушедший сейчас под Волоколамск с большей частью войска.

Выждать — не то же, что скрыться. Стоит обратить внимание на следующую, судя по всему, продуманную расстановку русской боевой силы: Дмитрий в Костроме имел при себе только две тысячи воинов, Владимир уже придал вчетверо больше. Почему? Да потому, что северо-запад Московского княжества уязвимее. Ордынцы, не добившись Москвы, именно в этом направлении могут кинуться, чтобы с Литвой сообщиться либо с ненадёжной Тверью.

Тохтамыш идёт на Москву наспех — так в своё время дважды подходил к её стенам покойный Ольгерд. Хан не решится на длительную осаду — осень на дворе. К тому же московский посад — опыт Литовщины пригодился — сожжён заранее. В пустых волостных сёлах ордынцы прокорма не найдут, а с собой достаточных припасов не имеют. Зная же о двух княжеских ратях, скапливающихся слева и справа от Москвы, хан вынужден будет вести себя осмотрительней и вряд ли посмеет погромить малые подмосковные города.

Если удастся встретить Тохтамыша таким вот образом, то великий князь сбережёт людей, и это главное. Для этого не стыдно «трусом» себя показать, робеющим открытого ратного столкновения.

Но всё получилось вопреки великокняжеской прикидке. И потому лишь, что на сей раз подвела его Москва.

Тохтамыш переправился через Оку и захватил опустевший Серпухов, когда в Москве начались беспорядки. За последние дни её население

возросло по крайней мере вдвое. В Кремль перебрались не только обитатели посадов, но и крестьянство подмосковных волостей. Все были возбуждены до предела: кто молился истово, кто радовался тому, что такое множество собралось для отпора, а кто и пошумливать начинал: князя где* где воеводы, на кого покинут народ?

Неизвестно, какие бояре были оставлены великим князем на московское воеводство, но они явно не справились с поручением. Стихия безначалия бразилась среди горожан и беженцев, кое от кого и впрямь пахивало хмельным — медов на ту пору уже было накачено и наварено от нынешнего сбора и в подвалах запасено.

В Кремле находился тогда митрополит Киприан. Но он был тут лицом новым; те, кто знал его, говаривали о нём по-разному, а многие и совсем не знали. Так что его вразумления на толпу не очень-то действовали. Кто и ерничал: откуда, мол, сей Куприян, из каковских стран?

Нетрезвое это дурашество обернулось открытым озлоблением, когда прослышали, что митрополит хочет покинуть Москву, как уже покинул её кое-кто из обитателей боярских дворов. Киприан и впрямь настаивал, чтобы его выпустили из города, готовящегося к осаде. К нему решила присоединиться и великая княгиня с детьми. *Такой* Москвы она ещё не знала и не на шутку была напугана всем увиденным и услышанным в последние дни.

Но среди горожан уже действовал уговор: никого из крепости не выпускать. Ворота железные держали на запоре. Стража бодрствовала у проездных башен. А в тех, кто всё же норовил прорваться, с вратных площадок швыряли чем ни попадя.

Киприану понадобилось всё его умение убеждать, доказывать, угрожать, пока наконец он вместе с великокняжеским семейством не был выпущен. Из Москвы митрополит направился в Тверь, Евдокия с детьми — к мужу в Кострому.

Известно, что накануне появления у стен Москвы Тохтамыш в Кремль въехал «некоторый князь Литовский, именем Остей, внук Ольгердов», и благодаря ему удалось поначалу наладить правильную оборону города. Известие это несколько загадочно. Кажется, ни в русских летописях, ни в литовских хрониках подобное княжеское имя более не встречается.

Чьим сыном мог быть этот Остей — Андрея Полоцкого или Дмитрия Брянского, или ещё кого-нибудь из старших Ольгердовичей? Впрочем, не легенда ли само «призывание» чужого князя к безначальному народу в неуправный город? В русских летописях известен один-единственный

Остей — московский боярин Александр Андреевич, младший брат Фёдора Андреевича Свибла, но вряд ли речь здесь идёт о нём.

Итак, в Москве утвердилось некое подобие порядка, и её жители, постоянные и пришлые, изготовились к обороне.

Ордынцы появились у стен Кремля 23 августа после полудня. Подошли они с напольной стороны и стали в благоразумном отдалении, «за три стрел ища от града» — уточняет свидетель, то есть на расстоянии трёх полётов стрелы. Вскоре малый отряд вершников приблизился к стенам, окликнули стоящих на забралах:

— Во граде ли князь Дмитрий?

— Нету его во граде, — отвечали сверху вроде бы даже с бахвальством.

Да, пожалуй, и без ответа можно было ордынцам догадаться, что великий князь отсутствует: очень уж возбуждены были и многошумны защитники города. Со стен трубили в трубы, дудели во всякие дудки, смеялись; некоторые явно были навеселе; иные озорники, порты скинув, показывали неприятелю срамные места, посылали царя ордынского куда подальше; а кто и плевался, сморкался вниз; соплей, мол, перешибем, отваливай, бабьи щёки; не хотите ли, мол, московского кумысу? Каждому нальём полную мису, у нас много припасено... Вспоминали Мамаю: тому шею наломали и вам наломаем. Осмеян был и сам Тохтамыш: ну где она там, ваша дохла мышь?

Ордынцы внизу скалились раздражённо, помахивали саблями, рыскали кругом крепости семо и овамо, приглядываясь, примеряясь. Но к вечеру рать Тохтамыша куда-то попятилась от города, будто сообразили, что и подступаться бесполезно. Это ещё прибавило веселья горожанам. Ночью многие пировали, по-хозяйски расположившись в боярских покоях, потчуж друг друга из серебряных ковшиков, из хрупких и витиеватых стекляниц.

Однако наутро чужая рать снова объявилась, и уже не только с напольной стороны, а отовсюду стояли ордынцы. Со стен посыпались стрелы, за первым второй жужжащий рой, но на излете мало причинили вреда опасливо отдалённым конникам. Те только саблями угрожающе помахивали. Били защитники города и из тяжёлых самострелов и даже из «тюфяков», которые принято считать первыми на Москве пушками.

Затем и ордынские лучники, подойдя и подъехав поближе, открыли густую стрельбу, и кое-кому на забралах и на башенных площадках досталось на опохмел. В который раз подивились московские ратники ловкости степняков-лучников: метко стреляют, бестии, не только с места,

но и на ходу, и на скаку, и вперёд мчась, и наутёк пустившись, со спины.

Под прикрытием стрелков к стенам кинулись пешцы с лестницами, и многие уже добежали, прислонили, вскарабкивались. Но тут сверху покропили их москвичи кипятком — в котлах с утра klokотал вар на случай приступа.

Отхлынули одни — Тохтамыш бросил на город свежую силу, эти рвались наверх с ещё большим ожесточением. Со стен посыпались камни, удары рогатин и секир, снова взрыкнули пушки. Один из горожан, купец-суконник по имени Адам, стоявший на Фроловской башне (нынешняя Спасская), углядел знатного воина в толпе ордынцев, прицелился в него из самострела и угодил тяжёлой стрелой прямо в сердце. В рядах наступающих возникло замешательство, и приступов в этот день больше не было. И ещё двое суток только издали поглядывали степняки на крепость — вроде даже с уважением. Горожане опять приободрились: стены каменные, ворота железные, враг долго не простоит, лишь бы скорей соединились вонне Москвы княжеские рати.

Так бы закончиться «Тохтамышеву нахождению» ничем, но поддались осаждённые на обман. Утром 26 августа к стенам города приблизилось несколько знатных ордынцев. В них не стреляли, понимая, что идут для переговоров. К своему удивлению, горожане увидели среди чужаков двух русских князей, похоже, Василия Кирдяпу и Семёна — сыновей Дмитрия Константиновича Суздальско-Нижегородского. Дивно было и непонятно: как это во вражьей ставке очутились шурины великого князя московского, родные братья Евдокии? Затеялось объяснение.

— Царь не на вас пришёл, — кричали снизу, — но на князя вашего Дмитрия, а вас царь великий милует и ничего от вас не просит: ни откупа, ни выхода... Просит одного: встретить его с честью, с лёгкими дарами, а он только город посмотреть хочет, вам же дарует любовь и мир!

— Не на нас пришёл, но на князя нашего? Будто мы и князь не одна Москва? — качали головами многие. Но верх взяли иные голоса: — Это кто же любви и мира не желает?! Мы мириться всегда горазды! Давай, хоть с самим протобестией!

Может, ещё и не обманулись бы так легко, если бы не вид русских князей, стоявших под стенами. Да, впрочем, что на князей пенять, не они же ворота распахнули во всю ширь, не они же улыбались во всю дурь. На своё простодушие попеняем, родимые.

Горожане выходили торжественно во главе с архимандритами и священниками, неся кресты, иконы и подарки. Ордынцы, ждавшие условного знака, смотрели на шествие с любопытством и наружным

почтением. Сначала оттеснили Остея и тут же убили его. По этому знаку и началась резня — пошли в ход кривые сабли, которыми степняки три дня назад грозились москвичам. Убивали безоружных, подсекали кресты, доски иконные рубили и копытили, сдирали с них сверкающие оклады. Одновременно по лестницам со всех сторон лезли на опустевшие стены.

«И бяше тогда видети во граде плачь и рыдание, и вопль мног, и слезы, и крик неутешаемый, и стонание многое, и печаль горькая, и скорбь неутешимая, беда нестерпимая, нужда неужасная, и горесть смертная, страсть, и ужас, и трепет, и дряхлование, и срам, и посмех от поганых крестьяном», — восклицает летописец, отдаваясь общему чувству, но тут же строго отмечает: «Сии вся приключися за умножение грех наших».

Были разграблены великокняжеская казна, боярские житницы, склады купцов, церковные алтари; запылали многие дворы, сгорели деревянные церкви, а каменные почернели внутри от копоти, потому что в них накануне было намётано под самые своды книг, свезённых для хранения отовсюду, и книги те также сгорели.

Обычно, говоря о размерах утрат, поминают эти вот красноречивые стопы книг в два-три человеческих роста. И ещё вспоминают, что сразу по возвращении на пепелище великий князь московский позаботился о предании земле погибших и могильщикам назначил по рублю за каждые восемьдесят погребённых тел и всего выплатил триста рублей. А сколько было угнано в плен! Этим душам счёт вели — уже далеко отсюда — сарайские да генуэзские работорговцы.

...Взбодрённые столь ошеломительной удачей в Москве, ордынцы разделились на две рати, и одна из них кинулась по Владимирской дороге, а другая — на Звенигород. Возле Переславля конники Тохтамышша едва не настигли поезд великой княгини Евдокии. Услыхав о приближении врага, переславльцы оставили крепость и посады и отплыли в лодках на середину великого своего озера. От Переславля каратели устремились на Юрьев, погромили его, а затем и Владимир.

Другая рать, овладев Звенигородом, двинулась на Можайск, оттуда на Волоколамск. Но под Волоком стоял князь Владимир Андреевич с ополчением. Он не стушевался, часть вражеской рати опрокинул, другую обратил в бегство.

Тохтамыш решил более не рисковать. Он ждал лишь, когда вернётся конница, посланная по Владимирской дороге, чтобы начать общий отход.

От Москвы отступали на Коломну, пограбили и её, а затем всё, что под руку попадалось в земле Рязанской, и саму Рязань. Должно быть, Олег Иванович возмущался неблагодарностью Тохтамышша, но испытывал ли

хоть какие-то угрызения совести перед Москвой?

Скорее всего, не ведал сейчас смущения и Михаил Александрович Тверской, который посылал к Тохтамышу, стоявшему тогда в Москве, своего киличая «с честью и с дары многими».

Покидая пределы Руси, хан вряд ли мог считать свой поход до конца удавшимся. Сполна удалась лишь грабительская часть великой изгоны. Собственно военная сторона предприятия не прибавила Тохтамышу полководческих лавров: с великим князем московским он на поле так и не встретился, а от Владимира Серпуховского его вершники ещё и наутёк пустились.

А в каком состоянии вернулся в свой дом Дмитрий Иванович Донской? Говорят, он заплакал навзрыд, увидев чёрную, насквозь осмрадевшую Москву. Откуда силы-то было взять ему, сподвижникам его и землякам, чтобы начинать тут всё заново — от пепла, от руин, от головешек?..

IV

От головешек приходилось Дмитрию Ивановичу начинать не только восстановление Москвы. Все жизненные связи внутри его великого Белого княжения, ещё год назад представлявшиеся такими прочными, хорошо отлаженными, — всё это на поверку оказалось недостаточно надёжным. Конечно, что и говорить, испытание на прочность выдалось чрезвычайное — более полувека прошло с тех пор, как последний раз вторгались ордынцы в Русское Междуречье. Но всё же Донской вождь вправе был ждать от своих земель и их князей куда большей самоотверженности во дни общей беды. Ну ладно Рязанец: с него когда и какой был спрос. (Хотя на сей раз спросить всё же придётся.) Но ведь и тесть, Дмитрий Константинович, смалодушничал, стал вымаливать у Тохтамыша ослабы для своей земли. И Михаил Александрович, тверской удалец, перед ханом поюлил вдоволь, показывая, какой он верноподданный и кроткий.

Опять — в который уже раз! — проплыла перед глазами мутная череда: измены, клятвопреступления, трусливые увиливания, хмельной кураж, хитроумство одних, легкомыслие других... В ком и в чём искать опору? Доколе ещё смотреть на каменную окоченелость мёртвых тел, складываемых в великие ямы, на обугленные остовы на месте бывших улиц? И сколько на слуху теперь новых кривотолков, под стать давно слышанным: ага, наелась Москва, накушалась? То-то, будут знать, как в гору гнать. Бог, он гордецам не потатчик.

Но чем сильнее удручало великого князя московского и всея Руси это шатание умов, тем с большей энергией — уже осенью 1382 года — отдался он самым насущным, не терпящим промедления заботам политического домостроительства.

Прежде всего надо было как следует одёрнуть, поставить на место Олега Рязанского, слишком преуспевшего в своём безоглядном особничестве. В сентябре московская рать перевезлась за Оку и вошла в рязанские пределы. Как и следовало ожидать, сам Олег с приближёнными боярами исчез, затаился в каком-то из своих лесных лежбищ.

Но острастка южного соседа оказалась не самым важным достижением этого похода. Дмитрию Ивановичу удалось сговориться с мещерским князем Александром Уковичем о покупке его наследственной вотчины Мещёры, которая отныне включалась в состав Московского княжества. Приобретение было более чем незаурядное. Лесистая Мещёра граничила с рязанской землёй, и граница отчасти проходила по Оке, так что теперь значительно выравнивался и продлевался окский рубеж обороны Междуречья.

Той же осенью великому князю московскому стало ведомо, что Михаил Тверской со старшим сыном Александром тайно, окольными путями, в обход застав прошли на Низ, в Сарай. Скрытность действий ясно говорила о намерениях тверичей: Михаил, вопреки письменным обещаниям 1375 года, вновь домогался ярлыка на великое княжение Владимирское. Тут уж было только руками развести да позавидовать неужённости северного соседа. Но, впрочем, чему завидовать-то? Гордый, говорят, и в гробу глазами косить будет.

Михаил пока был недосыгаем, но в Твери всё ещё находился митрополит Киприан, и не слышно, чтоб спешил в Москву вернуться, а с ним Дмитрий Иванович очень и очень желал поговорить по душам. Неужто ничегошеньки не знал митрополит о том, куда Михаил с сыном подались? А ежели знал, то как же смолчал, не укротил зарвавшегося тверича? Наконец, почему в Москву ничего не сообщил о готовящемся клятвопреступлении?

В конце сентября Дмитрий отправил в Тверь двух своих бояр, которым поручалось позвать митрополита и сопутствовать ему на обратной дороге. Киприан вернулся в Москву 7 октября и увидел, что стало с городом в его отсутствие. Только-только начинали сейчас отстраивать усадьбы и церкви, растаскивать обгорелые остовы домов.

Неизвестно, о чём говорили при встрече великий князь и митрополит. Летописцы извещают лишь о возникшем у Дмитрия Ивановича «нелюбье»

к Киприану, которому было предложено отбыть в Киев. Возможно, великий князь обвинил митрополита не только в потворстве Михаилу Тверскому, но и в том, что в самые сложные для Москвы дни Киприан смалодушничал, не сумел подчинить себе осаждённых, кинул на произвол судьбы горожан и пришлых, наконец, и великокняжескую семью. Москва вполне была способна выстоять, несмотря на наплыв беженцев. Да она почти уже и выстояла, но в суматошную минуту в городе не оказалось умудрённого жизнью человека, который бы устыдил легионеров и легионеров, а буянам пригрозил бы пастырским посохом... Может быть, в душе князя всколыхнулась сейчас застарелая неприязнь к «литовскому митрополиту». Давнее раздражение смешалось у него с новым, да и Киприан не безмолствовал, но, наоборот, постарался осадить Дмитрия, явно превышавшего свою власть. С каких это пор митрополита судят княжеским судом?!

Однако для Дмитрия Киприан не был более митрополитом «всей Руси», а простым смертным, и этому простому смертному надлежало скорее оставить Москву. Нет, если уж что сразу не заладилось, сызначала искривилось, ни за что потом не выровняешь.

Теперь великому князю понадобилось срочно отзываться из заточения Пимена. (Год назад, когда Пимен вернулся на Русь, великий князь его за цареградские самовольства в Чухлому сослал.) Срочность возвращения опального иерарха объяснялась тем, что пустовала не только митрополичья кафедра, но и некоторые епископии, например, сарайская и смоленская; надо было поставить на них новых владык; к тому же надлежало возвести в епископский чин просветителя зырян Стефана и учредить для него Пермскую епархию.

А на череду уже стояли иные дела. Весной следующего, 1383 года Дмитрий Иванович, преодолев вполне понятные родительские страхи, отправил в Орду, к Тохтамышу, своего первенца, одиннадцатилетнего Василия, в сопровождении старейших бояр и верных слуг. Отправил, дабы Василию, по слову летописца, «тягаться о великом княжении Володимерьском и Новгородском с великим князем Михаилом Александровичем Тферским» — тот до сих пор сидел в Орде, ожидая, может быть, последней в жизни удачи.

Как и положено, Василий ехал со многими дарами, и бояре из его свиты заранее знали, что у хана зайдёт речь о даях и что надо торговаться и хитрить до конца, но что самое важное всё же — уберечь за Москвой великий ярлык владимирский, пусть даже и ценой возобновления урочного «царского выхода».

Так и получилось. Михаил Тверской, сколько ни старался очернить перед ханом своего соперника, мало в чём преуспел. Тохтамыш только подтвердил его право на «отчину и дедину» — Тверское княжение. «А что неправда предо мною улусника моего князя Дмитрея Московского, — якобы сказал он Михаилу, — аз его поустрашил, и он мне служит правдою; и аз его жалую по старине во отчине его; а ты поиди в свою отчину во Тферь...»

Эти заключительные слова Тохтамыша менее всего свидетельствовали о его особой благосклонности к Москве. Просто Михаил не мог пообещать хану того, что пообещало посольство княжича Василия, — дани со всего Белого княжения.

Впрочем, обещаниям Тохтамыш не очень верил. Василия, мальчика московского, он оставил при себе, пока отец его не пришлёт «выход».

Как ни постыдна была Дмитрию Ивановичу сама мысль о возобновлении выплат в Орду, приходилось с ней смиряться, подавлять в себе вспышки негодования, приступы гнетущей обезволенности. В волостях и слободах старосты на сходках объявляли: с каждой деревни требует великий князь по полтине. Унылый ропот прокатывался при этих словах над толпами. С каждой деревни? А сами-то с чем останемся, коли по полтине? Вот тебе и победили Мамаю!

Тогда же Дмитрий Иванович послал своих бояр за данью в Великий Новгород и главным над сборщиками назначил Фёдора Андреевича Свибла. Шли с воинской охраной — мало ли как поведут себя новгородцы, отвыкшие от чёрных боров. Но обошлось благополучно, и вечники чёрный бор дали, хотя и с натугой, с ворчбой.

Под стать людям хмурилось в то лето и небо. Прокатывались по лесам пожары. Вырвавшись на мшаники, огонь сникал, уходил под кочки, в коричневую торфяную мякоть, и тогда расползался на многие десятки вёрст сизый чад, зыбилась горькая мгла, в которой птицы задыхались и сыпались на землю окоченевшими комками. Солнце изредка мутно глядело на всё это своим рыжим зраком, как будто со дня на день собиралось совсем погаснуть.

V

Июля пятого дня 1383 года преставился тесть Дмитрия Донского, великий князь суздальский и нижегородский. Прожил Дмитрий Константинович — по тогдашним понятиям — не так уж и мало: 61 год.

Славы особой не стяжал, если не считать Булгарского похода. Соперничал когда-то с будущим зятем, но на великом столе владимирском продержался всего два лета. В лучшие свои годы действовал с Москвою заодно, но под конец как-то сник, выдохся, отстранился. Не каждому дано и умереть в лучшие-то годы, не дожидаясь, пока придут своим чередом невезения, разочарования.

Эту вот мысль — о своевременности или несвоевременности смерти — мог теперь примеривать к себе и великий князь московский. Чем утешили его годы, прошедшие после Донского побоища? Церковное нестроение, княжеские раздоры, вторжение Тохтамыша, выжимание дани с обескровленного крестьянства... Не лучше ли было ему умереть тогда, 8 сентября, рядом с Пересветом, с Мишей Бренком, с Серкизом и Микулой Вельяминовым?.. Как бы сладко шелестели над ним седые ковыли. Как бы освежающе скользили над полем облачные тени. Но нет, он уцелел, выжил и теперь с саднящей и неуместной ношей славы вынужден ходить и собирать с миру по нитке.

Так вот, с пустого места, с ничего, было ему просто и почти весело начинать когда-то, после Всехсвятского пожара, потому что он был юн, мечтателен, горел нетерпением многое прибавить к дедову и отцову добытку. И прибавил ведь, по всем статьям прибавил. И не мог, кажется, поставить себе в вину ни лени, ни бестолковой суетности, ни высокомерного пренебрежения к мнениям ближайших помощников и соделателей. За что же насылается новая кара на его землю? Уж не за то ли, что слишком благодушествовать стали в лучах куликовской славы, вышли на радостях из своей меры? Отвыкли ожидать неожиданного, воспарили в мечтах превыше седьмого неба, самыми сильными и необоримыми себя сочли, как давеча защитнички московские, погибшие через бахвальство и самонадеянность. Бесу таких только подавай!

Но и то, легко сказать: жди неожиданного. Можно ли было, к примеру, знать наперёд, что через три года после усмирения Олега Рязанского он сейчас снова затеет с Москвой тягаться? Да не из-за каких-нибудь приокских волостишек, не из-за Лопасни даже, а из-за самой Коломны! Уже восемьдесят лет, как Коломна московской стала, а, оказывается, Рязанцу до сего дня снится она в снах. Объявился вдруг из-за Оки, налетел изгоном, разграбил город, наместника Александра Остея повязал, купцов обчистил, нагрёб живого полону — и наутёк!

Ещё одну рать собрал Дмитрий Иванович на Олега-строптивца. Даже новгородцы прислали своё ополчение. Повёл войско Владимир Андреевич. Но на этот раз ему, не знавшему доныне в сечах поражений, не повезло. Во

время решительного столкновения с рязанскими полками его рать понесла большой урон. Погибло и несколько знатных воевод, в том числе сын князя Андрея Полоцкого Михаил... Доколе ещё препираться с Олегом, тратя людей, силы, деньги на бессмысленную и преступную усобицу? В конце концов Дмитрий Иванович не желал более ничего *подобного* и в то же время предчувствовал, что так вот из года в год и будет вражда плодить вражду, если не предпринять каких-то мер совсем иного порядка. Но ведать бы каких.

И, как уже не раз бывало в его жизни, он захотел узнать мнение игумена Сергия и поехал к нему.

Надо полагать, при их нынешней встрече от Сергия не укрылось тяжёлое, обременённое тревогами состояние великого князя московского. Действительно, трудно было поначалу представить, что дни после Донской победы окажутся в такой степени трудными для московского, то есть общерусского, дела. Единовременного подвига, даже и такого небывалого, оказалось на поверку мало. Тохтамыш кое-чему научил: например, тому, что победу нужно уметь отстоять, продолжить. Но, что бы ещё ни произошло, самое страшное не внешние беды, а порождаемое ими в душе уныние, чувство оставленности. Недаром и древние старцы всегда говорили, что уныние — опаснейший из помыслов, это само жало змеиное, проникающее до сердца. Бодрение и трезвение сердечное, постоянное умное делание — вот чего более всего не терпит враг человеческий. Русскому ли духу унывать, когда начаток уже положен. Поле Куликово отныне явится мерой, на которую станут равняться иные поколения. Испытания будут, и искушения великие будут, но это лишь знак, что мы на истинном пути, потому что правда должна испытываться на прочность и истина обязана пройти сквозь искушения. Радоваться надо испытаниям, не будет их, тогда мы — живые мертвецы.

Разговор неминуемо зашёл о рязанской тяжбе. Безусловно, отношения с Олегом были сейчас самой уязвимой точкой русской внутренней жизни. В этих отношениях так всё запуталось, переплелось, что через время — если и дальше так будет продолжаться — не сыщется уже правых, только одни виноватые и с той и с другой стороны. Вот почему Дмитрий просил у троицкого игумена не просто совета. Если и можно образумить Рязанца раз и навсегда, то не новым походом, не очередной dokonчальной грамотой, а чем-то иным совсем... Не так ли было двадцать лет назад с Константиновичами, Дмитрием да Борисом? Только вмешательство Сергия, его появление в Нижнем, встреча с Борисом и потом с обоими братьями — только это оказалось тогда спасительным.

...Разговор был в сентябре, а во время Рождественского поста троицкий старец, сопровождаемый великокняжескими боярами, отправился в Рязань. На этот раз, вопреки своему обыкновению, не пешком, а поехал, и дело было не в многочисленности посольства, от него зависимого, не в долготе и суровости зимнего, ещё не устоявшегося как следует пути, а в годах Сергиевых: ближе к семидесяти не так-то уж борзо и безустанно ему шагалось.

Для Рязани его приезд стал событием. Велики были смущение, растерянность и внутренний трепет князя Олега: сам первоигумен Руси к нему, многогрешному, пришёл, верней, снизошёл прийти, хотя мог бы, имел на то власть, вызвать к себе, и князь рязанский, отложив все дела, поскакал бы на тот зов немедленно, лошадей не жалея. Но Сергей пришёл сам.

И пришёл не с пятнами гнева на лице, не с пресекающимся от возмущения голосом, но с тихим словом сожаления о бедах рязанских и рязанских заблуждениях.

Земля здешняя паче иных унижена, слов нету. И не только от чужого языка претерпела она, но и от своих единоверцев не раз обижены были рязанцы, тоже нет слов. Но что же теперь-то остаётся: сотворить из обид своих кумира и молиться на него до скончания века? Поостынь, княже, приглядишь: о своём ли животе печётся Москва? Не для всей ли Руси трудится и тоже терпит за то обиды немалые? Гоже ли ныне обидами мериться, чья перевесит? Может, лучше помериться с соседом великодушием и бескорыстием, и он, видя готовность твою, тем же ответит. Опамятуйтесь, дети, не вечно ведь живёте, не делайте друг другу, чего себе не желаете...

На Олега всё это вместе действовало поразительно. «Преже бо того мнози ездisha к нему, и ничтоже успеха и не возмогoша утолити его, — говорит летописец. — Преподобный же игумен Сергей, старец чюдный, тихими и короткими словесы и речми и благоуветливыми глаголы, благодатию данною ему... много беседовав с ним о ползе души, и о мире, и о любви; князь велики же Олег преложи сверепьство свое на кротость, и утишися, и укротися, и умилися велми душею, устыдебoся толь свята мужа, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род».

Может быть, тогда же, в час заключения мира, состоялось междукняжеское сватовство: в московском доме невеста растёт, дочь Дмитрия Ивановича Софья; а рязанскому великому князю сына Фёдора скоро женить пора. Свадьбу, правда, сыграли не сразу, а через лето, в

осенины 1386 года. Видимо, жениху и невесте надо было ещё подрасти немножко до своей брачной поры.

VI

И ещё с одним великим князем едва не породнился в эти же времена Дмитрий Иванович — с Ягайлом Литовским.

Уже упоминавшаяся в связи с русско-литовскими делами Опись 1626 года называет под 1382 годом «докончальную грамоту великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимера Ондреевича с великим князем Ягайлом и з братьею ево...». Видимо, это был договор о мире, к утверждению которого литовскую сторону побуждало внушительное впечатление от русской победы на Куликовом поле. Тогда же или немного позднее была составлена ещё одна грамота: «Великого князя Дмитрея Ивановича и великие княгини Ульяны Олгердовы». В Описи 1626 года о содержании этого несохранившегося документа сказано следующее: «Докончанье о женитве великого князя Ягайлы Олгердова, жениться ему у великого князя Дмитрея Ивановича на дочери, а великому князю Дмитрею Ивановичу дочь свою за него дати, а ему великому князю Ягайлу быти в их воле и креститися в православную веру и крестьянство свое объявити во все люди».

Кажется, мало в нашей древности можно обнаружить акций столь неожиданных, как это «Докончанье о женитве». С кем? С тем самым Ягайлом, который чуть было не выступил у Непрядвы на стороне Мамая? Но вспомним: женитьба князя Владимира Андреевича на дочери Ольгерда тоже ведь явилась для многих неожиданностью. Часто, слишком часто мы вынуждены смотреть на события многовековой отдалённости как бы сквозь слюдяное оконце: очертания частных поступков смазанно-расплывчаты, отдельные линии поведения правительств различаются с трудом, о многом приходится лишь строить предположения. Вернуться хотя бы к обстановке накануне Куликовской битвы. Да, Ягайло подвёл свою рать к Оке. Но что, если вовсе не с расчётом соединить литовские полки с тьмами Орды? Может быть, и он опасался нашествия на свои земли? Будь иначе, действуя литовец заодно с Ордой, он мог бы и не спускаться к Оке, а ударить по незащищённым тылам Дмитрия Ивановича, по той же Москве и её волостям: даровая пожива была ему обеспечена. Как знать, может, не с одним Олегом Рязанским имела у великого князя московского договорённость о «неучастии» в битве, но и с литовским вождем? При таком допущении

переговоры Москвы и Вильно относительно великокняжеской «женитвы» уже не покажутся нам странным историческим анекдотом.

В любом случае значение этих встречных русско-литовских шагов переоценить трудно. Если бы Ягайло стал зятем Дмитрия Донского и принял вместе со всей своей землёй православие, единоверный русско-литовский монолит сразу превратился бы в самую значительную единицу тогдашней Восточной Европы. Впрочем, здесь мы невольно прибегаем к истории со знаком «если бы», к истории в сослагательном наклонении.

В том же 1382 году, когда Дмитрий Донской и Ягайло скрепили печатями dokonчание, умер венгерский король, правитель католической Польши Людовик. Польские магнаты избрали своей королевой дочь Людовика Ядвигу. Ещё до этого Ядвига была просватана за бедного австрийского принца Вильгельма. Когда она утвердилась в краковском королевском замке, Вильгельм прибыл в польскую сторону, обвенчался с Ядвигой. Этот брак пришёлся не по душе столичным вельможам, которых нищий австрийский принц ни в коей мере не устраивал. Вильгельма выдворили из Кракова, а Ядвигу католическое духовенство постаралось убедить, что для блага Польши и Рима будет лучше, если она выйдет замуж за литовца Ягайла и тем самым привлечёт в лоно истинной веры целую землю, простирающуюся к востоку от Польши. Ядвига наконец согласилась.

После кое-каких колебаний согласился на такой брак и Ягайло. Женившись на москвичке, он ведь ничего не приобрёл бы — ни земли, ни славы, да ещё, глядишь, подпал бы под влияние своего тестя. А здесь сразу получит и королевский титул, и целую Польшу под свою власть. Не задумываясь о возможных последствиях поспешности, Ягайло в 1385 году заключил договор с Польшей, известный как Кревская уния. По этой унии Ягайло обязывался креститься в римскую веру, а также обратить в католичество всех своих подданных.

Уния незамедлительно вызвала взрыв возмущения и в Литве православной, и в Литве языческой. Ягайлу отказались подчиниться старшие Ольгердовичи. Антипольское движение возглавил сын покойного Кейстута великий князь Витовт. В 1386 году в Полоцке был схвачен своим единокровным братом Скригайлом участник Куликовской битвы, пожилой уже князь Андрей Ольгердович. Этот противник Ягайлы был посажен в «темной башне», где провёл без солнечного света и надежды на освобождение три года. Его всё же выпустили, но в 1399 году, на исходе XIV века, Андрей Полоцкий пал в битве при Ворскле, где литовцы потерпели поражение от орды хана Тимур-Кутлуя. Тогда же погиб и другой

герой Куликова поля, другой Ольгердович — Дмитрий Брянский, он же Трубчевский, от которого, по преданию, пошёл род русских князей Трубецких.

Несмотря на неудачу в отношениях с Ягайлом, великий князь московский завещает своим сыновьям всячески крепить добрососедские связи с литовскими князьями, тяготеющими к православию, и старший его сын Василий, заняв отчий престол, женится на дочери великого князя Витовта Софье.

Глава четырнадцатая

Сыновьям и внукам

I

А пока первенец Дмитрия Ивановича всё ещё находился в качестве заложника у хана Тохтамыша. Кроме него и тверского княжича Александра под неусыпным призором ханской стражи в Орде жили нижегородец Василий Кирдяпа и сын Олега Рязанского Родослав. Четыре старших сына четырёх великих русских князей. Александр и Василий Кирдяпа были двоюродными братьями, Василий Московский по матери приходился своему тёзке-нижегородцу племянником, да и с Александром был в отдалённом родстве. Но не исключено, что заложники даже не имели возможности видаться друг с другом. Тохтамыш поставил заложничество на широкую ногу, сделал его чем-то вроде постоянной статьи дохода — так-то исправнее будут ему русские улусники дань возить.

Первым не выдержал нижегородец, из четверых самый старший. Он бежал привычной речной дорогой, вверх по Волге. Но не повезло Василию Кирдяпе — в пути его перехватил царёв посол, возвращавшийся из Междуречья, и снова доставил к Тохтамышу.

На остальных заложников это подействовало удручающе. Московский подросток уже три года прозябал в чужом восточном городе, сиротою при живых матери и отце, и тоска по дому одолевала его.

Наконец на исходе осени 1386 года с помощью некоторых верных людей — летописец обтекаемо называет их «доброхотами» — сын Донского приготовился к побегу. В тот год Тохтамыш начал открытые военные действия против своего недавнего покровителя Тамерлана. (Война эта, растянувшаяся на многие годы, в конце концов истощила силы Тохтамыша, привела его к полному политическому краху.) В ставке хана княжич Василий оказался в Заяицких степях, куда «царь силен ис Шамархииския (Самаркандской) земли» пришёл на Тохтамыша, «и бысть им сеча велика». В суматохе сражения Василию удалось ускользнуть от охранников, он переправился через Яик, достиг волжского берега. На ту пору Волга ещё не стала, да и зимник на ней обкатается не сразу, и не убежать ни за что по зимнику: очень уж людно — не дорога, а рыночный

ряд. Если и есть надежда попасть на Русь, то лишь обходными путями.

Судя по тому, что Василий через время оказался в Подолии, а затем в Валахии, у молдавского господаря Петра, бежать ему помогли купцы, шедшие с караваном к Чёрному морю (может, спрятали в каких-нибудь тюках с товарами?). Ясно, что помогали беглецу небескорыстно. Он вряд ли был посвящён во все подробности замысла и его осуществления, но по тому, как к нему относились, как о нём заботились, должен был чувствовать, что в конце концов за всеми этими полузнаемыми и вовсе незнакомыми ему людьми, в той или иной степени обстраивающими его бегство, действует любящая воля отца, незримо, но властно простирающаяся через пространства. Находящийся где-то невообразимо далеко, отец был для него воплощением всесилия почти божественного. Сын пытался вспомнить лицо родителя, его голос, весь его облик, и в этом образе, лишь на миг и с трудом вырываемом из небытия, проступали строгость и острота взгляда, усталый прихмур бровей, глубокая морщина над переносьем, но суровость черт смягчалась нежностью, бьющей как родник из каких-то немереных заочных глубин.

Всесилие отцово виделось даже и в том, что он не побоялся так надолго отпустить от себя сына, и ничего за эти годы с ним, Василием, не случилось, не должно случиться и впредь, скольких бы страхов он ещё ни натерпелся, каким бы долгоокольным ни оказался путь домой, не случится до самой их встречи. Как будто отец испытывал его во все эти годы: достойный ли у него сын растёт? Можно ли будет ему в своё время оставить землю со всеми её людьми?

...Из Молдавии Василий попал в Пруссию, где тогда жил Витовт, сбежавший от Ягайлы, и подросток так полюбился литовскому князю, что тогда-то и состоялось нечто наподобие помолвки; очень уж хотелось Витовту выдать свою дочь за русского, как он предчувствовал, наследника.

Больше года прошло со времени бегства Василия из Орды, и вот наконец в московском великокняжеском доме по всем палатам, светлицам, ложницам, сеням и закутам прозвенело: «Едет! Едет наш сын, брат, племянник!» Дмитрий Иванович выслал нарочных бояр навстречу, а на Боровицком холме суетились, готовились к пированию.

19 января украшенный санный поезд вкатился в ворота Кремля. Сколько бессонных ночей провёл великий князь московский за четыре года разлуки с сыном! Сколько издумано было молча, но вот же, надо и сегодня ему, отцу, не выйти из меры растроганности, не дать воли накипающим счастливым слезам, перебороть судорогу, мешающую говорить.

И может, ещё одно непривычное впечатление кольнуло нечаянно его

сердце; как будто его самого уже нет среди встречающих, но ему предоставлена чудесная возможность зреть *оттуда*, как Москва принимает своего настоящего великого князя.

Не слишком ли рано было Дмитрию Ивановичу поддаваться подобным предчувствиям? В тот же месяц, когда Василия встречали, Евдокия Дмитриевна разродилась ещё одной дочерью, Аней её нарекли. И свадьба намеренно отгуляна: старшая дочь, Софьюшка, выдана за рязанского молодца, самое время теперь внуков вычислять, а не о смерти задумываться!

И иных забот хватало, привычных и непривычных, всегдашних и чрезвычайных.

Среди привычных на первом месте в год бегства Василия оказалась забота новгородская. В который уже раз великого князя всея Руси расстроили вестью: вечники набедокурили! Можно было и не расспрашивать, о чём речь, и так мудроно ошибиться, не угадать: на Волге опять ушкуйничали?

Так и есть. Ватага сколотилась в Заволоцкой пятине, ушкуйники разграбили Кострому, крепко досадили волжскому восточному купечеству. Чем не повод для Тохтамыша затеять погромы в русских улицах Сарая и иных ордынских городов? А то и на южные окраины Руси изгоном кинуться?

По печати самовольства новгородцев, видать, и на том свете различать будут. Сколько ни пишут про них в летописях, они всегда таковы, сызначала и доднесь. Кто же к кому в итоге приноровится: Новгород к остальной Руси или великокняжеская Русь к неумолкающему шуму вечевой браги? Что возобладает: умиряющее единоначалие или многоболтание толпы, подстрекаемой корыстью соперничающих боярских родов? Господь во вселенной един, размышлял великий князь всея Руси, власть земная зиждется по подобию небесной, и потому не за Новгородом великий князь поплетётся, а Новгород пригнёт наконец свою мотающуюся туда и сюда выю.

Волховская толпа привыкла вести себя под стать чересчур разборчивой невесте: разонравится вечевикам призванный из Киева либо из Владимира князь, глядишь, уже отказали князю, иного кличут. Но на Руси было испокон веку господство мужеское, а не бабья прихотливая власть. Москва, когда ещё маленькой была, при Дмитриевом предке князе Юрии Долгоруком, уже и в ту пору умела новгородцев приструнить. Тот Юрий, не поладив со строптивыми вечевиками, тут же, бывало, перерезывал у Волока Дамского речной торговый путь, по которому

новгородцы себе с волжского юга хлеб возили (своего-то, местного, никогда им от урожая до урожая не хватало). И пятилась тогда новгородская толпа, наряжала ко князю послов с подарками да извиненьями.

Нынешний разлад пусть и был под стать недавним, но сколько же и терпеть-то! В московском правительстве возобладало мнение: надо идти на Новгород ратью. До войны не допустить, бояре и сами, пожалуй, не сунутся, подожмут хвосты, но всё же рать нужно поднимать великую, подобно той, что Дмитрий Иванович сплотил против Твери одиннадцать лет назад. Надо, чтоб новгородцы уразумели: для всех русских земель сделался несносным их разбойный пошиб, скоро на них станут люди пальцем показывать, как на вторых ордынцев.

Поскакали из Москвы гонцы с грамотами великого князя. И опять, как в 75-м, как в 80-м годах, потекли к месту сбора полки — городские, удельно-княжеские. Двадцать девять ратей насчитали воеводы, уряжая ополчение. Это не шутейный сбор, такого воинства и против Твери не выставляли.

Думал ли когда Дмитрий Иванович, что придётся ему вести войско на старейший русский город? Честь невелика, а пришлось. Выступили зимой, когда наименьшей была южная, ордынская опасность. Московская рать остановилась в тридцати верстах от Новгорода, и впереди, в отдалении, будто перелески, темнели в снегах новгородские полки. Приехали челобитчики от вечевиков с просьбой о мире, но Дмитрий Иванович их не принял. Не так уж был он гневен, больше показать хотел свою непреклонность, чтобы как следует острастить новгородцев, — пусть и при детях его безропотно слушаются великокняжеской Москвы. Прибыл с челобитьем новгородский владыка Алексей. И ему сказал великий князь, что мириться с виновниками не станет, но требует их выдать или накажет весь город, если не выдадут.

Новгородцы, возбудив себя отчаянной отвагой круговой поруки, изготовились к осаде, даже пожгли окрестные монастыри и посадские улицы, но... всё же ещё раз упросили владыку своего выехать на переговоры. Он пообещал Дмитрию Ивановичу, что виновники грабежей на Волге будут пойманы, а пока Новгород даёт за них откуп в 8 тысяч рублей.

Так закончилось это розмирье с Новгородом, последнее в жизни Дмитрия Донского, но, к сожалению, далеко не последнее на веку его потомков. Однако намеченная им линия на обуздание новгородской боярской самостийности будет усвоена наследниками его объединительной

внутрирусской политики и принесёт сто лет спустя свои благие плоды.

II

Вообще, во многих государственных решениях и действиях великого князя московского в эти годы наличествовало то, что позднее могло прочитываться его преемниками и последователями как образец для подражания, своего рода политический завет.

Он был сыном своего века. Как личность, как полководец и правитель он вышел из недр удельной, разобщённой Руси, привыкшей к особничеству княжеств, земель, городов. Ломать привычки было непросто, и в своих драматических отношениях с князьями-соревнователями московский князь далеко не всегда умел противопоставить их обычным средствам борьбы свои новые, более высокого порядка средства.

Но, как никто из его соперников и соревнователей, Дмитрий Донской стремился к поиску таких новых средств. И в этом смысле он также был сыном своего века, потому что сам век поворачивал на новое, Русь на пепелищах прорастала иная. Иван Калита не брезговал, по обычаям той поры, приглашать татар для расправы над своими противниками-единоверцами. Его внук раз и навсегда отказался от этого позорного обычая, как и от многих других, позаимствованных русскими князьями у золотоордынцев в самые глухие времена ига.

Нужны были работники, чтобы запахивать и заваливать старинные междукняжеские межи. Дмитрию суждено было оказаться одним из первых в их числе, при нём межи пока оставались, но сознание уже было подготовлено к великим переменам. Борьба с «ненавистной рознью мира сего» (слова Сергия Радонежского) осложнялась тем, что в представлениях княжеско-боярского большинства местное, частное начало, как правило, ещё преобладало над общим. Редко кто умел посмотреть на свою собственную землю с высоты птичьего полёта, чтобы увидеть её скудость, ничтожность, но — одновременно с этим — богатство и бескрайность пространств всей Руси, эту его земельку обнимающих. Каждое из великих русских княжеств считалось самостоятельной, неприкосновенной, раз и навсегда учреждённой политической единицей. Чужое княжество во время усобицы можно захватить, разграбить, принудить его правительство к невыгодным договорным условиям, но никому не позволено это княжество упразднить, разделить между соседями, отменить как таковое. К примеру, Дмитрий Московский,

несмотря на свои военно-политические победы над Тверью, Рязанью, Суздальско-Нижегородским и Смоленским великими княжествами, не мог ещё и помыслить о том, чтобы на правах победителя присвоить Москве то или иное из этих княжеств. Ряд таких присвоений позднее неминуемо начнётся, уже при его сыне начнётся. Постепенно исчезнут с политической карты средневековой Руси как самостоятельные единицы Нижегородское великое княжество, Тверское, Рязанское, Новгородская вечевая республика. Но для того чтобы земле свыкнуться с такой возможностью, с неумолимостью подобного хода вещей, нужно было ещё время и время.

А пока было всего наперечёт людей, которым посчастливилось хоть раз-другой за целую жизнь оглядеть свою Русь с высоты орлиного реяния, и среди них смело можно назвать внука Калиты.

Удельная, многоверховная Русь, предчувствуя свои последние сроки, спешила высказаться до конца, выразить все внутренние возможности. Предельно напряжённым противоборство старого и нового стало именно в годы княжения Дмитрия Донского. Ему пришлось противодействовать людям великих страстей, ярчайшим представителям старого уклада и привычного мировоззрения. Воинское объединение стало тогда прообразом объединения государственного, общенационального, и Куликовская победа была не только над внешним врагом, но и над внутренним раздором.

Государственное объединение не могло осуществиться иначе, как через решительное преобладание единовластия над местным, областным многовластием. В свою очередь, порядок единодержавия не мог победить до тех пор, пока не был установлен новый способ передачи власти в правящем великокняжеском роду.

Лично Дмитрий Донской приложил немало сил к утверждению такого нового способа наследования власти, и, хотя в последние годы жизни это и стоило ему великих нравственных переживаний, он сумел довести начатое до конца.

Личный опыт, мнение единомышленников, свидетельства летописей и устного предания — всё убеждало великого князя, что право *бокового* — от брата к брату — наследования власти себя не оправдывает и назревает пора для его решительного искоренения. Стол должен переходить после смерти великого князя, сколько бы ни было у него братьев, *прямо* к старшему сыну покойного, и от того — опять же старшему его сыну, а не к братьям. Древо власти должно расти вверх, в ствол, а не по бокам. Только если князь умирает без наследников, стол может отойти к его брату.

Сколько помнил себя Дмитрий Иванович, не было у него среди сверстников — с самых детских лет начиная и доньше — более близкого

друга, верного товарища, исполнительного помощника, чем его двоюродный брат Владимир Андреевич. Не одно десятилетие прожили они душа в душу, действовали согласованно в делах мира и войны, не ведая ни зависти, ни подозрительности, деля поровну тяготы и радости. Младший служил великому князю московскому исправно, на совесть, как бы служил он своему отцу.

Не раз, исполняя наказы Дмитрия, ходил Владимир ратями — то на Ржеву, захваченную литовцами, то на рязанцев, то против брянских перемётчиков; наезжал с важными правительственными поручениями в Новгород и Псков; десятилетиями укреплял порубежные с Литвой города на западе Московии; зато не обделял его старший брат ни почётом, ни земельными угодьями, ни полной чашей за пиршественным столом. И терема-то их московские рядом стояли на боровицком взлобке, по-братски опершись друг о друга, хотя Владимир и свой удельный стол с теремным строением поставил в Серпухове.

По обычаям тех времён, их отношения, несмотря на свою выразительнейшую полубовность, подлежали обоснованию и письменному закреплению в соответствующих договорных грамотах. Первое «докончание» братьев, составленное в год строительства белокаменного Кремля, и начиналось как раз с того, что Владимир обещал «имети брата своего старейшего, князя великого, Дмитрия, во отца место».

Позже, когда у Дмитрия Ивановича появились сыновья, возникла надобность в новом «докончании». По нему Владимир уже не только считал «брата своего старейшего, князя великого, себе отцем», но и первенца Дмитриева обязывался почитать как старшего брата. Иными словами, это означало, что если вдруг Дмитрий умрёт или погибнет, то великий стол московский перейдёт к его первенцу, которому Владимир обязан будет служить так же истово, как служит ныне Дмитрию.

Вторая грамота, как и первая, составлялась при участии митрополита Алексея, с его благословения. Поскольку в других грамотах этой поры — с литовцами, с Михаилом Тверским — вслух объявлялось, что великое княжение Владимирское — вотчина Дмитрия Ивановича, наследственное владение его семьи, то ясно, что он надеялся закрепить её отныне и навсегда за своим потомством.

Надо думать, что уже во времена второго «докончания» Владимир Андреевич свыкался с мыслью о *прямом* наследовании, как ни нова, как ни ошеломительна была она на слух княжеской и боярской Руси.

Летописцы не говорят о причинах ссоры, которой омрачился для двух внуков Ивана Калиты конец 1388 года. Известно лишь о властных и

суровых мерах Дмитрия Ивановича, повелевшего схватить всех старейших бояр своего двоюродного брата, развести их по разным городам и держать в узилищах.

Историки обращают внимание как на причину кары на то, что будто бы накануне Владимир Андреевич занял силой некоторые сёла и угодья, принадлежавшие Дмитрию Ивановичу. С другой стороны, известно, что великий князь отнял у брата его уделы в Галиче и Дмитрове.

Слишком выразительными были многолетние отношения братства и содружества между двумя внуками Калиты, чтобы не объявилось завистников и подстрекателей. Стремительная расправа великого князя над боярами Владимира Андреевича как будто указывает: ветер задул именно отсюда, из боярского окружения серпуховского вотчинника.

Ко времени ссоры Дмитрий Иванович был уже сильно нездоров. Многие, видимо, догадывались, что дни его сочтены. Кто же займёт московский, а с ним и владимирский, всерусский стол? Семнадцатилетний отрок Василий Дмитриевич или прославленный военачальник, энергичный строитель и рачительный хозяин, герой Куликовской битвы тридцатипятилетний Владимир Андреевич? Сын великого князя или двоюродный брат? Правнук или внук Ивана Даниловича? Племянник или дядя?

Строки «докончания» десятилетней давности гласили: сын, племянник. Многовековая привычка упорно противоречила: брат, дядя.

Видимо, сам Владимир Андреевич как-то растерялся, дал убедить себя красноречивым и небескорыстным своим боярам (они бы очень много приобрели, сделавшись однажды из удельных великокняжескими).

Словом, всё могло пойти очень далеко. Гнев старшего, а с другой стороны, обида младшего, теперь уже «младшего» по отношению к собственному племяннику (!). И долго ли ему так вот «молодеть»? Состояние обоих было, кажется, настолько несхожим, не сводимым к какой-то общей основе, как и права, стоявшие за спиной у каждого. Такой ссоры хватило бы вполне, чтобы навсегда перечеркнуть всё созданное, всё выстраданное ими совместно.

Но некое высшее спасительное чувство взаимно совершаемой несправедливости остановило их однажды обоих, воспрепятствовало сделать следующие непоправимые шаги. Младший повинился и подчинился, как и положено младшему. Старший простил, но также и сам повинился в грехе гневливости, возбуждённой острой тревогой за судьбу дома, рода, княжества, земли. Естественно, Владимиру само примирение далось трудней: ему приходилось переступить через свои несбывшиеся

политические надежды. И не только свои, но и своих детей. Он сделал этот шаг.

И летописец со вздохом облегчения сообщал, что 25 марта 1389 года, в великий праздник, «на Благовещение пречистыа Богородицы», князь московский с братом своим двоюродным «взя мир и прощение».

Принято считать, что в этот же день было заключено между ними новое, третье по счёту, «докончание». Дмитрий Иванович, ещё раз определяя в нём уровни соподчинённости в московском доме, обращался к братану со следующим условием: «Тобе, брату моему младшему и моему сыну, князю Володимеру Андреевичу, держати подо мною и под моим сыном, под князем под Васильем, и под моими детьми княжение мое великое честно и грозно. А добра ти мне хотети и моим детям во всем. А служити ти мне без ослушанья».

И далее, как и в каждой такого рода грамоте, неспешно, по-хозяйски уточняли князья границы своих владений, перечисляли взаимные обязанности.

Так одолелся разлад. Но только ли вдвоём справились братья с великим искушением? В который раз уже понадобилось им и теперь мудрое наставительство троицкого игумена. Престолонаследный спор пришлось разрешать именно Сергию. Он без колебания стал на сторону великого князя, благословил новый устав преемства державы — по прямой, по сыновней линии. Устав, который и есть, собственно, основной принцип самодержавия.

«И вот, — поясняет позднейший церковный автор, — охранение этого столь важного постановления, которому не только Москва, но и вся Россия навеки обязана укреплением единой самодержавной власти, было вверено Промыслом Божиим не кому иному, как великому печальнику земли Русской Преподобному Сергию!.. Его драгоценная для нас подпись украшает и скрепляет это великое по своему значению государственное законоположение».

«Докончание» от 25 марта 1389 года явилось одной из последних грамот, которую Дмитрий Иванович скреплял своей великокняжеской печатью. Отныне жить ему оставалось менее двух месяцев.

III

Что за болезнь одолевала и одолела наконец его в ту весну? Автор «Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» (есть

основания считать, что им был Епифаний Премудрый) говорит об этой болезни следующее: «Потом разболеся и прискорбен бысть вел ми, и паки легчая бысть ему, взърадовашаяся великая княгини и сынове его радостию великою и велможа его; и паки впаде в болшую болезнь, и стенания прииде в сердце его яко и внутренним его торзатися, и уже приближися ко смерти душа его».

Приведённого отрывка, кажется, явно недостаточно, чтобы задним числом можно было по нему составить хоть какое-то подобие медицинского заключения. Правда, из слов «стенания прииде в сердце его» как будто следует, что речь идёт именно о сердечном заболевании. Можно вспомнить описание внешности великого князя московского в возрасте тридцати лет, известное по «Сказанию о Мамаевом побоище»: «Телом велик, и широк, и плечист, и чреват велми, и тяжек собою зело...» Оно вроде бы даёт представление о некоторой избыточной тучности князя, болезненной полноте. Можно вспомнить и о ранней смерти отца Дмитрия Донского, Ивана Ивановича Красного.

Всё это можно вспомнить, но всего этого недостаточно, чтобы иметь перед собой чёткую картину заболевания и доказательную причину ранней смерти. Описание наружности великого князя, приведённое выше, можно ведь толковать и так и сяк, оно вполне согласуется с представлениями древнерусского человека о телесной мощи, богатырской силище, которая и должна быть *тяжкой*: под такую силой дрожит и пятится боевой конь, прогибается сама земля.

Важнее о другом вспомнить. Дмитрий за прожитые десятилетия слишком утрудил себя, он этими утруждениями оказался к себе нещаден, не знал или не хотел знать тут меры. Той самой меры, *мерности*, которая, казалось бы, должна была составлять и во многом составляла существо его поведения как правителя «всея Руси». Начиная с детских лет, с первоначальных жизненных впечатлений и испытаний, он всегда имел дело с событиями и явлениями сверхмерными, на этом именно фоне промчались его годы: то пожарные зарева во всё небо, то ужасные своей незримостью бури моровых болезней, то чёрные ненастья междоусобиц, то суховеи ордынских набегов... Затем тяжкой, изнуряющей засухой нашёл год 80-й, и только осенью всё разрешилось великой, очищающей душу грозой. Та гроза ему, всей Руси жизнь дала новую, но и крепко оцарапала его корешками молнийных разрядов... А неподъёмная, казалось бы, затея строительства каменного Кремля? А рискованнейшие многолетние неуплаты «царского выхода» в Орду? А сожжение Москвы Тохтамышем? А огорчительное церковное неустройство? А беспокойство родительское о

детях, попечение каждодневное о сиротах, вдовах, о бездомных и обиженных, о бесправных, о калеках, о голодных и раздетых, о плачущих, страждущих, пленённых... Нет-нет, княже, не в меру досталась тебе ноша (да и кому, спрашивается, пришлась бы она в меру?). Вот тут-то, княже, и корень твоего недуга: слишком многое пришлось начинать, слишком многое сметать с пути — и всё за такой короткий срок.

Герои не умирают стариками. Их личное время уплотнено, как старинная книга, стиснутая кожаными застёжками до такой степени, что и вода не в состоянии проникнуть внутрь страниц.

В жизни куликовского вождя не было разжиженности, промежутков, необходимых для самовосстановления. За сорок неполных лет он пережил столько, что этих событий вполне хватило бы на срок, вдвое больший, — и для политика, и для воителя, и для родителя, — и осталось бы ещё изрядного лишку.

Древний жизнеописатель сказал о нём, что он был добрый и крепкий кормчий своей плоти, имея в виду его умение обуздывать себя, одолевать душевные и физические немощи. Но весной 1389 года телесный состав перестал подчиняться его воле.

Великая княгиня Евдокия была сейчас на сносях, и, чувствуя, как полнится и прибывает ещё одна жизнь внутри её, она со страхом видела, что одновременно с этим неумолимо иссякает жизнь её мужа и господина.

Они отпраздновали вместе Светлое Воскресение, больной разговелся куличом и пасхой, а красным праздничным яйцом чокнулся с детками и порадовался за них, что разбилась его крашенка. Не суевер же он, чтобы печалиться по такому поводу. Чему быть, то и будет... Теперь на воле, на солнышке, на зелёных московских горках малышня катает в траве крашеные яйца, как и он в детстве самозабвенно катал, совсем ведь недавно... Он старался сейчас быть радостным, как и подобает всем в праздник праздников, но видел: никогда в их семье весеннее торжество не сопровождалось такой внутренней скованностью, напряжённостью.

А вскоре тяжело заболел их сын Юрий. Боялись: не моровое ли поветрие перенеслось в Москву из Пскова, в котором, слышно, оно косило сейчас людей нещадно? Но обошлось с Юрием, пошёл он на поправку.

Весна преполовинилась. Остро запахла на солнце тополиные почки, а ближайšie к городу берёзовые рощи обдало зелёным туманом. В огородах жгли старую травную ветошь, ворошили заступами отогревшуюся, подсохшую землю; голова кружилась от её свежего духа, от мельтешни скворцов. Иногда порывами ветра из-за Москвы-реки доносило подоблачную звень жаворонков. Невозмутима поступь жизни, величавое

спокойствие заключено во всех этих самоупоённых трелях, звяках, шорохах, дуновениях, никакой боязни за будущее.

В один из таких дней Дмитрий Иванович попросил, чтобы съездили в Троицкий монастырь за игуменом Сергием и к его прибытию собрались бы у него старейшие бояре княжого совета. Он желал составить духовное завещание и хотел, чтобы главным послухом при составлении грамоты был радонежский игумен.

Успели собраться вовремя. И опять, как всегда в таких случаях, ему важно было сейчас не торопиться, а, подобно толковому сеятелю, так рассыпать семена, чтобы ни одна борозда, ни одна пядь земная не оказалась порожней.

Московские свои владения он поделил между четырьмя старшими сыновьями. А затем распределил и княжество: Василию — Коломну с волостями и сёлами, Юрию — Звенигород, также с волостями и сёлами, Андрею — Можайск и округи его, Петру — Дмитров с окрестными хозяйствами; не забыл и слабого здоровьем, немощного сына Ивана, и ему выделил угодьице в меру его небольших нужд.

И прикупленные дедом земли и города, и свои прикупы и прибыли также между сынами поделил. Назначил и великой княгине своей волости, сёла, починки, бортные промыслы и прочие угодья. Если родит она сына, то пусть по своему усмотрению наделит и его, взяв по части у старших сыновей.

Подробнейше, со счётом до рубля и даже до полтины, определил, кто из сыновей сколько обязан вносить в общую казну, из которой князь Василий будет брать для «выхода» ордынского. «А переменит Бог Орду, — записал по его слову дьяк, — дети мои не имут давати выхода в Орду, и который сын мой возмет дань на своем уделе, то тому и есть».

Поделил он и драгоценности домовые из великокняжеской скарбницы, сильно потрёпанной во времена нашествия Тохтамыша.

И ещё не забыл напомнить: «А вы, дети мои, слушайте свое матери во всем, из ее воли не выступайте ни в чем. А который сын мой не имеет слушати свое матери, а будет не в ее воли, на том не будет моего благословенья».

В самом конце грамоты перечислялись имена послухов, удостоверявших её истинность, полноту и законную силу. Кроме игумена Сергия, при составлении великокняжеской духовной присутствовали виднейшие его бояре, в том числе военачальники, участники Куликовской битвы. Были тут Дмитрий Михайлович Боброк, Тимофей Васильевич Вельяминов, Иван Родионович Квашня, Фёдор Андреевич Кобылин, были

и люди помоложе — Иван Фёдорович Собака-Фоминский, братья Фёдор Свибло, Иван Хромой и Александр Остей.

К ним ко всем обратился теперь великий князь с прочувствованным словом.

— Други мои, — сказал он, — вы знаете обычаи и нрав мой, потому что пред вами родился я и возрос и с вами царствовал, отчину мою, великое княжение, содержал двадцать семь лет, с вами на многие страны мужествовал, вами в бранях страшен был... Божию помощью низложил врагов своих и покорил их, с вами великое княжение весьма укрепил и мир и тишину княжению своему сотворил; великую же честь и любовь к вам имел и под вами города держал и великие волости, и чад ваших любил, никому из вас зла не сотворил, не отнял ничего силою, не досадил, не укорил, не разграбил, не обесчестил, но всех в чести великой держал, радовался и скорбел с вами; вы ведь не бояре у меня называетесь, но князи земли моей... Ныне же, по отшествии моем от маловременного и бедного сего жития укрепитесь, чтобы истинно послужить княгине моей Евдокии и чадам моим от всего сердца; во время радости повеселитесь с ними и во время скорби не оставьте их, да скорбь ваша на радость пременится.

Автор «Слова о житии», воспроизведший это обращение больного князя к своим служилым людям, при их беседе не присутствовал и потому не мог передать княжескую речь буквально. Но он выразил главное: дух доверительности, товарищеского согласия, который главенствовал в отношениях великого князя и его соратников.

IV

16 мая Евдокия родила мальчика, названного Константином. Но Дмитрий Иванович уже не смог подняться, чтобы подойти к ней и поблагодарить мать своих детей.

Что всё же станется с детьми его и женой без него? Что вообще будет после него с Москвой, с землёй? Каким усилием ума и воли придержать край глухой завесы, неумолимо простирающейся между ним и всем живым? Ничего не желал бы иного, кроме чудесной возможности видеть, как всё будет без него, видеть всё — худое и доброе, без утайки, сорадуясь и сострадая...

И если бы вопреки законам естества была хоть на малый миг дарована ему такая чудесная возможность, то, преодолевая тяжесть собственной плоти, превосходя пределы зрения, он бы увидел, ощутил и испытал

воочию, как расширяется мягкими толчками земля, и обрастают окоёмы новыми и новыми сине-зелёными далями, и среди лесов светлеют города его сыновей с соборами цвета слоновой кости, в круглых зелёных гнёздах насыпных валов, с кипением празднеств на площадях; и ещё один плавный мах, возносящий его, и теперь уже видны грады иных княжеств; всюду тишина, тёплые струи воздуха переливаются и слоятся, стада залегли на лугах и дремлют, седая пыльца окутала ржаные нивы, а по душистым и жарким полянам расстелились алые ковры ягод... но вдруг резко накренилось и зыбилось всё внизу, тошнотворно и шатко уменьшалась земля в размерах, заволакивало дымом леса, и по речным руслам текли струи пламени; скрипели на дорогах обозы, в клубах пыли летели конные сотни, раздражающе невпопад бухали колокола; копали землю для великих могил; и сердце его тоже сокращалось под стать земле от непереносимой тоски... но тут его ожидало видение ещё страшней: молодого князя — внука? правнука? — братья его держат за руки и поперёк туловища, в распяленный рот его запихнут убрus, и кто-то, сопя, выкалывает ему глаза, и где? — под соборными сводами на Маковце! Какой ужас, какой позор!.. Но потом отнесло его в иное, неузнаваемое пространство, густо валил снег, и в белых полях темнели две рати по обоим берегам незамёрзшей, дымящейся паром тёмной реки, и та, чужая рать наконец заколебалась, стала пропадать, тонуть в белом, пока не исчезла из видимости, снег же всё сыпал и сыпал, радостный, крупный, тяжёлый, шепчущий что-то по-русски, и на глазах заполнял собою копытные лунки, пока всё поле на сотни вёрст не стало чистым, светлым и не слилось со светом небесным... И дальше ему открывалось: великий город, чем-то волнующе памятный, но как будто и не Москва, потому что где же белокаменный Кремль, где дедовы храмы? Всё новое, громадное, хотя на тех же самых местах — пятиглавые соборы, краснокирпичные крепостные стены и улицы вразбег и врассып, терема, усадьбы, сады, посадки, запруды, мельницы, табуны и стада... Но вновь содрогалась земля, и горели те улицы, долго струился режущий глаза чад, пока не звякал где-то первый робкий и прислушивающийся топорик... А дальше только зарницы были видны и звуки доносились совсем невнятные, так что и не различить: радуются ли, плачут? Но и там, догадывалось сердце, всё ещё было родное, всегдашнее, понятное, живое... Наконец увидел он и поле — в золоте выцветших сентябрьских трав, тихое, умиротворённое, обласканное последними нежаркими лучами, натруженное поле свободы, чести и славы... И вырывался из его сердца тихий стон облегчения, он недвижно смотрел из этого далека на свою семью просветлённым истрадавшимся взглядом.

...Евдокия ещё с трудом вставала, когда ему сделалось совсем плохо. Старшие сыновья спали кое-как, стараясь в ночные часы не отходить от изголовья отца.

Он почил при первом утреннем свете 19 мая, на третьей сутки после рождения своего последнего сына.

Когда Евдокия зарыдала над телом мужа, он был так тих и внимателен, как будто слышал слова её плача, песню русской вдовицы, возвышенный гимн любви, донесшийся и к нам через века.

«Како умре, животе мой драгий, — причитала она, — мене едину вдовою оставив? почто аз преже тебе не умрох? како заиде свет очию моею? где отходиши, сокровище живота моего? почто не промолвиши ко мне, свете мой прекрасный? что рано увядаеши, винограде многоплодный? уже не подаси плода сердцу моему и сладости души моей! чему, господине, не взозриши на мя, не промолвиши ко мне? ужели мя еси забыл? что ради не взозриши на мя и на дети своя? чему им ответа не даси? кому ли мене приказываешь? Солнце мое, рано заходиши! месяц мой красный, рано погибаеши! звездо восточная, почто к западу грядеши? Царю мой, како прииму тя или послужу ти? Господине, где честь и слава твоя, где господство твое? Государь всей земли Русской был еси, ныне же мрътв лежиши, ничим же не владееши; многия страны примирил еси и многия победы показал еси, ныне же смертью побежден, изменился слава твоя и зрак лица твоего пременился во истление! Животе мой, како повеселюся с тобою? за многоценныя багряницы худыя сия и бедныя ризы приемлеши; за царский венец худым си платом главу покрываеши; за полату красную гроб приемлеши. Кому приказываешь мене и дети своя? немного порадовался с тобою: за веселие плач и слезы приидоша ми, а за утеху и радость сетование и плач явимися; почто аз преже тебе не умрох, да бых не видела смерти твоей и своя погибели! Не слышиши ли, господине, бедных моих слез и словес, не смилят ли ти ся моя горкия слезы? Звери земныя на ложа своя идут, и птицы небесныя ко гнездом летят, ты же, господине, от дому своего напрасно отходиши...»

Словно сейчас голосом безутешной Евдокии сама земля Русская оплакивала своего возлюбленного сына.

V

Хоронили его 20 мая, и гроб был положен в великокняжеской усыпальнице, под сводами Архангельского собора, рядом с гробницами его

отца, дяди, деда. Проститься с ним пришла вся Москва от мала до велика, и рыдание общее было таким громким, что временами совсем заглушало голоса певчих.

В память о нём ещё не были сложены слова воинских повестей и сказаний, но в тот год в светлице княжого терема женщины вышивали великий и дивной красы «воздух» — пелену с изображением Спаса, и в числе многих других поясных фигур поместили святого воина Димитрия Солунского и равноапостольного князя Владимира Киевского — небесных покровителей Дмитрия Донского и его двоюродного брата. Эта пелена, которой смогли вскоре полюбоваться москвичи, стала первой памятью о почившем герое, её вышивали под началом тётки Дмитрия, великой княгини Марии Александровны, вдовы Семёна Гордого.

Летом 1391 года москвичи стали свидетелями необычайного торжества. Накануне к великому князю Василию Дмитриевичу явились три знатных ордынца из ханской свиты: Бахтыхозя, Кыдырхозя и Маматхозя. Они сказали о своём желании служить московскому дому и принять православие. Их крестили не в церкви, а прямо в Москве-реке, и все жители столицы пришли, чтобы поздравить их, потому что такое событие значило не меньше, чем иная воинская победа.

В 1393 году в Кремле по воле великой княгини Евдокии Дмитриевны началось строительство белокаменной церкви Рождества Богородицы — в память о великом сражении, состоявшемся в день этого праздника. В память о муже. Церковь эта частично сохранилась до наших дней.

По преданию, Евдокия положила начало и строительству московского Рождественского монастыря на Кучковом поле, также посвящённого событиям 8 сентября 1380 года. И ещё одну стройку тех лет предание связывает с памятью о Куликовской битве — Бобренёв монастырь в окрестностях Коломны. Считается, что в его сооружении участвовал Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец.

В 90-е годы XIV века, по распространённому в среде учёных мнению, были написаны «Задонщина», «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича». Память ширилась, обогащалась, запечатлеваясь в художестве, в камне, в слове, устном и письменном.

Следуя правилу старинных романистов, хочется сказать теперь коротко о дальнейших судьбах тех, кто был связан с судьбой Дмитрия Донского.

8 октября 1392 года преставился игумен Троицкого монастыря Сергей Радонежский. Это о нём напишет историк В. О. Ключевский: «Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на

такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна».

Спустя около четырёх лет, 26 апреля 1396 года, не стало выдающегося просветителя народов Урала Стефана Пермского.

В последнем году уходящего века умер великий князь тверской Михаил Александрович, самый упорный, необузданный и неразборчивый в средствах из русских соперников Дмитрия Донского.

В июне 1402 года умер своей смертью великий князь рязанский Олег Иванович, и тело его положили в каменный гроб в построенном им Солотчинском монастыре.

7 июня 1407 года в Москве скончалась великая княгиня Евдокия Дмитриевна, пережившая своего супруга на 18 лет. Существует предание, что под княжеской одеждой на теле покойной были обнаружены вериги, которые она тайно носила во все годы своего вдовства.

Осенью 1409 года к стенам Москвы подошли войска Едигея, оскорблённого тем, что князь Василий уже много лет не ездит в Орду сам и не шлёт туда своих послов, не собирает ордынской дани. Москву обороняли пятидесятишестилетний князь серпуховской Владимир Андреевич и сын Дмитрия Донского Андрей Можайский. После безуспешной трёхнедельной осады Едигей отошёл от крепости.

4 мая 1410 года князь Владимир Андреевич Храбрый, он же Донской, скончался в Москве и был погребён рядом со своим двоюродным братом в Архангельском соборе Кремля. Сыновьям Дмитрия он служил так же «честно и грозно», как когда-то и ему самому.

Около 1420 года умер писатель Епифаний Премудрый, автор житий Сергия Радонежского и Стефана Пермского, и, как предположительно считается, «Слова о житии» Дмитрия Ивановича.

В 1422 году скончался бездетным князь Пётр, один из сыновей Донского вождя. Он укрепил завещанный ему отцом Дмитров, украсил его белокаменным строительством.

В 1434 году скончался Юрий Дмитриевич, княживший по отцовой воле в Звенигороде. Он также немало строил, и от его дней остались в Подмоскovie три дивных каменных собора.

А великий князь Василий Дмитриевич дожил до 1425 года. В меру своих сил он продолжал дело отца, и самым значительным успехом его внутригосударственной политики принято считать присоединение к Москве Суздальско-Нижегородского княжества, а также Муромского и Тарусского княжеств. Великий князь Василий приступил к строительству новых оборонительных сооружений в Москве — по границам Китай-

города.

Здесь не место давать пространный очерк деятельности сыновей-Дмитриевичей и их отношений друг с другом, далеко не всегда гладких. Узаконенное их отцом право прямого наследования власти подверглось в эту эпоху суровейшим испытаниям на прочность. Тем самым испытывалась жизнестойкость зарождающегося Великорусского государства.

В эти годы засияла на Русской земле «Троица» Андрея Рублёва, родились другие творения кисти гениального художника.

Подрастали новые поколения. Рождались те, для кого имя Дмитрия Донского было такой же отдалённо-величавой вехой, как в свою пору для самого Дмитрия имя Александра Невского.

Московская Русь становилась всё более весомой величиной на политической карте Евразии.

В 1480 году противостоянием русской и ордынской ратей на реке Угре закончилась эпоха освобождения Руси от иноземного ига, начатая 8 сентября 1380 года.

Сто лет понадобилось, чтобы довершить дело Дмитрия Донского и его единомышленников. А от нашествия Орды до Куликовской битвы, как помним, ещё больше — почти полтора столетия лет миновало. Два с половиной века жить с тяжелейшим грузом на шее — за такое время иное государство было бы вконец расплющено, стёрто с лица земли.

Но Русь выстояла. Она сжалась, сократилась до предела, пошла на невероятную убыль, на неслыханные жертвы, чтобы потом, в XVI веке, начать стремительный рост, расширение, обживание неведомых громадных пространств, приятие в свой состав новых народов и вер.

В 1988 году, в дни юбилейных торжеств по случаю 1000-летия Крещения Руси, состоялся акт церковной канонизации святого благоверного князя Димитрия Донского, который на протяжении многих веков после своей кончины входил в число московских местночтимых святых, а теперь, спустя почти шесть столетий, был внесён в общецерковные святцы.

Более шести веков отделяют нас ныне от короткой, стремительной жизни святого князя Димитрия, от битвы, обессмертившей и его имя.

Но XX век с его страшными войнами и нашествиями ещё более обострил и закалил наше историческое чувство. И чем тяжелее были испытания, выпавшие в том веке на долю Отчизны, тем ярче, призывней горели в её небе имена великих сынов России, положивших когда-то свои души за други своя.

Истинно так было и будет.

Основные даты жизни и деятельности Дмитрия Донского

1350, 12 октября — в семье князя Ивана Ивановича Красного родился сын Дмитрий.

1353, 26 апреля — умер великий князь московский и владимирский Симеон Иванович Гордый, дядя Дмитрия.

6 июня — умер князь Андрей Иванович, дядя Дмитрия.

15 июня — родился князь Владимир (будущий Храбрый, Донской), двоюродный брат Дмитрия.

1354, 30 июня — поставлен на русскую митрополию епископ владимирский Алексей, сын московского боярина Фёдора Бяконта, фактический глава Русского государства в малолетство Дмитрия.

25 марта — во Владимире венчался на великое княжение отец Дмитрия, Иван Иванович Красный.

1359, 13 ноября — умер великий князь московский и владимирский Иван Иванович.

1359–1361 — между этими годами Дмитрий впервые ходил в Орду.

1362 — Дмитрию дан ярлык на великое княжение Владимирское.

1362, 1363, 1364 — три похода великого князя Дмитрия Ивановича против нижегородско-суздальских князей.

1364, 23 октября — умер младший брат Дмитрия Ивановича Иван Малый.

27 декабря — скончалась великая княгиня Александра, мать Дмитрия Ивановича.

1366, 18 января — женитьба Дмитрия Ивановича на нижегородской княжне Евдокии Дмитриевне.

Зима — в Москве начато строительство белокаменного Кремля.

1368 — «Третьейский суд»: митрополит Алексей и Дмитрий Иванович приглашают в Москву Михаила Александровича Тверского. Начало усобицы между Москвой и Тверью.

Ноябрь — трехдневная осада Москвы войсками Ольгерда.

1369 — Дмитрий Иванович заложил новую крепость в Переславле-Залесском.

1370, 6 декабря — войска Ольгерда и его союзников снова подошли к стенам Москвы.

1371 — Дмитрий Иванович совершил поездку в Мамаеву Орду.

В этом же году Дмитрий Иванович заключает договор с Великим Новгородом.

14 декабря — московская рать разбивает рязанцев при Скорнищеве.

1372 — у Дмитрия Ивановича родился сын Василий, будущий великий князь московский и владимирский.

1373, июль — столкновение войск московского князя с литовцами у Любутска. Перемирная грамота Дмитрия Ивановича с Ольгердом. 1374 — розмирье Дмитрия Ивановича с Мамаем.

1375, 5 августа — общерусское ополчение под началом Дмитрия Ивановича начинает осаду Твери.

Сентябрь — мирный договор между Москвой и Тверью.

1376 — Дмитрий Иванович водил полки на окский рубеж для предупреждения возможного ордынского набега.

1377, 16 марта — московско-нижегородская рать осадила Булгар.

Лето — поражение русских войск на реке Пьяне.

1378, 11 августа — русская рать под предводительством великого князя московского одерживает победу на реке Воже.

1380 — строительство в Коломне Успенского собора.

Август — Дмитрий Иванович созывает русских князей для похода против Мамаю.

23 августа — смотр русского войска на Девичьем поле под Коломной.

26 августа — переправа через Оку у Лопасни.

7 сентября — переправа через Дон при устье Непрядвы.

8 сентября — битва на поле Куликовом.

1382, август — войска Тохтамыша подошли к стенам Москвы.

1383 — Дмитрий Иванович отправляет в Орду старшего сына Василия, которого Тохтамыш держит у себя в качестве заложника.

1385 — договор о мире между Москвой и Рязанью.

1386 — поход Дмитрия Ивановича на Новгород.

Дочь Дмитрия Ивановича Софья выходит замуж за князя Фёдора Рязанского.

1389, 25 марта — договорная грамота между Дмитрием Ивановичем и его двоюродным братом Владимиром Серпуховским.

19 мая — кончина великого князя московского и владимирского Дмитрия Ивановича Донского.

Краткая библиография

Источники

Полное собрание русских летописей. Т. 4. Вып. 1, 2. Ч. 1. Пг., 1915 (Новгородская Четвертая летопись).

Полное собрание русских летописей. Т. 10, 11. М., 1965 (Патриаршая, или Никоновская летопись).

Полное собрание русских летописей. Т. 15. Вып. 1. Пг., 1922 (Рогожский летописец).

Полное собрание русских летописей. Т. 18. СПб., 1913 (Симеоновская летопись).

Полное собрание русских летописей. Т. 23. СПб., 1910 (Ермолинская летопись).

Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М., 1950.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.

Татищев В. Н. История Российская. Т. 5. М.; Л., 1965.

Шамбинаго С. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906.

Повести о Куликовской битве. М., 1959.

Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884; Т. 2. М.; Л., 1941.

Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982.

Исследования

Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. 4. СПб., 1817.

Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Кн. 2. Т. 3–4. М., 1960.

Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 2 // Сочинения. В 8 т. Т. 2. М., 1957.

Ключевский В. О. Очерки и речи. Пг., 1918.

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т. 1. СПб., 1886.

Борзаковский В. С. История Тверского княжества. СПб., 1876.

- Иловайский Д.* История Рязанского княжества. М., 1858.
- Иловайский Д.* Куликовская победа Дмитрия Ивановича Донского. Исторический очерк. М., 1880.
- Симеон П.* История Серпухова в связи с Серпуховским княжеством. М., 1880.
- Голубовский П. В.* История Смоленской земли. Киев, 1895.
- Любавский М. К.* Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. М., 1915.
- Любавский М. К.* Образование основной государственной территории великорусской народности. Л., 1929.
- Пресняков А. Е.* Образование великорусского государства. Пг., 1918.
- Тихомиров М. Н.* Древняя Москва. М., 1947.
- Черепнин Л. В.* Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. М., 1960.
- Веселовский С. Б.* Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1961.
- Полубояринова М. Д.* Русские люди в Золотой Орде М., 1978.
- Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. Л., 1978.
- Насонов Л. Н.* Монголы и Русь. М.; Л., 1940.
- Греков Б. Д., Якубовский А. Ю.* Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950.
- Смирнов А. П.* Волжские булгары. М., 1951.
- Сафаргалиев М. Г.* Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.
- Федоров-Давыдов Г. А.* Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
- Греков И. Б.* Восточная Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975.
- Феодалная деревня Московского государства XIV–XVI вв. М.; Л., 1935.*
- Строков А. А.* История военного искусства. Т. 1. М., 1955.
- Разин Е. А.* История военного искусства. Т. 2. М., 1957.
- Кирпичников А. Н.* Куликовская битва. Л., 1980.
- Куликовская битва. Указатель литературы. 1980–2005. Тула, 2005.

Иллюстрации



Великий князь Дмитрий Иванович. Портрет из «Титулярника» 1672 г.



Дмитровский собор во Владимире — молчаливый свидетель
нашествия Батыя. Под эти своды не раз вступал юный Дмитрий

Отец Дмитрия,
великий князь московский
Иван Иванович Красный



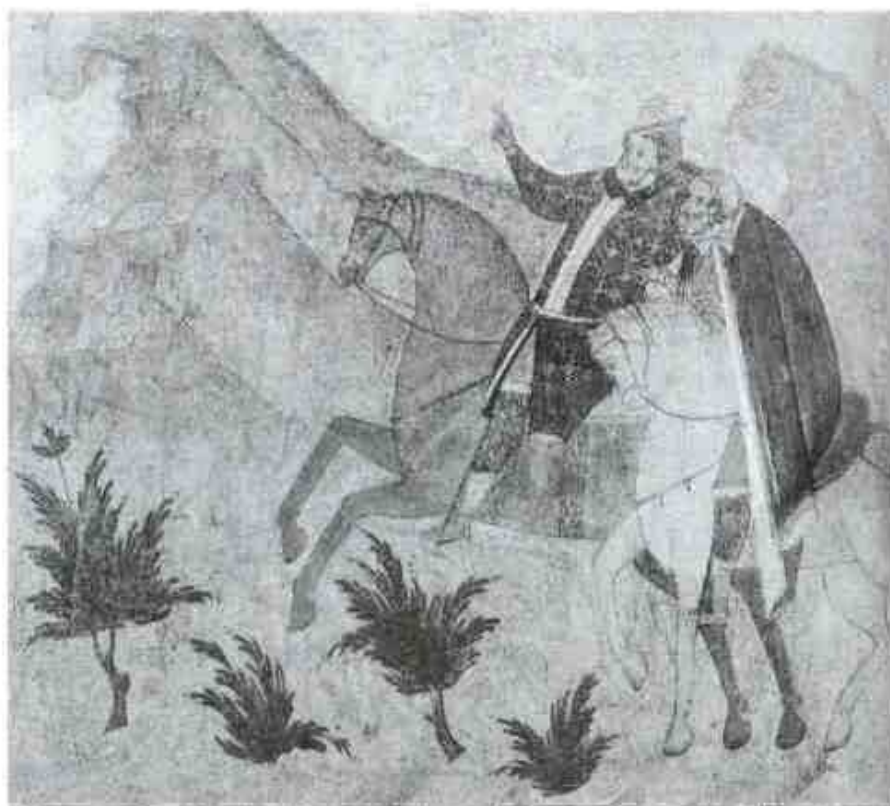
Успенский собор
во Владимире.
Здесь московские князья
в XIV веке венчались
на великое княжение
владимирское и всея Руси





Печать князя Ивана Даниловича Калиты

Иван Калита и его видение о «горе Высокой»



Митрополит
Алексей. С фрески
Архангельского собора
Московского Кремля.
XVII в.



Митрополит
Алексей
исцеляет в Орде
ханшу Тайдулу.
С иконы Дионисия





Мощевик —
семейная реликвия
московских князей.
С ним Дмитрий Донской
выйдет на Куликово поле.
*Государственная
Оружейная палата*

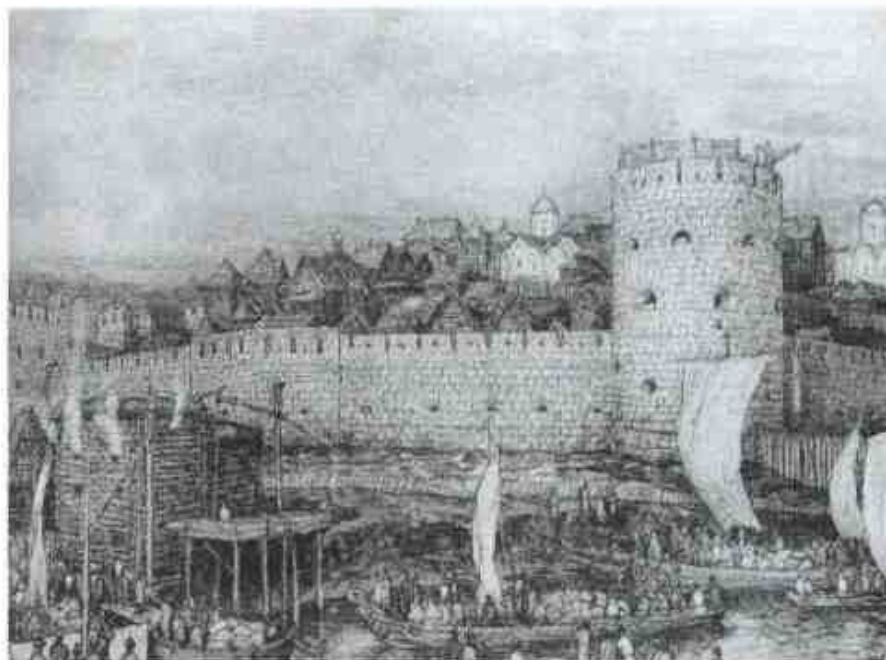
Московский Кремль
при Иване Калите.
А. М. Васнецов



Строительство
Московского Кремля.
*Миниатюра Лицевого
летописного свода.
XVI в.*



Московский Кремль
при Дмитрии Донском.
А. М. Васнецов

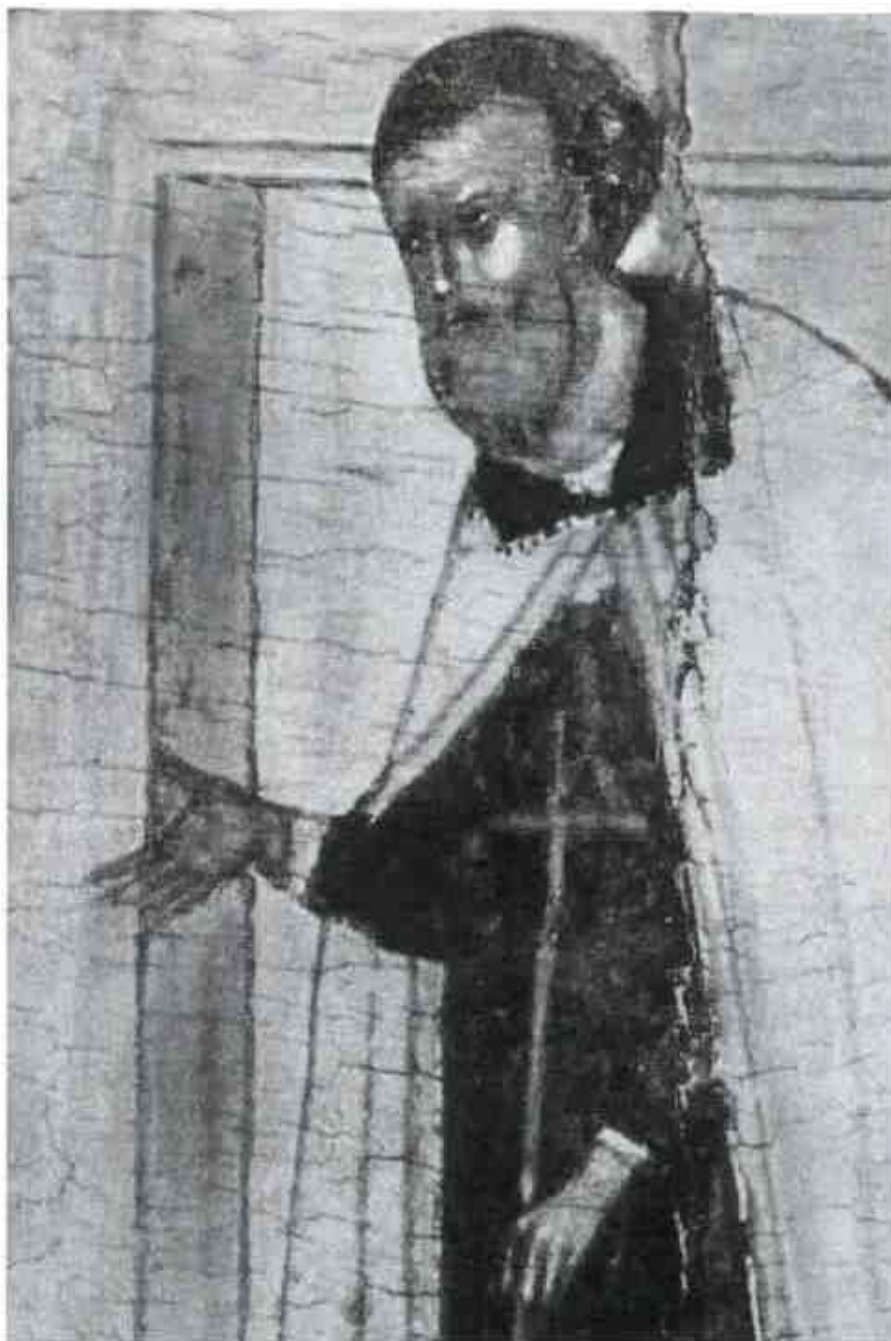




Великая княгиня
Евдокия Дмитриевна,
супруга Дмитрия Донского
*Антропологическая
реконструкция
С. А. Никитина*

Жалованная грамота
великого князя
Дмитрия Ивановича
новоторжцу Евсевке.
*Российский
государственный архив
древних актов*





Древнейшее изображение Дмитрия Донского.
Дионисий. Вологодский областной краеведческий музей



Ольгерд Гедиминович



Кейстут Гедиминович

Перемирная грамота Ольгерда Гедиминовича
и Дмитрия Ивановича Донского.

Российский государственный архив древних актов. Фрагмент





Витовт Кейстутевич



Ягайло Ольгердович

Русская степная сторо́жа. *С рисунка Н. Каразина*



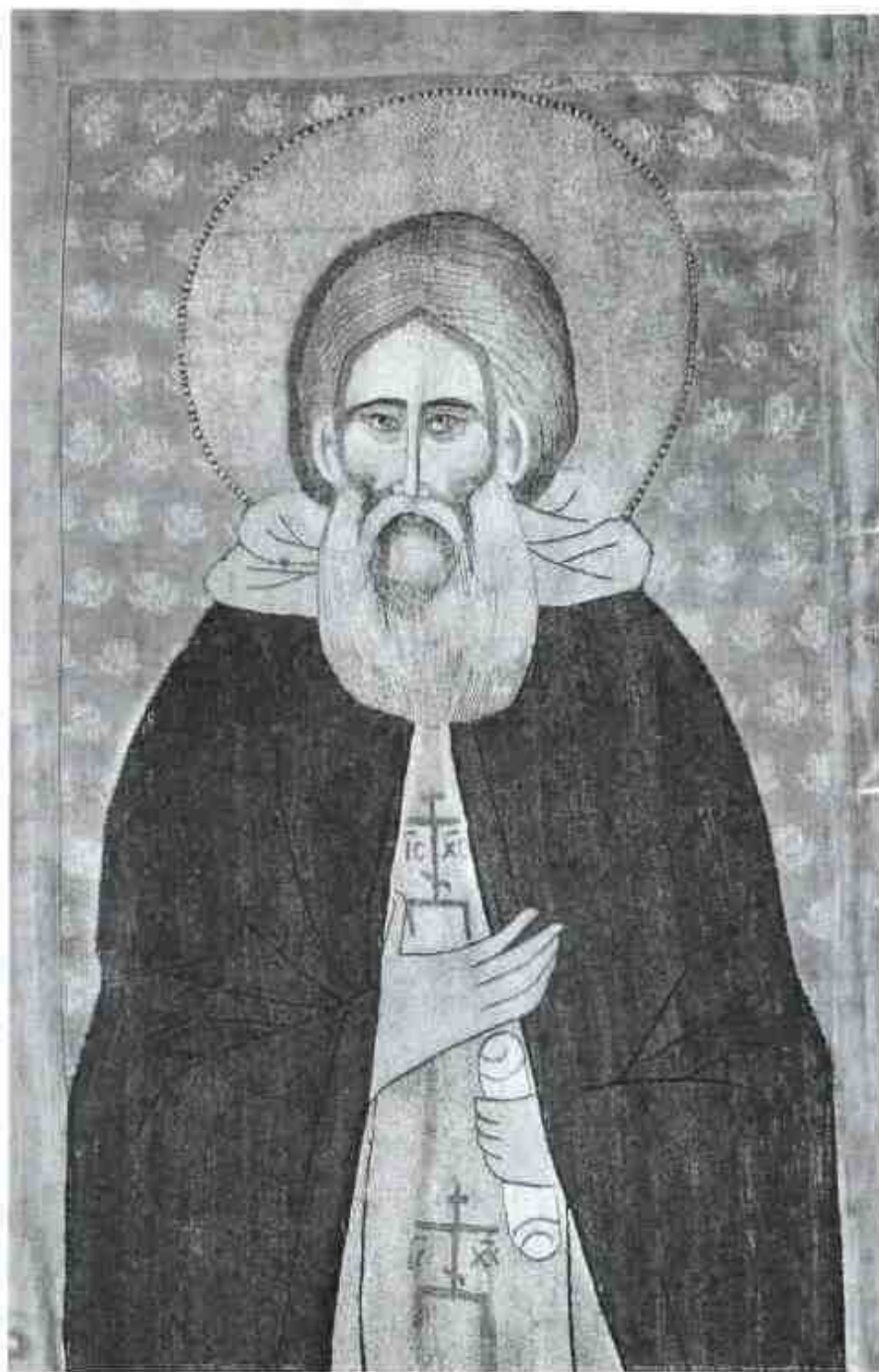


Крест-мошевик,
присланный
преподобному
Сергию
константинопольским
патриархом
Филофеем

Потир
преподобного Сергия

Посох
преподобного Сергия





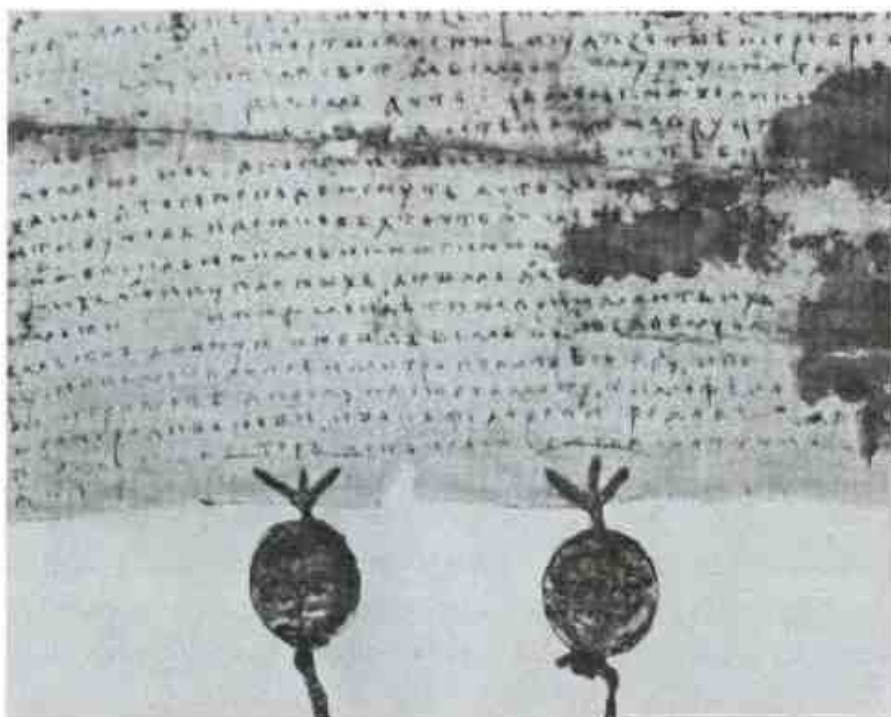
Преподобный Сергий, игумен Радонежский. *Шитый покров*. 1420-е гг.

◀ Явление Божьей Матери преподобному Сергию.
Миниатюра лицевого Жития Сергия Радонежского. 1592 г.



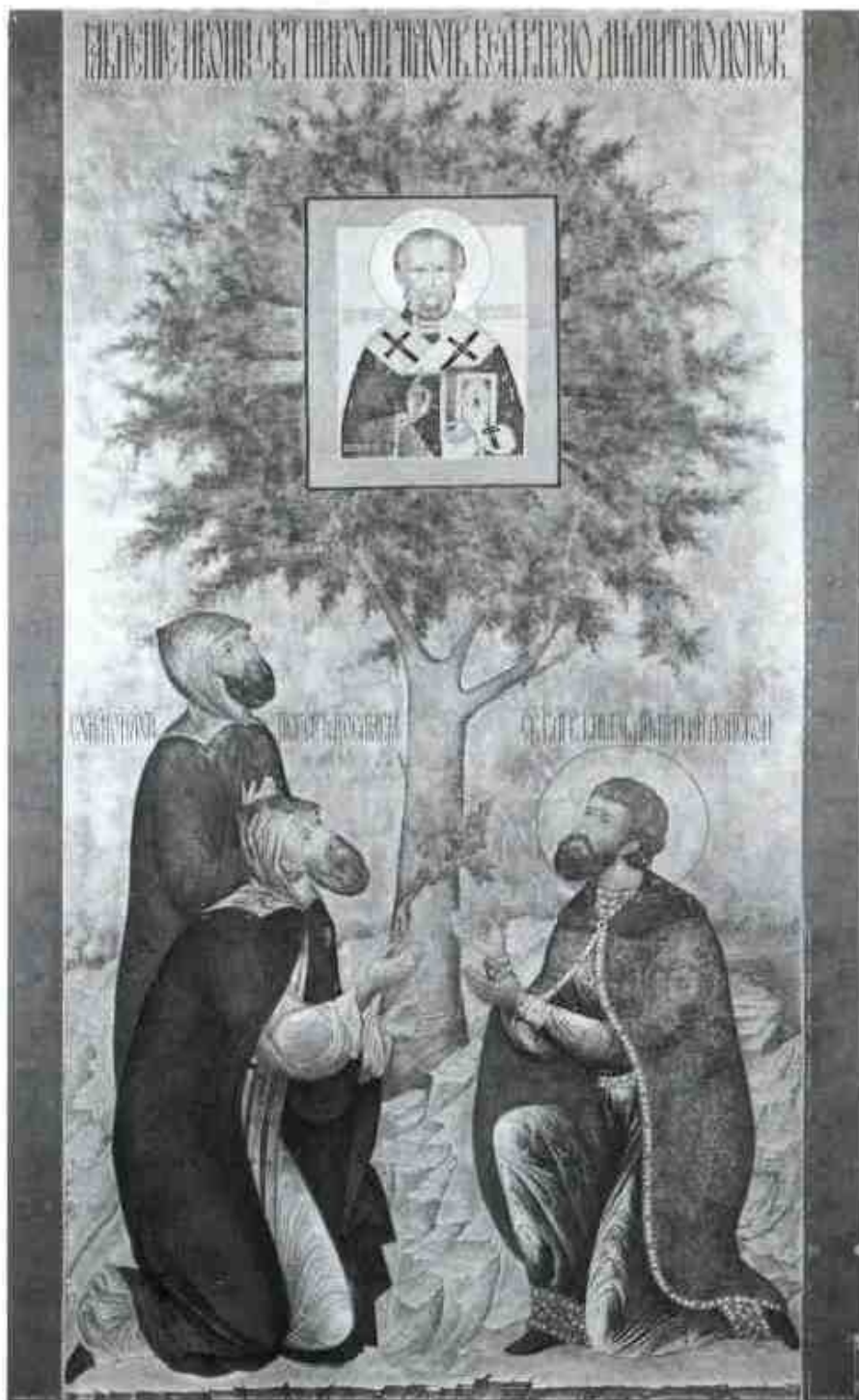
Печать великого князя Дмитрия Ивановича

Первая духовная грамота великого князя Дмитрия Ивановича.
Российский государственный архив древних актов, Фрагмент





Битва на реке Пьяне. Миниатюра Лицевого летописного свода



Явление иконы Николая Чудотворца на древе
князю Дмитрию Ивановичу. Икона из Николо-Угрешского монастыря

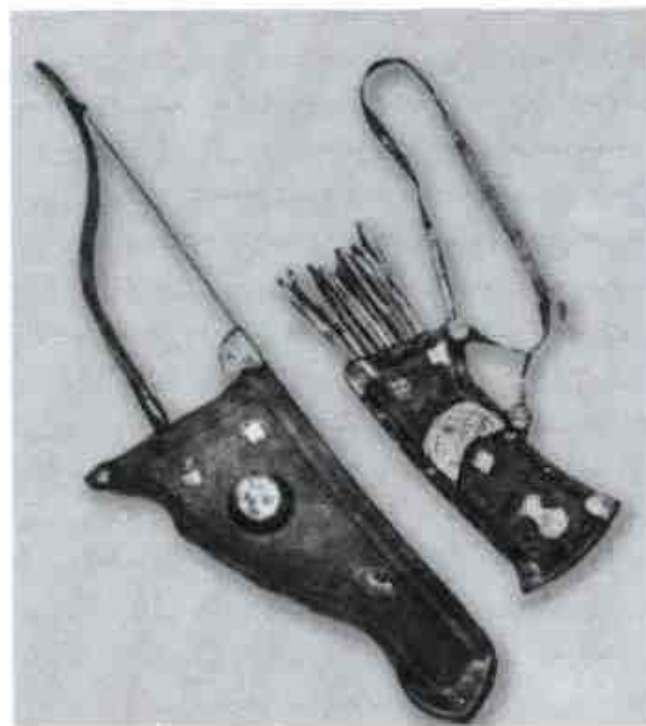


Донская икона Божьей Матери. Феофан Грек. 1392 г.

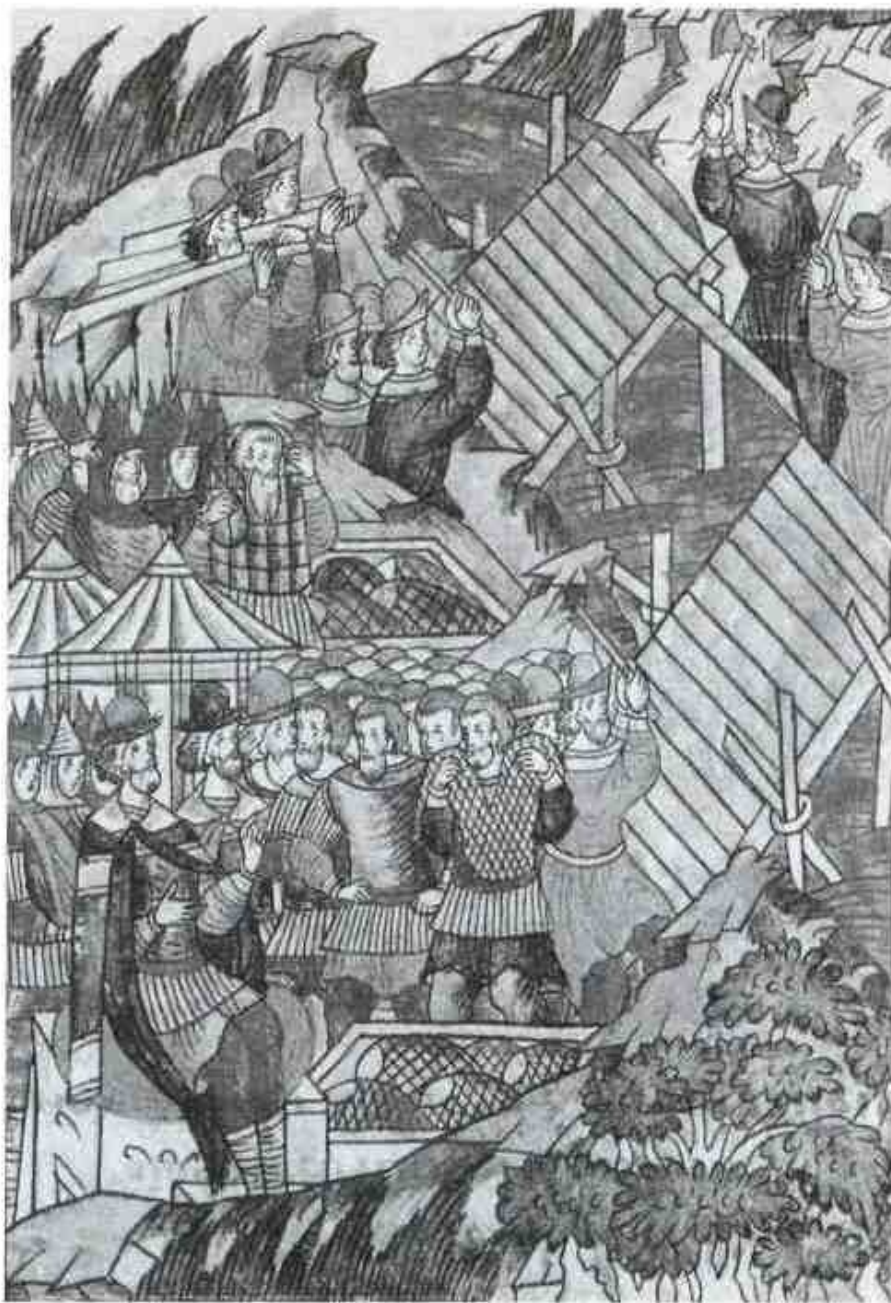


Преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия Ивановича накануне Куликовской битвы. Миниатюра Лицевого летописного свода

Воинская
хоругвь XIV века,
осенявшая
русские полки



Колчан и налуч



Войско переправляется через Дон.
Миниатюра Лицевого летописного свода

Икона-хоругвь
Спас Нерукотворный.
XIV в. Государственная
Третьяковская галерея



Устье Непрядвы.
Фото автора





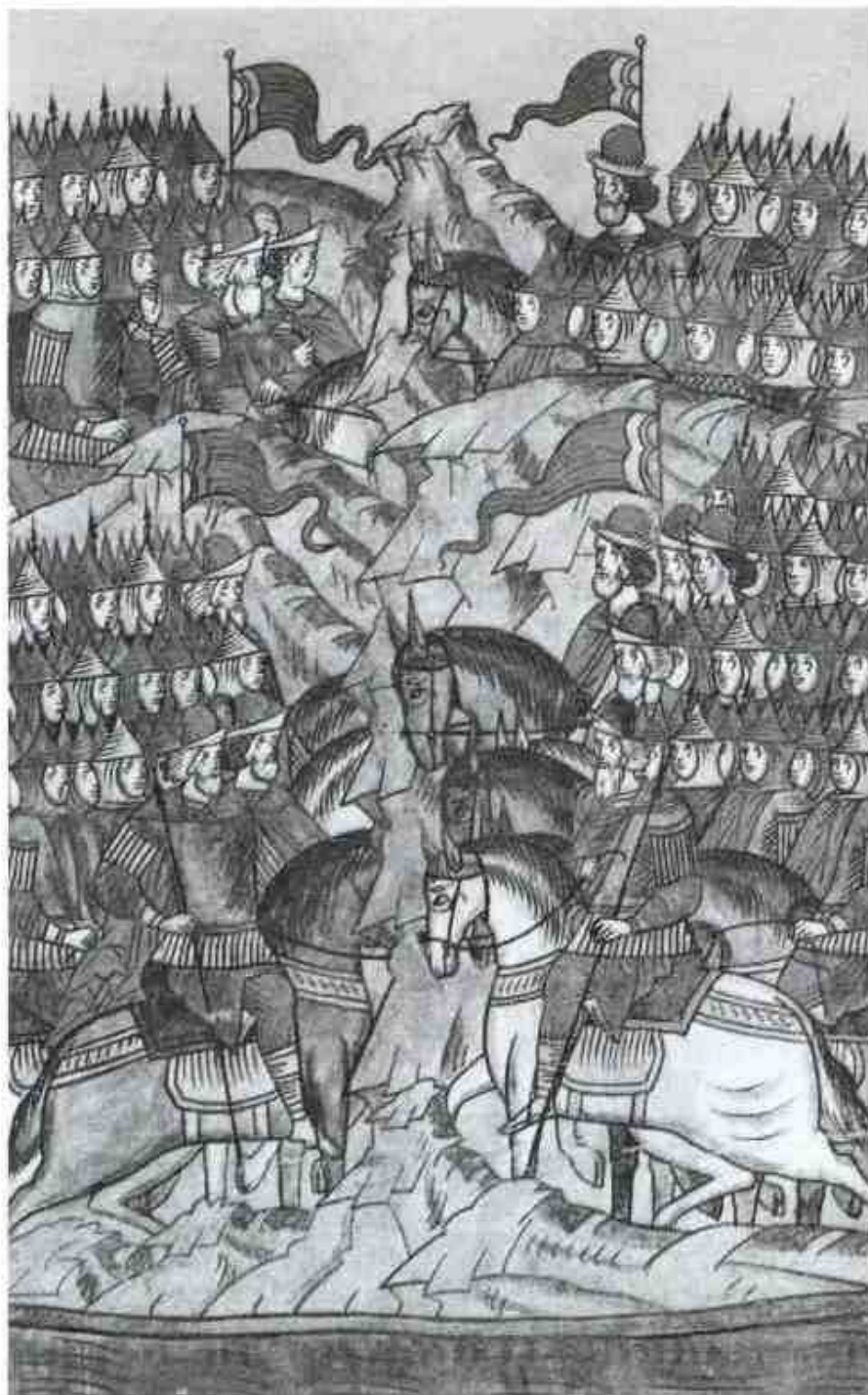
Перед битвой. Гравюра С. М. Харламова. 1979 г.

Святые Андрей Ослябя
и Александр Пересвет.
Современная икона



Битва Пересвета
с ордынским богатырём.
*Миниатюра Лицевого
летописного свода.
Фрагмент*





Начало битвы. Миниатюра Лицевого летописного свода



Боевые шестопёры. *Реконструкция*

Наконечники древнерусских копий,
найденные на месте битвы



Копья и щит XIV века. Доспехи русского
и ордынского воинов. *Реконструкция.*
Экспозиция Государственного музея-заповедника
«Куликово поле»





Дмитрий Донской.
С миниатюры Лицевого
летописного свода.
Художник изобразил
князя русобородым,
в княжеской шапке

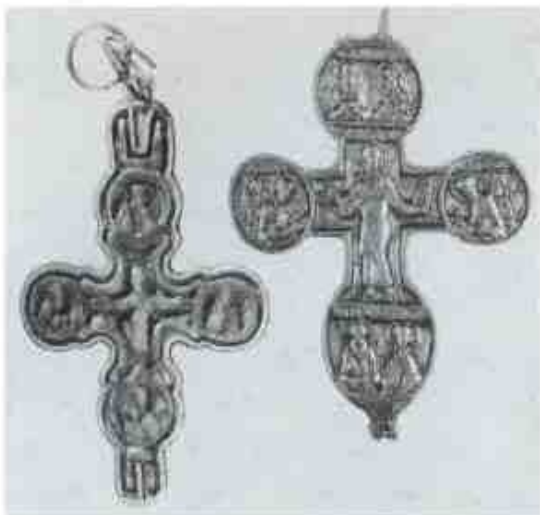
Куликовская битва.
Миниатюра Лицевого
летописного свода



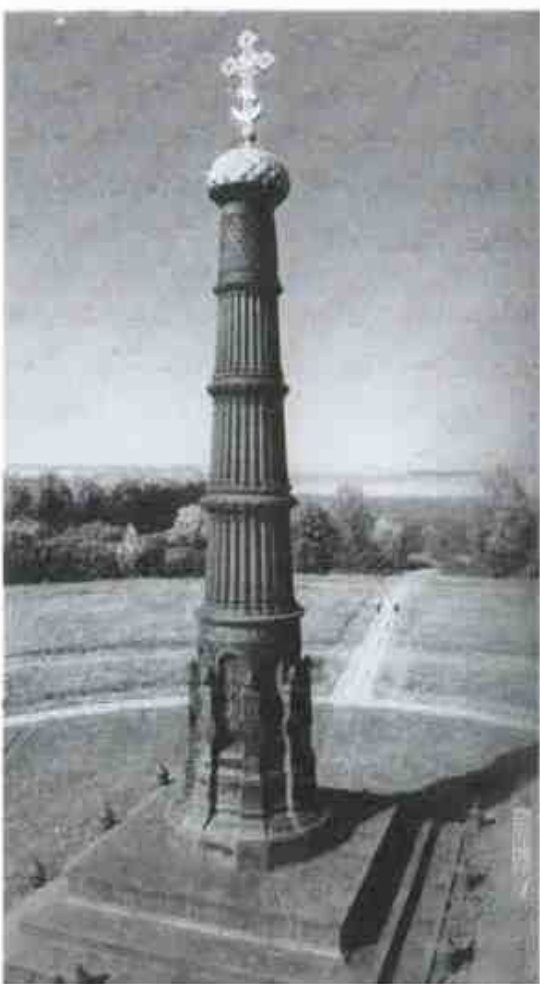
и ѿ феѡдора холопоу изъѡху же сѣи ѡп
тѣсѡуце :



Раненого князя Дмитрия находят на поле, под срубленным деревом.
Миниатюра Лицевого летописного свода



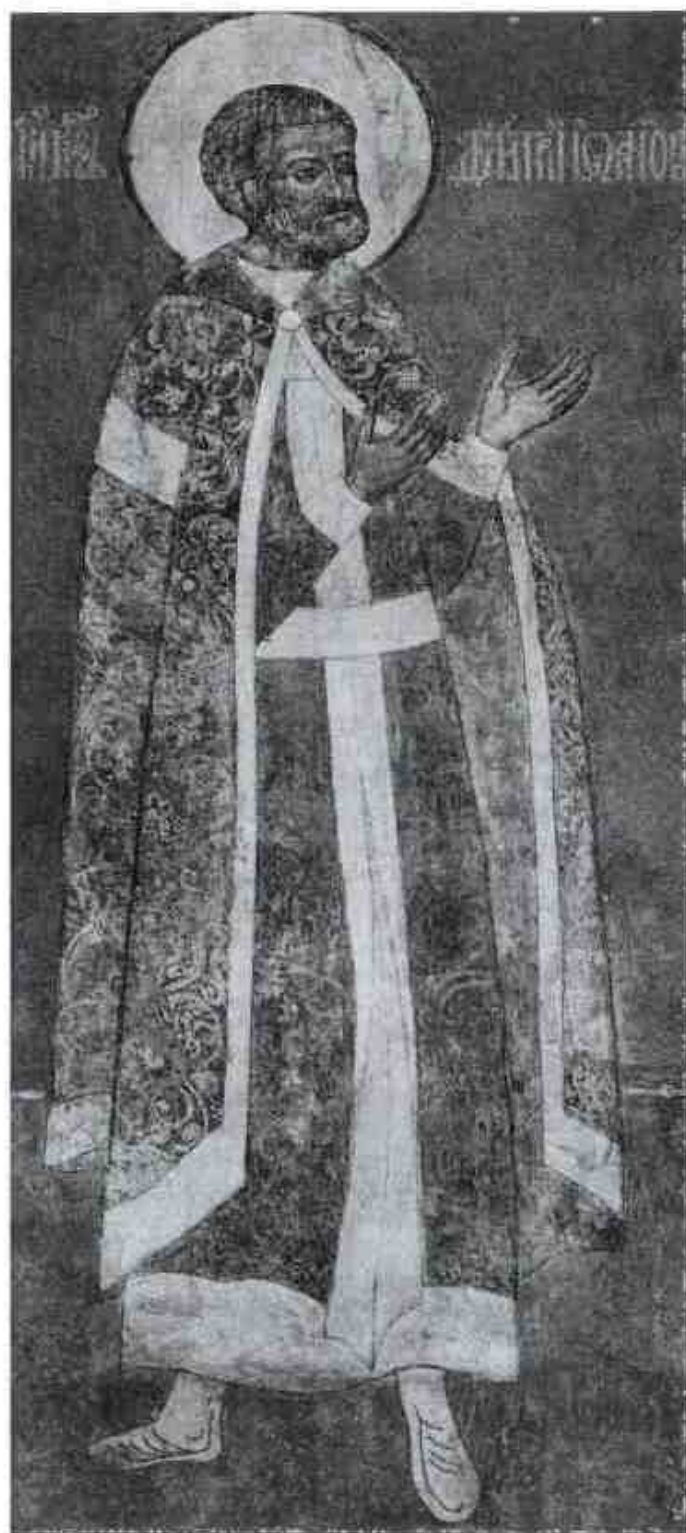
Нательные крестики
и образок русских воинов.
Найдены
на Куликовом поле



Памятник-колонна
Дмитрию Донскому
на Красном холме.
Архитектор А. П. Брюллов.
1848—1850 гг.



«Нахождение Тохтамышево». Миниатюра Лицевого летописного свода



Святитель
Феодор Ростовский,
духовник
Дмитрия Донского.
Современная икона



◀ Великий князь
Дмитрий Иванович.
*Фреска Успенского
собора Московского
Кремля. XVI в.*

Дмитрий Донской
на смертном одре.
*Миниатюра Лицевого
летописного свода*





Дмитрий Донской. Фрагмент памятника «Тысячелетие России». Скульптор М. О. Микешин. 1862 г.